



Стефан Цвейг

Кристина

OCR: anatcd@pisem.net

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=149067

Аннотация

"Кристина" – роман для тех, кто ценит в литературе выразительную подробность деталей, скрытую мотивировку жестов, и дерзкий вызов судьбе. Автор не завершил роман. В его незавершенности есть некий намек на множественность итогов.

Содержание

КРИСТИНА

Стефан ЦВЕЙГ

Кто заглядывал в Австрии хотя бы в одну сельскую почтовую контору, может считать, что видел их все, настолько мало они отличаются друг от друга. Обставленные, вернее, унифицированные одними и теми же предметами одного и того же инвентаря времен Франца Иосифа, они повсюду несут отпечаток одинаково угрюмой казенщины и вплоть до самых захолустных деревушек Тироля, где уже веет дыханием глетчеров, упорно сохраняют характерный для староавстрийских канцелярий запах дешевого табака и бумажной пыли. Они и распланированы везде одинаково: деревянная перегородка со стеклянными окошками разделяет помещение в строго предписанной пропорции на как бы посюсторонний и потусторонний мир, на общедоступную и служебную зоны.

Отсутствие стульев для публики и прочих удобств наглядно свидетельствует о том, что государство мало заботит продолжительности пребывания его граждан в общедоступной зоне. Единственным предметом мебелировки там обычно служит робко притулившаяся у стены шаткая конторка, обтянутая поверху клеенкой; клеенка та вся в трещинах и сплошь закапана чернильными слезами, хотя никто не припомнит, чтобы в чернильнице, укрепленной в крышке стола,

когда-либо находилось что-нибудь, кроме комковатой загу- стевшей кашицы; а если ядом, в желобке, случайно найдется ручка, то перо наверняка будет с расщепом и непригодным для письма, Бережливое казначейство экономит не только на удобствах, но и на красоте: с тех пор как Республика убра- ла портреты Франца Иосифа, единственным украшение при- сутственных мест можно считать разве что яркие плакаты, которые с грязных некрашенных стен приглашают посетить давно закрывшиеся выставки, купить лотерейные билеты, а в некоторых забывчивых конторах – даже призывают подпи- саться на военный заем. Вот такими дешевыми декорациями да еще просьбой не курить, на которую никто не обращает внимания, и ограничивается щедрость государства в почто- вых контрах.

Зато отделение по ту сторону служебного барьера выгля- дит куда более респектабельно. Здесь государство с подоба- ющим ему размахом демонстрирует один за другим символы своего могущества. В дальнем углу стоит железный несог- раемый шкаф, и в нем, судя по решеткам на окнах, иногда действительно хранятся весьма значительные суммы. На ап- паратном столе словно драгоценность сверкает начищенной латунию телеграфный аппарат, рядом с ним на никелиро- ванно лафете дремлет более скромный телефон. Этим двум приборам умышленно выделена как бы почетная резиден- ция, ибо они, подключенные к медным проводам, связывают отдаленную деревушку с просторами государства.

Остальные аксессуары почтового дела вынуждены потесниться: весы и сумки для писем, справочники, папки, тетради, реестровая книга, круглые звякающие банки для почтовых сборов, весы и гирьки, черные, синие, красные и чернильные карандаши, зажимы и скрепки, шпагат, сургуч, губка и пресспапье, бумажный нож, клей и ножницы – весь многообразный набор инструментов сгрудился в рискованном беспорядке на краю стола, а ящики до отказа набиты горами всевозможных бумаг и бланков. На первый взгляд этот ворох вещей расходуется крайне расточительно, однако такое впечатление обманчиво – втайне государство строго учитывает всю свою дешевую утварь поштучно. От исписанного карандаша до порванной марки, от разлохмаченной промокашки до обмылка на рукомоёмнике, от электролампочки, освещающей контру, до ключа, запирающего ее, – за каждый потребленный или изношенный предмет казанного имущество государство неумолимо требует от своих служащих отчета.

Возле чугунной печки висит отпечатанный на машинке, скрепленный официальной печатью и неразборчивой подписью инвентарный список, в котором с арифметической скрупулезностью перечислены наимельчайшие и наиминимальнейшие предметы технического оборудования, предусмотренные для соответствующего почтамта. Ни одна вещь, не упомянутая в описи, не смеет обитать в служебном помещении, и наоборот: каждый предмет, указанный в оной, должен наличествовать и быть в любое время доступным. Так требуют

администрация, порядок и законность.

Строго говоря, в этот машинописный реестр следовало бы включить и некое лицо, которое ежедневно в восемь утра поднимает стеклянную створку и приводит в движение весь неодушевленный мир: вскрывает мешки с почтой, штемпелюет письма, выплачивает денежные переводы, выписывает квитанции, взвешивает посылки, делает красным, синим и чернильным карандашом разные пометки и непонятные, загадочные знаки на бумагах, снимает телефонную трубку и крутит катушку аппарата Морзе. Но, вероятно по тактическим соображениям, это некое лицо, которое посетители называют обычно почтовым служащим, или почтмейстером, в инвентарной описи не значится. Его фамилия зарегистрирована в другом отделе почт-дирекции, однако, так же как все прочее, учтена и подлежит ревизии и контролю.

Внутри освященного гербовым орлом служебного помещения никогда не происходит видимых перемен. Вечный закон начала и конца разбивается о казенный барьер; вокруг здания почты на деревьях зеленеет и осыпается листва, растут дети и умирают старики, рушатся старые дома и поднимаются новые, и одно лишь казенное учреждение наглядно демонстрирует свою ничему не подвластную силу вечной неизменности. Ибо в этой сфере взамен каждой вещи, которая изнашивается или исчезает, портится и ломается, начальство затребует и доставит другой экземпляр точно такого же типа и тем самым явит образец превосходства над ми-

ром тленным мира казенного. Содержимое преходяще, форма неизменна. На стене висит календарь. Каждый день отрывается один листок, за неделю – семь, за месяц – тридцать. Тридцать первого декабря, когда календарь кончается, подается заявка на новый – того же формата, такой же печати. год стал новым, календарь остался прежним. На столе лежит бухгалтерская книга со столбиками цифр. Как только столбик слева суммирован, итог переносится направо и счет продолжается, страница за страницей.

Заполнена последняя страница, и книга окончена, начинается новая, того же вида, того же объема, ничем не отличающаяся от прежней. Все, что кончается, появляется на следующий день вновь, однообразно, как сама служба; на той же крышке стола неизменно лежат те же предметы, те же стандартные бланки и карандаши, скрепки и формуляры, каждый раз новые и каждый раз все такие же.

Ничто не меняется в этом казенном пространстве, ничто не добавляется, без увядания и расцвета здесь властвует одна и та же жизнь, вернее, не прекращается ода и та же смерть. Единственно, что неодинаково в многообразии предметов, – это ритм их износа и обновления, но не их участь. Карандаш существует неделю и заменяется новым, таким же. Почтовая книга живет месяц, электролампочка – три месяца, календарь – год. Плетеному стулу положено служить три года, прежде чем его заменят, а тому, кто отсиживает на этом стуле всю жизнь, – тридцать или тридцать пять лет; потом на

стул сажают новое лицо, однако стул ничем не отличается от своего предшественника.

В почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, обыкновенного села вблизи Кремса, что примерно в двух часах езды по железной дороге от Вены, таким заменяемым предметом оборудования, как "служащий", является в 1926 году лицо женского пола, и, поскольку контора числится по категории низших, этому лицу пожалован титул "ассистента почты". Через стекло в перегородке особенно и не разглядишь ее, ну видишь неприметный, но симпатичный девичий профиль, тонковатые губы, бледноватые щеки, сероватые тени под глазами; вечером, когда она включает лампу, бросающую резкий свет, внимательный взгляд уже заметит на лбу и на висках у нее легкие морщинки. И все же вместе с мальвами у окна и охапкой бузины, которую она поставила сегодня в жестяной кувшин, эта девушка – самый свежий объект среди почтамтских принадлежностей Кляйн-Райфлинга, и, как видно, продержится она на службе еще по меньшей мере лет двадцать пять. Еще тысячи и тысячи раз эта женская рука с бледными пальцами поднимет и опустит дребезжащую стеклянную створку. Еще сотни тысяч, а может, и миллионы писем она все тем же угловатым движением бросит на резиновую подушку и сотни тысяч или миллионы раз пристукнет почерненным медным штемпелем, гася марки. Вероятно, это движение ее натренированной руки станет еще более четким, более механически, более бессознательным. Сотни

тысяч писем будет, конечно, разными, но всегда – письмами. И марки разными, о всегда – марками. И дни разными, но каждый день от восьми часов до двенадцати, от двух до шести, и все годы расцвета и увядания – одна и та же служба, одна и та же, одна и та же.

Может быть, в этот тихий летний полдень девушка с пепельными волосами размышляет за стеклянным окошком о том, что ее ждет впереди, а может, просто замечталась. Во всяком случае, ее руки соскользнули с рабочего стола на колени и, сплетя пальцы, отдыхают, узкие, усталые, бледные. В такой ярко-голубой, такой знойный июльский полдень на почте Кляйн-Райфлинга дел не предвидится, утренняя работа окончена, почтальон Хинтерфельнер – вечно жующий табак горбун – уже давно разнес письма, никаких пакетов и образцов товаров с фабрики до вечера не поступит, а писать письма у односельчан теперь не ни охоты, ни времени. крестьяне, прикрывшись широкополыми соломенными шляпами, рыхлят виноградники, босоногая детвора, отдыхая от школы, резвится в ручье, мощенная булыжником площадка перед дверью пустует, накаленная полуденным жаром. Хорошо бы сейчас побыть дома, и хорошо, что можно спокойно помечтать. В тени опущенных жалюзи спят на полках и в ящичках карточки и бланки, в золотистом полумраке лениво и вяло поблескивает металлом аппаратура. Тишина, словно густая золотая пыль, легла на все предметы, и лишь между рамами лилипутский оркестр комариных скрипок и шмелиной вио-

лончели играет летний концерт. Единственное, что без усталости движется в прохладном помещении, – это маятник деревянных часов, висящих в простенке между окон. Каждую секунду они крохотным глоточком глотают каплю времени, но этот слабый, монотонный шум скорее усыпляет, нежели пробуждает.

Так и сидит почтовая ассистентка в своем маленьком уснувшем мирке, охваченная приятной истомой. Собственно, она собиралась вышивать, даже приготовила иголку и ножницы, но вышивка свалилась с колен на пол, а поднять ее нет ни сил, ни желания. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза и почти не дыша, она отдается блаженному чувству оправданного безделья, столь редкому в ее жизни.

И вдруг: та-та! Она вздрагивает. И еще раз металлический стук, тверже, нетерпеливее: та-та-та. Упрямо стучит аппарат Морзе, дребезжат часы: телеграмма – редкий гость в Кляйн-Райфлинге – хочет, чтобы ее приняли с уважением. Девушка разом стряхивает с себя сонливость, устремляется к аппаратному столу и хватается за ленту. Но, едва разобрав первые слова на бегущей ленте, краснеет до корней волос. Ибо впервые с тех пор, как здесь служит, она видит на ленте свое собственное имя. телеграмму уже отстучали до конца, она перечитывает ее второй раз, третий, ничего не понимая. Почему? Что? кто это вздумал слать ей телеграмму из Понтрезины?

"Кристине Хофленер, Кляйн-Райфлинг, Австрия. С радостью ждем тебя, приезжай любой день, только заранее сообщ-

щи телеграммой прибытие. Обнимаем.

Клер – Антони".

Она задумалась: кто такая или кто такой Антони? Может, кто-то из коллег решил подшутить над ней? Но затем она припоминает: мать недавно говорила, ей, что этим летом приезжает в Европу тетя, ну правильно, ее же зовут Клара.

А Антони, наверное, имя ее мужа, правда, мать всегда называла его Антоном.

Да, теперь точно вспомнила: ведь несколько дней назад она сама принесла матери письмо из Шербура, а мать почему-то скрытничала и ничего о содержании письма не сказала. Но ведь телеграмма-то адресована ей, Кристине. Неужели ехать в Понтрезину к тете придется ей самой? Об этом же никогда не было речи. Она снова разглядывает еще не наклеенную бумажную ленту, первую телеграмму, адресованную лично ей, снова перечитывает в растерянности, с любопытством и недоверием, сбита с толку странным текстом. Нет, ждать до обеденного перерыва она не в силах. Надо немедленно узнать у матери, что все это значит. Кристина хватается за ключ, запирает контору и бежит домой. В спешке она забыла выключить телеграфный аппарат. И вот латунный молоточек стучит и стучит бессловесно в опустевшей комнате по чистой бумажной ленте, возмущенным таким пренебрежением к себе.

Снова и снова убеждаешься: скорость электрического тока потому и невообразима, что она быстрее наших мыс-

лей. Ведь двадцать слов, которые белой бесшумной молнией пронзили душный чад австрийской конторы, были написаны всего лишь несколько минут назад за три земли отсюда, в прохладной синеве глетчеров под лазурно чистым небом Энгадина, и не успели еще высохнуть чернила на бланке отправителя, как смысл и призыв этих слов ударил в смятенное сердце.

А случилось там следующее: маклер Энтони ван Боолен, голландец (много лет назад он осел на Юге Соединенных Штатов, занявшись торговлей хлопком), так вот, Энтони ван Боолен, добродушный, флегматичный и, в сущности, весьма незначительный сам по себе мужчина, только что кончил завтракать на террасе – сплошь стекло и свет – отеля "Палас". Теперь можно увенчать breakfast¹ никотиновой короной – черно-бурой шишковатой «гаваной», из тех, что доставляют с места изготовления специально в воздухонепроницаемых жестяных футлярах. Дабы насладиться первой, вкуснейшей затяжкой с полным удовольствием, как подобает опытному курильщику, этот несколько тучноватый господин водрузил ноги на соседнее соломенное кресло, развернул огромным квадратом бумажный парус «Нью-Йорк геральд» и отчалил в бескрайнее печатное море биржевых курсов. Сидящая напротив него супруга Клер, звавшаяся раньше просто Клара, со скучающим видом отщипывала дольки грейпфрута. По многолетнему опыту она знала, что всякая

¹ Завтрак (англ)

попытка пробить разговором ежеутреннюю газетную стену совершенно безнадежна. Поэтому оказалось весьма кстати, что к ней неожиданно устремился гостиничный бой – забавное существо, коричневая шапочка, румяные щеки – и протянул свежую почту: на подносе лежало одно-единственное письмо. Содержание его, по-видимому, настолько увлекло Клер, что она, забыв о долгом опыте, попыталась оторвать мужа от чтения.

– Энтони, послушай, – сказала она. Газета не шевельнулась. – Энтони, я не хочу тебе мешать, ты только секунду послушай, дело срочное, письмо от Мэри... – Она невольно произнесла имя сестры по-английски. – Мэри пишет, что не сможет приехать; хотя ей очень хотелось, но у нее плохо с сердцем, ужасно плохо, врач говорит, что на высоте двух тысяч метров ей не выдержать ни в коем случае. Но, если мы не против вместо ее на две недели приедет Кристина, ну ты знаешь, младшая дочь, блондинка. Ты видел ее на фотографии, еще до войны. Она служит в пост-офисе и еще ни разу не брала полного отпуска, и если подаст заявление, то ей предоставят сразу же, и она, конечно, будет счастлива после стольких лет "засвидетельствовать свое почтение тебе, дорогая Клара, и уважаемому Антони" – и так далее.

Газета не пошевелилась. Клер пошла на риск:

– Ну как ты думаешь, пригласить ее?.. Бедняжке не повредит глоточек-другой свежего воздуха, да и приличия требуют, в конце концов. Уж раз я оказалась в этих краях, надо

же, в самом деле, познакомиться с дочкой моей сестры, и так всякая связь с родней порвалась. Ты не возражаешь, если я приглашу ее?

Газета чуть зашуршала. Сначала из-за белого края страницы выплыло кольцо сигарного дыма, круглое, с синевой, затем послышался тягучий и равнодушный голос:

– Not at all. Why should I²?

Этим лаконичным ответом завершился разговор, предрешивший поворот в чьей-то жизни. Спустя десятилетия была возобновлена родственная связь, ибо, несмотря на почти аристократическое звучание фамилии, частица "ван" была обычной голландской приставкой и, несмотря на то что супруги беседовали между собой по-английски, Клер ван Болен была не кто иная, как сестра Мари Хофленер, и, таким образом, бесспорно приходилась родной теткой почтовой служащей в Кляйн-Райфлинге. Она покинула Австрию более четверти века назад из-за одной темной истории, о которой – наша память всегда очень услужлива – помнила лишь смутно и о которой ее сестра тоже никогда не рассказывала дочерям. В те годы, однако, эта история наделала немало шума и, возможно, привела бы к еще более серьезным по-

² Ничуть. С чего бы мне возражать? (англ.)

следствиям, если бы умные и ловкие люди своевременно не устранили желанный повод для всеобщего любопытства. В те годы упомянутая госпожа Клер ван Боолен была всего-навсего фройляйн Кларой и служила в фешенебельном салоне мод на Кольмаркт простой манекенщицей.

Быстроглазая, гибкая девушка, какой она тогда была, произвела потрясающее впечатление на пожилого лесопромышленника, который сопровождал свою жену на примерку. Со всем отчаянием предзакатной вспышки страсти этот богатый и еще довольно хорошо сохранившийся коммерции советник безумно влюбился в нежную и веселую блондинку и одаривал ее с необычной даже для его круга щедростью.

Вскоре девятнадцатилетняя манекенщица, к великому негодованию своих благонравных родственников, разъезжала в фиакре, облаченная в красивейшие наряды и меха, какие прежде ей дозволялось лишь демонстрировать перед зеркалом придиричивым и взыскательным клиенткам. Чем элегантнее она становилась, тем сильнее нравилась стареющему покровителю, а чем больше она нравилась коммерции советнику, вконец потерявшему голову от неожиданной любовной удачи, тем роскошнее он ее наряжал. Спустя несколько недель она до того размягчила своего обожателя, что адвокат, соблюдая полнейшую секретность, заготовил по его поручению бракоразводные документы и обожаемая была уже без пяти минут одной из самых богатых женщин Вены. Но тут, оповещенная анонимными письмами, в дело энер-

гично вмешалась супруга и совершила глупость. Горькая и справедливая обида на то, что после тридцати лет безмятежного брака от нее вдруг решили избавиться, словно от одряхлевшей лошади, довела ее до бешенства; она купила револьвер и нагрянула к неравной парочке во время их любовного свидания на заново обставленной тайной квартире. Без всяких предисловий разгневанная супруга дважды выстрелила в разлучницу; одна пуля прошла мимо, другая задела плечо. Ранение оказалось довольно пустяковым, зато весьма неприятными были сопутствующие явления: набежавшие соседи, крики о помощи из разбитых окон, взломанные двери, обмороки и сцены, врачи, полиция, протокол о происшествии, а впереди, по-видимому, неминуемый судебный процесс и скандал, которого в равной мере боялись все замешанные лица. К счастью, для богатых людей не только в Вене, но и повсюду существуют ловкие адвокаты, понаторевшие в замазывании скандальных дел, и один такой опытнейший мастер, советник юстиции Карплус, сразу же постарался найти, так сказать, противоядие. Он вежливо пригласил Клару к себе в контору. Она явилась очень элегантная, кокетливо подвязав руку, и с любопытством прочитал текст договора, согласно которому она обязуется еще до вызова свидетелей в суд уехать в Америку, где ей, не считая единовременного возмещения за ущерб, в течение пяти лет будет выплачиваться через адвоката по первым числам каждого месяца определенная сумма, при условии, что она будет вести себя тихо. Кларе

и без того не хотелось оставаться манекенщицей в Вене после этого скандала, к тому же родители выгнали ее из дома; с невозмутимым видом она перечитала четыре страницы договора, быстро подсчитала всю сумму, найдя ее неожиданно высокой, и на авось потребовала еще тысячу гульденов. Получив согласие, она с легкой усмешкой подписала договор, отправилась за океан и не пожалела о своем решении. Еще в пути она получила немало матримониальных предложений, но окончательный выбор сделала в Нью-Йорке, познакомившись в пансионе со своим ван Боленом; в ту пору всего лишь мелкий торговый агент одной голландской фирмы, он решил с небольшим капиталом жены, о романтическом происхождении которого никогда и не подозревал, открыть собственное дело на Юге. Спустя три года у них появилось двое детей, через пять лет – дом, а через десять – значительное состояние, которое, как и на любом другом континенте, кроме Европы, где война свирепо уничтожала имущество, за военные годы еще умножилось. Теперь, когда сыновья подросли и энергично взялись за отцовское дело, пожилые родители могли спокойно позволить себе комфортабельную поездку в Европу. И странно, в тот момент, когда из тумана надвинулся плоский берег Нормандии, у Клер внезапно пробудилось забытое ощущение родины. Уже давно ставшая в душе американкой, она от одного только сознания, что эта полоска суши – Европа, почувствовала внезапный прилив тоски по своей юности; ночью ей снились детские кровати с ре-

шеткой, в которых они с сестрой спали, вспомнились тысячи подробностей, и она вдруг устыдилась, что за все годы не написала ни строчки обнищавшей, овдовевшей сестре. Мысль о сестре не давала Кларе покоя, и она тотчас, прямо на пристани, отправила письмо с просьбой приехать, вложив в конверт стодолларовую ассигнацию.

Ну а в данную минуту, когда выяснилось, что вместо матери нужно пригласить дочь, госпоже ван Боолен стоило лишь пошевелить пальцем, как к ней таим снарядиком в коричневой ливрее и круглой шапочке подлетел бой, уловив на ходу, что требуется, принес телеграфный бланк и умчался с заполненным листком на почтамт.

Спустя несколько минут точки и тире со стучащего аппарата Морзе перескочили на крышу в вибрирующие медные пряди, и быстрее дребезжащих поездов, несказанно быстрее вздымающих пыль автомобилей весть молнией промчалась по тысячекилометровому проводу. Миг – и перепрыгнула через границу, миг – и через тысячеглавый Форарльберг, карликовый Лихтенштейн, изрезанный долинами Тироль, и вот магически превращенное в искру слово ринулось с ледниковых высот в Дунайскую низину, в Линц, в коммутатор.

Передохнув здесь несколько секунд, весть скорее, чем успеваешь произнести само слово "скоро", спорхнула с провода на крыше почты Кляйн-Райфлинга в телеграфный приемник, и тот, вздрогнув, направил ее прямо в сердце, изум-

ленное, полное любопытства и растерянности.

Поворот за угол, вверх по темной скрипучей деревянной лестнице – и Кристина входит в мансарду убогого крестьянского дома; здесь, в комнате с маленькими оконцами, она живет с матерью. Широкий навес кровли над фронтоном – защита от снега зимой – ревниво заслоняет солнце в дневные часы; лишь под вечер тонкий, уже обессиленный лучик ненадолго проникает к герани на подоконнике. Поэтому в сумрачной мансарде всегда затхло и сыро, пахнет подгнившими стропилами и непросохшими простынями; стародавние запахи въелись в стены, как древесный грибок, – вероятно, в прежние времена эта мансарда была просто чердаком, куда складывали разный хлам. Но в послевоенные годы с их суровой жилищной нуждой запросы у людей становились скромными, и они благодарили судьбу, если вообще представлялась возможность поставить в четырех стенах две кровати, стол и старый сундук. Даже мягкое кожаное кресло, доставшееся по наследству, занимало здесь слишком много места, и его за бесценок продали старьевщику, о чем теперь очень жалеют: всякий раз, когда у старой фрау Хофленер распухают от водянки ноги, ей некуда сесть и приходится лежать в кровати – все время, все время в кровати.

Отекшие, похожие на колоды ноги, угрожающая венозная синева под мягкими бинтами – всем этим уставшая, рано состарившаяся женщина обязана двухлетней работе кастилян-

шей в военном лазарете, который размещался в нижнем этаже здания без подвала, отчего там было очень сыро. С тех пор ходьба для тучной женщины стала мучением, она не ходит, а еле передвигается с одышкой и при малейшем напряжении или волнении хватается за сердце. Она знает, что долго не проживет. Какое счастье еще, что в этой неразберихе после свержения монархии деверю, имевшему чин гофрата, удалось выхлопотать Кристине место на почте. Пускай и в захолустье, и платят гроши, а все-таки хоть как-то они обеспечены, крыша над головой есть, в комнатенке дышать можно, правда, тесновата она, ну и что, все равно к гробу привыкать надо, там еще теснее.

Постоянно пахнет уксусом и сыростью, хворью и больничной койкой; дверь в крохотную кухню закрывается плохо и оттуда душной пеленой ползет чад и запах подогретой пищи. Едва Кристина вошла в комнату, как тут же непроизвольным движением распахнула закрытое окно. От этого звука мать со стоном проснулась. Иначе она не может, всегда, прежде чем пошевелиться, она издает стон, подобный скрипу раскошшегося шкафа, когда к нему только приблизишься, еще не дотрагиваясь; так дает о себе знать вещей страх пораженного ревматизмом тела, предчувствующего боль, которую вызывает малейшее движение. Затем старая женщина спросила, поднявшись с кровати:

– Что случилось?

Ее дремлющее сознание уже отметило, что еще не время

обеда, еще не пора садиться за стол. Значит, случилось что-то особенное. Дочь протягивает ей телеграмму.

Медленно – ведь каждое движение причиняет боль – морщинистая рука шарит в поисках очков на прикроватной тумбочке; проходит время, пока стекла в металлической оправе не найдены среди аптечных пузырьков и баночек и не водружены на нос. И едва старая женщина успела разобрать написанное, как ее тучное тело вздрогнуло, словно от удара электрического тока, заколыхалось; жадно ловя воздух, она делает шаг, другой и всей своей огромной массой приваливается к Кристине. Горячо обняв испуганную дочь, она дрожит, смеется, пытается что-то сказать, задыхаясь, но не может и наконец, обессилев и прижав руки к сердцу, опускается на стул. Минуту она молчит, глубоко дыша беззубым ртом. А затем с дрожащих губ слетают невнятные обрывки фраз, она заикается, путает и глотает слова, на ее лице блуждает торжествующая улыбка, но от волнения она запинается еще больше, жестикулирует еще горячее, и по дряблым щекам уже текут слезы. Бессвязный поток слов низвергается на Кристину, которая пришла в полное замешательство. Слава богу, что все так благополучно сложилось, вот теперь ей, никому не нужной, больной старухе, можно спокойно помирать. Вот ради этого она и ездила в прошлом месяце, в июне, к святым местам и молилась только об одном: чтобы Клара, сестрица, приехала раньше, чем она, Мари, помрет, чтобы позаботилась и ее доченьке.

Ну, теперь она довольна. Вот, вот тут написано – пускай Кристль приезжает к ней в гостиницу, смотри, и на телеграмму потратилась, а две недели назад даже сотню долларов прислала, да, золотое у нее сердце, у Клары, и всегда она была такой доброй и милой. А этой сотни хватит, наверное, не только на дорогу, но и чтобы разодеться, как княгиня, прежде чем явишься к тете на шикарный курорт. Да, там у доченьки глаза разбегутся, уж там она увидит, как привольно живется людям знатным, с деньгами. Впервые она сама хоть поживет как человек, и, видит бог, она это честно заслужила, Ну что она до сих пор видела в жизни – ничего, только работа, служба и всякие хлопоты, а вдобавок еще забота о никчемной, больной, унылой старухе, которой давно пора в могилу, и поскорее, чего уж тут. Из-за нее да из-за войны проклятой у Кристль вся молодость испорчена, как подумаешь, что лучшие годы пропали, сердце разрывается. Ну да теперь она найдет свое счастье. Только пусть ведет себя поучтивее с дядей и тетей, всегда учтиво и скромно, и пусть не робеет перед тетей Klarой, у нее золотое сердце, добрая душа, она непременно поможет родной племяннице выбраться из этой глуши, из вонючей деревни, а ей, старой, все равно помирать. И если тетя под конец предложит ехать с ними, пусть непременно уезжает, ничего тут хорошего не осталось, и страна гибнет, и люди дурные, а о ней, старухе, беспокоиться нечего. Место в богадельне всегда найдется, да и сколько она еще протянет?.. Ах, теперь она может спокой-

но умереть, теперь все хорошо.

Закутанная в шали поверх сорочек и нижних юбок, старая, расплывшаяся женщина, пошатываясь, топает слоновыми ногами взад-вперед по комнате так, что трещат половицы. Она непрерывно жестикулирует и всхлипывает, то и дело утирая глаза большим красным носовым платком; затем, выдохшись от столь бурных проявлений чувств, постанывая, садится, сморкается, собираясь с силами для очередного монолога. И вновь ей приходит на ум что-то еще, и она говорит, и говорит, и стонет, и всхлипывает, и радуется неожиданной удаче. И вдруг, в минуту изнеможения, замечает, что Кристина, которой предназначены все эти восторги, стоит бледная, смущенная, взгляд ее выражает удивление и даже замешательство, и она совершенно не знает, что сказать. Старой женщине досадно. Собравшись с силами, она еще раз поднимается со стула, подходит к дочери, хватая ее за плечи, крепко целует, прижимает к себе, тормошит, словно хочет разбудить ее, вывести из оцепенения.

– Ну чего ты молчишь? Кого же это касается, как не тебя, что с тобой, глупышка? Стоишь будто истукан и ничего не говоришь, ни словечка, а ведь такое счастье выпало! Радуйся же! Ну почему ты не радуешься?

Служебный устав строго-настрого запрещает почтовому персоналу надолго покидать контору в рабочее время, и даже самая веская личная причина бессильна пред главным законом казенного мира: сначала служба, потом человек, сначала

ла буква, потом смысл. Так что после небольшого перерыва служащая почты Кляйн-Райфлинга вновь сидит за окошком, исполняя свои обязанности. Никто ее за это время не спрашивал. Как и четверть часа назад, бумаги разложены на покинутах столе, молчит, поблескивая латунью в полумраке, выключенный телеграфный аппарат, который недавно так ее взбудоражил. Слава богу, никто не заходил, никаких упушений нет. С чистой совестью можно теперь спокойно поразмышлять о внезапной новости, слетевшей сюда с проводов; ведь от замешательства Кристина еще не успела понять, приятная это новость или нет. Постепенно ее мысли приходят в порядок. Итак, она поедет, впервые уедет от матери, на две недели, а может и больше, к чужим людям, нет, к тете Кларе, маминой сестре, в шикарный отель, Надо взять отпуск, заслуженный отпуск, после многих лет хоть раз по-настоящему отдохнуть, поглядеть на мир, увидеть что-нибудь новое, иную жизнь. Она думает, думает. В сущности, весть хорошая, и мать права, что радуется, вполне права. Честно говоря, это лучшая новость, которая пришла к ним за долгие-долгие годы. Впервые бросить опостылевшую службу, побыть на свободе, увидеть новые лица, другой мир – разве это не подарок, буквально свалившийся с неба? Но тут в ее ушах снова раздается удивленный испуганный, почти гневный голос матери: "Ну почему ты не радуешься?"

Мать права, в самом деле, почему я не радуюсь? Почему во мне ничто не шевельнулось, не дрогнуло, почему это не

захватило меня, не потрясла? Она прислушивается к себе, но тщетно: внутренний голос не дает желанного ответа; свалившийся с неба сюрприз по-прежнему вызывает у нее лишь чувство смущения и непонятого испуга. Странно, думает она, почему я не рада? Стони раз, когда я вынимала из почтового мешка видовые открытки и, сортируя их, рассматривала – серые норвежские фиорды, бульвары Парижа, залив Сорренто, каменные пирамиды Нью-Йорка, – разве не вздыхала я при этом?.. Когда? Когда же и я увижу что-нибудь? О чем я мечтала в долгие, пустые утренние часы, как не о том, чтобы когда-нибудь вырваться из этой клетки, забыть бессмысленную поденщину, это изнурительное состязание со временем. Хоть когда-нибудь отдохнуть, использовать для себя время все целиком, а не по клочкам, по крохам, когда и ухватиться не за что. Хоть когда-нибудь не слышать по утрам звон будильника, этого злодея, погонщика, который принуждает вставать, одеваться, топить печь, идти за молоком, за хлебом, разогревать еду, затем тащиться в контору и как заведенной штемпелевать конверты, писать, звонить по телефону, а потом опять домой – к гладильной доске, к кухонной плите, варить, стирать, штопать, ухаживать за больной и, наконец, смертельно усталой проваливаться в сон. Тысячу раз я мечтала об этом, сто тысяч раз, здесь, за этим же столом, в этой затхлой клетке; и вот теперь, когда мне выпала наконец такая удача – поездка, свобода, а я – права мать, права, – а я не радуюсь. Почему? Потому что не готова?

Бессильно опустив плечи и уставившись невидящим взглядом в голую казенную стену, она ждет и ждет, не шевельнется ли наконец в ней запоздалая радость. Невольно затаив дыхание, она, словно беременная, вслушивается в себя.

Но никакого отклика не слышно, безмолвно и пусто, как в лесу без птичьих голосов; и она, которой от роду всего двадцать восемь лет, с усилием пытается вспомнить, что значит вообще – радоваться, и с ужасом обнаруживает: она не помнит, что это такое – вроде как иностранный язык, который учил в детстве, потом забыл и помнишь только, что когда-то знал его. Когда же я в последний раз радовалась? – задумывается она, опустив голову; лоб ее пересекают две маленькие морщинки. И постепенно в памяти, словно в потускневшем зеркале, выплывает тонконогая белокурая девочка в короткой ситцевой юбке, беззаботно размахивающая школьным портфелем... А вот парк в венском предместье: вокруг нее вихрем носятся десятков девчонок – играют в пятнашки. Каждый бросок мяча сопровождается пронзительным визгом и взрывами хохота, и ей вспоминается, как легко, как свободно тогда смеялось, будто смешинки таились наготове в горле, совсем близко, они все время щекотали где-то под кожей, бродили и толкались в крови; достаточно было лишь встряхнуть их, и смех неудержимо выплескивался из горла, слишком неудержимо.

Порой в школе приходилось хвататься за парту и прикусывать губу, чтобы на уроке французского языка не прыснуть,

услыхав какое-нибудь потешное слово или глупую шутку. Любого пустяка – запинки учителя, гримасы перед зеркалом, кошки, забавно изогнувшей хвост, офицера, взглянувшего на тебя на улице, – малейшей несуразицы было довольно, чтобы переполнявший тебя смех взорвался от первой же искры. Она всегда была с тобой, эта шаловливая беззаботность, и даже во сне улыбка запечатлевала свою радостную арабеску на детских губах.

И вдруг все почернело и погасло, как притушенный фитиль. 1914 год, первое августа. Днем она была в купальне; как светлый проблеск вспоминается ей, когда она разделась в кабине, собственное нагое тело – стройное, гибкое шестнадцатилетнее тело, с наметившимися округлостями, белое, разгоряченное, пышущее здоровьем. С каким наслаждением она охладилась в воде, плескалась, плавала и носилась с подружками наперегонки по скрипучим доскам настила – до сих пор в ее ушах стоит смех и визг девчонок. Потом она заторопилась домой, скорее, скорее, ну конечно, она опять опаздывает, а ведь обещала матери, что придет вовремя и поможет уложить вещи – через два дня они переезжают в Кампаль, на дачу. Прыгая через две ступеньки, она взбежала по лестнице и открыла дверь. Но странно: едва она, запыхавшись, вошла в комнату, как отец с матерью оборвали на полуслове разговор и сделали вид, будто не замечают дочери. Отец, чей непривычно громкий голос она только что слышала, с подозрительным усердием утыкается в газету, а

мать – видно, что плакала, – нервно комкает в руке платочек и поспешно отходит к окну. Что случилось?

Поссорились? Нет, не похоже: отец вдруг поворачивается к матери и – Кристина никогда не видела его таким ласковым – нежно кладет руку на вздрагивающее плечо. Но мать не оглядывается, от этого молчаливого прикосновения ее плечи дрожат еще сильнее. Что случилось? Родители словно забыли о ней, ни один даже не посмотрел на дочь. И сейчас, спустя двенадцать лет, Кристина помнит, как она тогда перепугалась. Может, они на нее сердятся? Может, она все-таки в чем-то провинилась? Испуганная – в каждом подростковом возрасте всегда сидит чувство страха и вины, – она уходит на кухню; там кухарка Божена объясняет ей, что Геза, офицерский денщик, живущий по соседству, сказал – а уж ему ли не знать? – что приказ отдан и теперь проклятым сербам устроят хорошую мясорубку. Стало быть, Отто, как лейтенанта запаса, возьмут, и мужа ее сестры, обоих заберут, вот почему отец с матерью так расстроены. И правда, не следующее утро ее брат Отто неожиданно появляется в сизой егерской форме, с офицерским шарфом и с золотым темляком на сабле. Обычно он, сверхштатный учитель гимназии, носит черный, плохо почищенный сюртук; бледный, худой, долговязый парень с короткой стрижкой ежиком и мягким рыжеватым пушком на щеках всегда выглядел довольно потешно в солидном черном одеянии. Но сейчас, с энергично сжатыми губами, в плотно облегающем военном мундире, он ка-

жется сестре каким-то новым, другим. С наивным девчоночьим восхищением оглядев брата, она всплескивает руками: "Черт возьми, какой ты шикарный!" И мать, никогда не поднимавшая на дочь руку, толкает ее так, что она больно ударяется локтем о шкаф. "И тебе не стыдно, бессовестная?" Но эта вспышка гнева не облегчила затаенную боль, и мать тут же, разрыдавшись, с криками отчаяния бросается к сыну; молодой человек пытается сохранить мужское достоинство, вертит шеей и что-то говорит о родне, о долге. Отец отвернулся, он не может глядеть на это, и Отто, побледнев и стиснув зубы, чуть ли не силой высвобождается из неистовых материнских объятий. Затем он торопливо целует мать в щеки, на ходу жмет руку отцу и проскальзывает мимо Кристины, буркнув ей "пока". И с лестницы уже доносится звон его сабли. Пополудни приходит прощаться муж сестры, чиновник магистрата и фельдфебель тыловых частей; зная, что ему опасность не грозит, он беспечно разглагольствует о войне, словно о какой-то забаве, рассказывает в утешение анекдоты и уходит.

Но оба они оставляют дома две тени: жену брата, беременную на четвертом месяце, и сестру с маленьким ребенком. Теперь обе женщины каждый вечер садятся с ними за стол, и всякий раз Кристине кажется, будто лампа горит все тусклей и тусклей. Стоит Кристине ненароком сказать что-нибудь веселое, как на нее устремляются строгие взоры, и даже потом, в постели, она казнит себя за то, что она такая

плохая, несерьезная, совсем еще ребенок. Невольно она становится молчаливой. Смех в доме вымер, чутким стал сон в его стенах.

Только ночами, случайно проснувшись, она слышит иногда за стеной тихий, неумолчный шорох, будто там падают призрачные капли: то мать, потерявшая сон, часами стоит на коленях перед освещенной иконой богородицы и молится за сына.

Наступил 1915 год, ей семнадцать. Родители постарели на целый десяток лет. Отец – словно какая-то хворь подтачивает его изнутри – ходит, сморщенный, пожелтевший, сгорбленный, из комнаты в комнату, и все знают: он очень встревожен состоянием дел. Ведь уже шестьдесят лет, начиная с деда, во всей империи не было никого, кто умел так выделывать рога серны и так искусно набивать чучела лесной дичи, как Бонифаций Хофленер и сын. Он препарировал охотничьи трофеи по заказам Эстергази, Шварценбергов, даже эрцгерцогов для их замков, усердно трудясь с четырьмя-пятью подмастерьями с утра до поздней ночи, и работа была аккуратная, чистая. Теперь же, в это кровавое время, когда стреляют только в людей, дверной звонок в лавку молчит неделями, а сноха еще лежит после родов, и внучек болен, и на все нужны деньги. Все больше и больше горбится неразговорчи-

вый мастер, пока однажды не надламывается совсем – когда приходит письмо с берегов Изонцо, впервые написанное рукой не сына, а его командира, и уже ясно: геройская смерть во главе роты, сохранят память и т. д. Все тише становится в доме; мать больше не молится, лампада перед иконой богородицы потухла, мать забыла подлить масла.

1916 год, ей восемнадцать. Дома теперь неустанно твердят: слишком дорого. Мать, отец, сестра, невестка с утра до вечера подсчитывают, во что обходится убогая повседневная жизнь, вкладывая в эти подсчеты все свои заботы и тревоги. Слишком дорого мясо, слишком дорого масло, слишком дорога пара обуви; Кристина даже дышать почти не осмеливается из опасения, что это слишком дорого. Самые необходимые для жизни вещи, разбежавшись словно в панике, забились в норы спекулянтов и вымогателей, и приходится их искать – кланчить хлеб, торговаться с зеленщицей из-за горстки овощей, ездить в деревню за яйцами, везти на ручной тележке уголь с вокзала; изо дня в день в этой охоте состязаются тысячи мерзнущих и голодающих женщин, и с каждым днем добыча все скуднее. А у отца больной желудок, ему нужна особая, легкая пища.

С тех пор как отец снял вывеску "Бонифаций Хофленер" и продал лавку, он ни с кем не говорит; прижмет только иногда руки к животу и постанывает, если уверен, что никто его не слышит. Вообще-то следовало бы позвать врача. Но "слишком дорого", говорит отец, продолжая тайком корчиться от

боли.

1917 год, ей девятнадцать. На второй день нового года похоронили отца; денег на сберегательной книжке как раз хватило на то, чтобы перекрасить в черное одежду. Жизнь доживает с каждым днем, две комнаты они уже сдали беженцам из Бродов, но денег все равно не хватает, все равно, хоть надрывайся не покладая рук от зари до зари. Наконец деверю удалось выхлопотать для матери место кастелянши в Корнойбургском лазарете, а ее, Кристину, устроить пишбарышней в канцелярию. Если бы только не вставать на рассвете, не тащиться в такую даль, не мерзнуть утром и вечером в нетопленном вагоне. Потом делать уборку, штопать, чинить, шить, стирать, пока не отупеешь, и без единой мысли, без единого желания проваливаешься в тяжелый сон, от которого лучше не пробуждаться.

1918 год, ей двадцать. Все еще война, все еще ни одного свободного, беспечного дня, все еще нет времени поглядеться в зеркало, выйти на минутку в переулок. Мать жалуется, что у нее начали отекать ноги из-за работы в сыром помещении, но у Кристины почти не остается сил на сочувствие. Она уже слишком давно живет бок о бок с недугами; что-то в ней притупилось с тех пор, как она ежедневно печатает на машинке от семидесяти до восьмидесяти справок о страшных увечьях. Тяжело ковыляя на костылях – левая нога разможжена, – к ней в канцелярию иногда заходит маленький лейтенант из Баната, с золотистыми, как пшеница на его ро-

дине, волосами, с нерешительным, еще детским лицом, на котором, однако, запечатлелись следы перенесенного ужаса. Тоскую по дому, он рассказывает на старошвабском диалекте о своем селе, о собаке, о лошадях, бедный, потерянный белокурый ребенок. Однажды вечером они целовались на парковой скамейке, два-три вялых поцелуя, скорее сострадание, чем любовь; потом он сказал, что хочет жениться на ней, как только кончится война, С усталой улыбкой Кристина пропустила его слова мимо ушей; о том, что война когда-нибудь кончится, она и думать не осмеливается.

1919 год, ей двадцать один. Действительно, война окончилась, но не нужна. Раньше она прикрывалась лавинами распоряжений, коварно таилась под бумажными пирамидами свежотпечатанных банкнотов и облигаций военных займов.

Теперь она выползла, со впалыми глазами, ощерив рот, голодная, нахальная, и пожирает последние отбросы военных клоак. Как из снеговой тучи сыплются единицы с нулями, сотни тысяч, миллионы, но каждая снежинка, каждая тысяча тает на горячей ладони. Пока ты спишь, деньги тают; пока переобуваешь порванные туфли на деревянных каблуках, чтобы сбегать в магазин, деньги уже обесценились; все время куда-нибудь бежишь, и всегда оказывается, что уже поздно. Жизнь превратилась в математику, сложение, умножение, какой-то бешеный круговорот цифр и чисел, и этот смерч засасывает последние вещицы в свою ненасытную пасть: зо-

лотую брошь с груди матери, обручальное кольцо с пальца, камчатную скатерть. Но, сколько ни кидай, все напрасно, не спасает и то, что до глубокой ночи вяжешь шерстяные свитера и что все комнаты сдаешь жильцам, а самим приходится спать в кухне вдвоем. Только сон – вот единственное, что еще можно себе позволить, единственное, что не стоит ни гроша; в поздний час вытянуть на матрасе свое загнанное, похудевшее, все еще девственное тело и на шесть-семь часов забыть об этом апокалипсическом времени.

Потом 1920 – 1921 годы. Ей двадцать два, двадцать три. Расцвет молодости, так ведь это называется, но ей никто об этом не говорит, а сама она не знает. С утра до вечера лишь одна мысль – как свести концы с концами, когда денег все меньше и меньше? Чутьочку, правда, полегчало: дядя еще раз помог, самолично навестил своего приятеля (компаньона по карточной игре), служившего в почт-дирекции, и выклянчил у него для Кристины вакансию в почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, захолустного виноградарского села; вакансия не ахти какая, но все же с правом на постоянную должность после кандидатского срока, хоть что-то надежное. На одного человека скудного жалованья хватило бы, но поскольку в доме у зятя для матери места нет, Кристина вынуждена взять ее к себе и все делить на двоих. По-прежнему каждый день начинается с экономии и кончается подсчетами. На счету каждая спичка, каждое кофейное зернышко, каждая щепотка муки. Но все-таки дышать можно и можно существовать.

Затем 1922, 1923, 1924 годы – ей двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Все еще молодая? Или уже стареющая? У глаз постепенно наметились морщинки, иной раз устают ноги, весной почему-то болит голова. Но жизнь все-таки идет вперед, и живется получше. Держишь деньги в руках и чувствуешь, какие они опять твердые и круглые, у нее постоянная работа "почтовой ассистентки", да и зять каждый месяц присылает матери два-три банкнота. Теперь самое время попытаться снова быть молодой, не сразу, потихоньку; мать даже требует, чтобы она выходила, развлекалась. И в конце концов заставляет ее записаться на уроки танцев в соседнем селе. Ритмические движения эти даются ей нелегко, слишком уже глубоко вошла в ее плоть и кровь усталость, суставы ее будто заковались, и музыке не удастся их согреть. Она тщательно разучивает танцевальные па, но это не увлекает ее, не захватывает по-настоящему, и впервые она смутно догадывается: слишком поздно, война растоптала, оборвала ее молодость. Сломалась какая-то пружинка внутри, и мужчины, вероятно, тоже это чувствуют: ни один всерьез за ней не ухаживает, хотя ее нежный белокурый профиль кажется чуть ли не аристократическим на фоне краснощеких, круглолицых деревенских девиц. Зато послевоенная поросль ведет себя иначе, эти семнадцати-восемнадцатилетние не ждут смиренно и терпеливо, пока кто-нибудь соизволит их выбрать. Они считают, что имеют право на удовольствие, и требуют его с таким пылом, словно хотят не толь-

ко насладиться своей молодостью, но и погулять еще за тех молодых, сотни тысяч которых убиты и погребены. С неким испугом подмечает двадцатилетняя девушка, как самоуверенно и требовательно держатся эти юные представительницы нового поколения, какие у них знающие и дерзкие глаза, как вызывающе они покачивают бедрами, как хихикают в ответ на недвусмысленные прикосновения парней и как, не смущаясь подруг, каждая по пути домой заворачивает с мужчиной в лесок. Кристине это противно. Усталой старухой, сломленной жизнью и бесполезной, чувствует она себя среди этой жадной и грубой послевоенной поросли; она не хочет, да и не способна состязаться с ними. Она вообще больше не хочет никакой борьбы, никаких усилий! Лишь бы спокойно дышать, молча предаваться грезам, исполнять свою службу, поливать цветы под окном, ни к чему не стремиться, ничего не желать. Только ничего больше не требовать, ничего нового, ничего волнующего; даже для радости у нее, двадцатилетней, обкраденной войной на десяток лет молодости, нет больше ни духа, ни сил.

С невольным вздохом облегчения Кристина отрешается от воспоминаний.

Даже мысли о всех бедах и горестях, что она перенесла в юные годы, и те утомляют ее. Бессмысленна вся эта материнская затея! Зачем куда-то ехать, к какой-то тетке, которой она не знает, к людям, с которыми у нее нет ничего общего. О господи, но что же делать, если матери так хочется, если ей

это доставляет радость, противиться не стоит, да и к чему? Я так устала, так устала! Примирившись с судьбой, Кристина достает из верхнего ящика стола лист бумаги, аккуратно сгибает его пополам и, подложив транспарант, принимается писать заявление в венскую почт-дирекцию с просьбой, чтобы ей предоставили полагающийся по закону отпуск – притом срочно в связи с семейными обстоятельствами – и прислали кого-нибудь взамен к началу следующей недели; пишет ровным, четким почерком, выводя красивые буквы с волосистой линией и нажимом. Второе письмо – в Вену сестре: просьба получить для нее швейцарскую визу, одолжить небольшой чемодан и приехать сюда, чтобы договориться, как быть с матерью. В последующие дни Кристина не торопясь, тщательно готовится к поездке, без каких-либо ожиданий, не испытывая ни радости, ни интереса, словно все это относится не к самой ее жизни, а к тому единственному, чем они живут, – службе и долгу.

Вся неделя прошла в сборах. Вечерами шили, штопали, чистили и обновляли старое; вдобавок сестра вместо того, чтобы купить что-нибудь на присланные доллары ("Лучше приберечь их", – посоветовала эта робкая мещаночка), одолжила кое-что из собственного гардероба: ярко-желтое дорожное пальто, зеленую кофту, эмалевую брошь, которую мать купила в Венеции во время свадебного путешествия, и небольшой плетеный чемодан. Этого вполне хватит, полагает сестра, в горах не щеголяют нарядами, а в крайнем случае

если Кристине что понадобится, то уж лучше купить на месте. Наконец наступил день отъезда. Плоский плетеный чемодан несет собственноручно Франц Фуксталер, школьный учитель из соседнего села, он не хочет отказать себе в этой дружеской услуге. Небольшого роста, щедушный и голубоглазый, робко поглядывающий из-за очков, он пришел к Хофленерам сразу же после той телеграммы, чтобы предложить свою помощь: в Кляйн-Райфлинге они единственные, с кем он водит дружбу. Его жена больше года лежит в казенной туберкулезной лечебнице "Алланд", признанная всеми врачами безнадежной; двух их детей взяли к себе иногородние родственники. Почти каждый вечер он сидит дома, один в двух вымерших комнатах, и тихо предается своему увлечению, занимаясь милыми его сердцу поделками. Он составляет гербарии, четко и красиво надписывая шрифтом рондо названия засушенных цветов, красной тушью – латинские, черной – немецкие; собственноручно переплетает свои любимые, кирпичного цвета, брошюры издательства "Реклам" в картонные обложки с пестрым узором, а не корешке тончайшим чертежным пером с микроскопической точностью вырисовывает печатные буквы. В более поздний час, когда соседи уже спят, он берет скрипку и по переписанным от руки нотам – не очень умело, но весьма старательно – играет, обычно Шуберта и Мендельсона. Или же из взятых в библиотеке книг выписывает на четвертушках тонкой зерновой бумаги понравившиеся ему стихи и мысли; когда этих бе-

лых листков набирается сотня, он сшивает их в очередной альбом с глянцевой обложкой и яркой табличкой на переплете. словно арабский переписчик Корана, он предпочитает мягкие закругления, чередование тонких, спокойных линий и толстых, с энергичным нажимом, чтобы безмолвным шрифтом оживить и сделать зримой ту невысказанную радость и душевное напряжение, какие он испытывал во время чтения. Для этого тихого, скромного существа, обитающего в предоставленной ему общинной квартире (без садика под окнами), для такого человека книги – все равно что цветы в доме, и он высаживает их на полках яркими рядами, лелея каждую книгу, словно старый садовник, бережно прикасаясь к ней худыми бледными пальцами, как к хрупкой драгоценности. Школьный учитель никогда не посещает деревенского трактира; пива и табачного дыма он страшится, как набожные люди – зла, и спешит, нахмурившись, поскорее миновать злчное место, едва слышав доносящиеся оттуда брань и рьяные крики. Единственные люди, кого он навещает на досуге с тех пор, как слегла его жена, – это Хофленеры. Он часто заходит к ним после ужина просто поболтать или – что им особенно нравится – читает вслух книги, охотнее всего из "Полевых цветов" Адальберта Штифтера, их соотечественника, и от волнения его суховатый голос становится мелодичным. Застенчивый и несколько скучноватый, он незаметно для себя воодушевляется всякий раз, когда, подняв глаза от книги, смотрит на склоненную белокурую голо-

ву внимающей девушки; он чувствует, что его здесь понимают. Мать замечает, что происходит с учителем, и догадывается, что взгляд, который он бросает на ее дочь, станет иным, более смелым, когда свершится неминуемая судьба его супруги. Кристина же спокойна и молчит: она давно отвыкла думать о себе.

Учитель несет чемодан на правом, чуть опущенном плече, не обращая внимания на смех встречаемых мальчишек. Груз не столь уж тяжкий, но тем не менее носильщику приходится пыхтеть, чтобы поспевать за Кристиной, нетерпеливо и стремительно шагающей впереди; она не ожидала, что прощание окажется таким тягостным. Несмотря на категорический запрет врача, мать трижды спускалась вслед за ней по лестнице, словно гонимая необъяснимым страхом, все никак не могла расстаться с дочерью, и трижды Кристине пришлось втаскивать грузную, плачущую навзрыд старую женщину обратно наверх, хотя времени уже оставалось в обрез. А потом, как с ней часто бывало в последние недели, мать вдруг на полуслове-полувсхлипе начала задыхаться, и ее уложили в постель. В таком состоянии ее покинула Кристина и сейчас, крайне озабоченная, казнила себя: такой возбужденной мать еще никогда не была. Не дай бог, с ней что-нибудь случится, а меня тут нет... Вдруг ей что-нибудь понадобится ночью, а сестра приедет из Вены только на воскресенье. Правда, девушка из пекарни свято обещала, что вечерами посидит у нас, но надеяться на нее нельзя – на танцульки она сбежит

и от собственной матери... Нет, не надо уезжать, зря подда-лась на уговоры. Путешествия – это для тех, у кого дома нет больных, не для нас... если уж ехать, то недалеко, чтобы в любой момент успеть вернуться. Да и что мне даст эта поездка? Ну какая радость, если я все время буду тревожиться, каждую минуту думать, не нужно ли ей чего и что ночью никого с ней нет, а хозяева внизу звонка не слышат или не хотят слышать. Не любят они нас, будь их воля, давно бы выселили... На сменщицу из Линца тоже мало надежды; когда попросила ее, чтобы заглядывала к матери на минутку в обед и вечером, она ответила "ладно", причем ответила так холодно, сухо, что и не знаешь, зайдет они или нет... Может, все-таки телеграфировать тете отказ? Ну что ей, в самом деле, от того, приеду я или нет, ведь это только мать вообразила, что им до нас есть дело... Иначе хоть изредка писали бы из Америки или тогда, в тяжелое время, прислали бы посылку с продовольствием, как делали многие... Сколько их прошло на почте через мои руки, но ни одной – маме от родной сестры... Нет, зря я послушалась, по мне, так лучше отказаться, пока не поздно. Не знаю почему, страшно. Так не хочется ехать, так не хочется.

Невысокий светловолосый робкий человек, стараясь не отставать от Кристины, то и дело переводит дух и успокаивает ее. Пусть она не тревожится, он сам – это он твердо обещает – будет каждый день навещать ее мамушку. Уж кто-кто, а она заслужила наконец право на отпуск, ведь сколько лет

работала и ни разу не отдыхала. Если бы она поступилась своим долгом – вот тогда он первый отсоветовал бы ей это делать; нет, пусть она не беспокоится, он каждый день будет посылать ей весточку, каждый день. Торопясь, тяжело дыша, он говорит все, что приходит на ум, только бы ее успокоить, и в самом деле – эти настоятельные уговоры приносят ей облегчение. Кристина не вслушивается в его слова, но чувствует: на этого человека можно положиться.

На станции уже дан сигнал о прибытии поезда, скромный провожатый смущенно прокашливается. Кристина заметила, что он давно переступает с ноги на ногу, видно, хочет что-то сказать, но не смеет. Наконец он нерешительно вынимает из нагрудного кармана нечто белое, сложенное гармошкой, и с извинениями протягивает ей. Нет это, разумеется, не подарок, всего лишь небольшой знак внимания, возможно, ей пригодится. С удивлением она разворачивает продолговатую бумажную полоску. Это маршрутная карта ее поездки от Линца до Понтрезины: все названия гор, рек и городов вдоль железной дороги выписаны микроскопическими буквами черной тушью, горы заштрихованы реже или гуще, соответственно высоте, которая обозначена крохотными цифрами, нити рек прорисованы синим карандашом, кружки городов – красным; расстояния между городами проставлены в отдельной таблице внизу справа – точно так же, как на больших школьных картах Географического института; сельский учитель скопировал все любовно, с усердием, испытывая ра-

дость от приятного занятия.

Кристина невольно зарделась. Видя, что подарок понравился ей, скромный человек приободрился. Он извлек еще одну карту, прямоугольный листок с золотой каемкой: это карта Энгадина, калькированная с большой военно-топографической карты Швейцарии, со всеми дорогами и тропинками, включая малейшие подробности, а в центре красным кружочком особо выделено здание. Это, поясняет он, отель, где она будет жить, взято из старого "бедекера"; таким образом она сможет сама ориентироваться на прогулках, не опасаясь сбиться с дороги. Кристина взволнованно благодарит его. Наверное, этот трогательный человек, держа от нее свой замысел в секрете, выписал из библиотеки в Линце или в Вене необходимые пособия, а потом целыми вечерами прилежно чертил и раскрашивал карты сто раз очиненными карандашами и специально купленным пером единственно ради того, чтобы сделать ей этот подарок, сочетающий приятное с полезным и доступный его средствам. Ее не начатое еще путешествие он заранее продумал и проследил километр за километром; днем и ночью и наверное, думал о том, что ее ждет, сопровождая ее мысленно на всем пути. Благодарно протягивая сейчас руку этому человеку, растерявшемуся от собственной храбрости, Кристина словно впервые видит его глаза за стеклами очков – голубые, добрые, ясные, как у ребенка; но вот эта ясная голубизна, пока она смотрит на него, становится вдруг темнее и глубже от охватившего его волне-

ния. И у нее внезапно пробуждается чувство тепла, которого она еще ни разу не испытывала в его присутствии, чувство симпатии и доверия, которого никогда прежде не питала ни к одному мужчине. Какое-то неясное до сих пор ощущение окончательно созревает у нее в эту минуту;

Кристина дольше и сердечнее, чем когда-либо, пожимает ему руку. Он чувствует перемену в ее настроении, у него начинает горячо стучать в висках, перехватывает дыхание, он смущается, подыскивая нужные слова. Но тут, пыхтя, словно огромный рассерженный зверь, подкатывает черный паровоз; волна воздуха, которую он гонит перед собой, чуть не вырывает листок из ее руки.

Всего одна минута времени. Кристина поспешно входит в вагон, из окна она видит уже только машущий белый платок, который вскоре исчезает в дымной дали. Затем она остается одна, впервые за много лет одна.

Весь вечер Кристина, устало прислонившись к деревянной стенке купе, созерцает за исполосованными дождем оконными стеклами хмурый ландшафт под пасмурным небом. Сначала в сумерках еще смутно мелькали, будто вспугнутые зверьки, городишки и села, потом все смешалось и растаяло в тумане. Кроме нее, в купе вагона третьего класса никого, и она позволили себе вытянуть на скамье ноги, только теперь почувствовав, до чего устала. Она пробует собраться с мыслями, но монотонный стук колес и покачивание вагона мешают сосредоточиться; все плотнее затума-

нивает сознание, отгоняя боль в висках, парализующая мгла дремоты, то отупляющее вагонное забытие, когда, одурев, лежишь как в черном угольном мешке, а мешок трясут и трясут. В пространстве движется ее неподвижное тело, под ним, внизу, шумят, мчатся, словно подгоняемые бичом, колеса, а над ее запрокинутой головой течет время, безмолвно, неуловимо, беспредельно. Усталость Кристины настолько полно растворилась в этом стремительном черном потоке, что она перепугалась, когда утром внезапно с грохотом раздвинулась дверь и в купе шагнул широкоплечий усатый мужчина строгого вида. Прошло несколько мгновений, и Кристина, очнувшись от сна, сообразила, что этот человек в форме не намерен причинить ей зло, арестовать и увести, он хочет лишь ознакомиться с ее паспортом, который она и вытаскивает одеревеневшими пальцами из сумочки. Жандарм сверяет наклеенную фотокарточку с встревоженным лицом ее владелицы. Кристину охватывает дрожь, еще с войны в ней сидит нелепый и тем не менее неистребимый страх нарушить какое-нибудь из сотен тысяч постановлений: ведь всегда можно оказаться нарушителем какого-либо закона. Но жандарм любезно возвращает ей паспорт и, небрежно откозыряв, закрывает за собой дверь – на этот раз осторожнее, чем открывал. теперь можно было бы и снова улечься, но пережитая тревога спугнула сон. Кристина подошла к окну. И – оторопела. За холодными как лед стеклами, где только что (когда она спала, время как бы остановилось) до самого горизон-

та серой волной текла в туман глинистая равнина, из земли вздыбились каменными громадами горы, никогда не виданные ею гигантские образования; перед ее восхищенно-испуганным взглядом вознеслись невообразимо величественные Альпы. И в эту самую минуту первый луч солнца, пробившись с востока над седловиной, засверкал миллионами бликов на леднике самой высокой вершины, и этот ничем не замутированный, ослепительно белый свет так резко ударил в глаза, что Кристина невольно зажмурилась. Но эта мгновенная резь в глазах заставила ее окончательно проснуться. Рывок – и оконная рама, чтобы приблизить чудо, со стуком опускается вниз, и тут же в раскрытый от изумления рот врывается свежий, морозный, колючий, напоенный пряным снежным ароматом воздух, заполняя легкие: никогда еще она не дышала так глубоко и чисто. Невольно она разводит руки, чтобы тот первый, поспешный, обжигающий, глоток проник еще глубже, и вот уже всей грудью чувствует, как от морозного входа по жилам – чудесно, чудесно! – разливается блаженное тепло. И только сейчас, освеженная, она принимается рассматривать все по порядку, слева, справа; ее оттаявший взгляд радостно ощупывает каждый гранитный склон с ледяными бордюрами, от нижнего до самого верхнего, обнаруживая все новые подробности – водопад, низвергающийся в долину белопенными сальто-мортале, изящные, как бы придавленные скалами домики, приютившиеся в расщелинах, словно птичьи гнезда, орла, гордо парящего над высо-

чайшей вершиной; и надо всем этим царит божественно чистая, шелестящая синева, излучающая такую силу и радость, о какой Кристина и не подозревала.

Впервые в жизни убежавшая из своего тесного мирка, она не отрывает глаз от невероятного зрелища, от этих словно выросших за ночь каменных башен.

Тысячелетия, должно быть, стоят они здесь, эти исполинские твердыни Создателя, и незыблемо простоят, быть может, еще миллионы и миллиарды лет, а она, Кристина, если б не случайная эта поездка, могла умереть, истлеть и обратиться в прах, даже не догадываясь, что на свете есть такое великолепие.

Ничего этого она никогда не видела, да и вряд ли мечтала увидеть, ее жизнь текла стороной: бессмысленное прозябание на клочке пространства шириной в вытянутую руку – шаг туда, шаг обратно, меж тем как на расстоянии всего лишь одной ночи, одного дня начинается многообразнейшая беспредельность. И внезапно в ее доньне бездеятельное, равнодушное сознание впервые проникает догадка о чем-то упущенном. В такие мгновения у человека все в душе переворачивается от ощущения могучей силы странствий, которая одним взмахом срывает с него твердую скорлупу привычного и забрасывает обнаженное плодоносное ядро в стихию безудержных превращений.

Прижавшись раскрасневшейся щекой к оконной раме, Кристина целиком отдалась этому впервые охватившему ее

чувству и с жадным любопытством смотрит и смотрит во все глаза. Ни единой мыслью не оглядывается она назад.

Забыты мать, служба, деревня, забыта лежащая в сумочке любовно нарисованная карта, на которой она могла бы прочесть название каждой вершины и каждого горного ручья, опрометью несущего в долину, забыто собственное вчерашнее "я". Только бы впитать все до последней капли, только бы не упустить ничего из беспрестанно меняющейся величественной панорамы, запечатлеть каждый ее кадр и пить, пить, не отрывая губ, морозный воздух, крепкий и пряный, как можжевельник, этот волшебный горный воздух, от которого сердце бьется звонче и решительней! Четыре часа Кристина, не отходя ни на минуту, смотрит в окно, настолько увлеченная, что забыла о времени, и, когда поезд остановился и кондуктор на незнакомом диалекте, но все же внятно объявил название станции, где она должна сходить, у нее в испуге замерло сердце.

Боже мой – сделав над собой усилие, Кристина очнулась от сладостных грез, – уже приехала и ничего не успела придумать: ни как поздороваться с тетей, ни что сказать ей при встрече. Она поспешно хватает чемодан, зонтик – только бы ничего не забыть! и устремляется вслед за выходящими пассажирами.

Носильщики в разноцветных фуражках, выстроившиеся к приходу поезда строго, по-военному, в два ряда, тут же разлетелись, с охотничьим азартом ловя прибывших; отовсюду

слышатся шумные приветствия, выкрикивают названия отелей. Но Кристину никто не встречает. Она растерянно оглядывается вокруг, от волнения у нее сдавило горло, она высматривает, ищет. Но тщетно. Никого.

Всех встречают, все знают, куда им идти, только она не знает, одна она.

Приехавшие уже толпятся у гостиничных автобусов, пестрой вереницей стоящих в ожидании, словно готовая к стрельбе батарея; перрон почти опустел. И по-прежнему никого: о ней забыли. Тетя не пришла: может быть, уехала или заболела, и ей, Кристине, телеграфировали, что поездка отменяется, а телеграмма, увы, запоздала. Господи, хоть бы хватило денег на обратную дорогу! Собравшись с духом, она все же решается подойти к служителю, у которого на околыше фуражки золотится надпись "Отель Палас", и слабым голосом спрашивает, не живут ли у них супруги ван Боолен. "Как же, как же", – гортанно отвечает важный краснолобый швейцарец, ну да, конечно, ему поручено встретить барышню на вокзале. Пусть она даст ему квитанцию на багаж, а сама пока садится в автобус. Кристина покраснела. Только сейчас она заметила, и это ее больно задело, как выдает ее бедность зажатый в руке нищенский плетеный чемоданчик на фоне новеньких, будто с витрины, гигантских кофров, сверкающих металлической оковкой и неприступно возвышающихся среди пестрых кубиков из ценной юфти, чистой лайки, крокодиловой и змеиной кожи, ожидающих погруз-

ки. Она вмиг почувствовала, как бросается в глаза дистанция между другими пассажирами и ею. Ее охватило смущение. Надо что-нибудь соврать – быстро решает она.

– Остальной багаж придет потом.

– Ну что ж, тогда можно ехать, – заявляет (слава богу, без всякого удивления или презрения) величественная ливрея и распахивает дверцу автобуса.

Стоит человеку чего-нибудь устыдиться, как это неощутимо откладывается даже в самом отдаленном уголке сознания, затрагивая каждый нерв; и любое беглое упоминание, всякая случайная мысль заставляют однажды устыдившегося снова претерпевать пережитую муку. От этого первого толчка Кристина утратила свою непосредственность. Она неуверенно ступает в сумрачный салон автобуса и тотчас невольно отшатывается, увидев, что она здесь не одна. Но пути назад уже нет. Ей придется пройти через этот благоухающий духами и терпкой юфтью полумрак, мимо неохотно убираемых ног, чтобы добраться к задним местам.

Опустив глаза, втянув голову в плечи, как от озноба, совершенно оробев, она движется по проходу и от растерянности бормочет "здрасьте" каждой паре ног, которые минует, словно этой учтивостью просит извинить ее присутствие.

Однако никто ей не отвечает. Либо осмотр, проведенный шестнадцатью парами глаз, окончился неблагоприятно для Кристины, либо пассажиры – румынские аристократы, бойко болтающие на скверном французском, – и вовсе не об-

ратили внимания на жалкое существо, робкой тенью проскользнувшее в дальней угол.

Пристроив чемодан на коленях – поставить его на свободное место она не отважилась, – Кристина пригнулась, чтобы укрыться от возможных насмешливых взглядов; всю дорогу она ни разу не осмеливается поднять глаза, смотрит только в пол, только на то, что ниже сидений. Но роскошная обувь женщин тотчас напоминает ей о ее собственных неуклюжих туфлях. Оторопело взирает она на стройные женские ноги, надменно скрещенные под распахнутыми горностаевыми мантиями, на пестрые мужские носки гольфа, и этот "нижний" этаж богатства вызывает у нее озноб: как ей быть среди такого невиданного шика?

На что ни взглянет – новые мучения. Вот наискосок от нее девушка лет семнадцати держит на коленях пушистую китайскую болонку, та лениво потягивается, повизгивая; попона на собачонке оторочена мехом и украшена вышитой монограммой, а полудетская почесывающая шерстку рука сверкает бриллиантом и розовым маникюром. Стоящие в углу клюшки для гольфа и те выглядят нарядно в новеньких чехлах из гладкой кожи кремового цвета, а у каждого из небрежно брошенных зонтиков своя неповторимая экстравагантная ручка – Кристина произвольным жестом прикрывает ручку своего зонтика, сделанную из дешевого тусклого рога... Только бы никто не взглянул на нее, только бы никто не заметил, что она сейчас переживает, что впервые в жизни уви-

дела! Все ниже склоняет голову несчастная, все незаметнее ей хочется стать, и всякий раз, когда вблизи раздается смех, по спине у нее бегут мурашки. Но она боится поднять глаза и удостовериться, в самом ли деле этот смех относится к ней.

Но вот мучительным минутам приходит конец – под колесами хрустит мелкий гравий, автобус подруливает к отелю: на звук клаксона, резкого, как вокзальный колокол, к машине сбегается пестрый отряд сезонных носильщиков и боев. За ними, более церемонно – положение обязывает, – в черном сюртуке и с геометрически ровным пробором появляется главный администратор. Первой из автобуса выпрыгивает болонка и, приземлившись, отряхивается; не прерывая громкой болтовни, одна за другой выходят дамы; они спускаются, высоко подобрав манто над спортивно-мускулистыми икрами и оставляя за собой почти одуряющие волны благоуханий. Хотя бы из приличия мужчинам следовало пропустить вперед робко приподнявшуюся девушку, но либо они правильно определили ее происхождение, либо просто не замечают ее; во всяком случае, господа выходят, не оглядываясь на нее, и направляются к администратору.

Кристина в растерянности остается сидеть с плетеным чемоданчиком, который стал ей теперь ненавистен. Пусть они все отойдут подальше, думает она, это отвлечет от меня внимание. Но медлит она слишком долго, и когда наконец ступает на подножку, господин в сюртуке уже удаляется с румынами, бои деловито несут следом ручной багаж, сезонники

громыхают на крыше автобуса тяжелыми кофрами, и никто из них к ней не подбегает. Никто не обращает на нее внимания. Очевидно, ее приняли за служанку, думает она, испытывая чувство крайнего унижения, ну в лучшем случае за горничную одной из тех дам, ведь носильщики снуют мимо нее с полым равнодушием, будто она такая же, как и они. Терпение ее наконец иссякает, и собравшись с последними силами, она проталкивается в холл к дежурному администратору.

Дежурный администратор в разгар сезона... Разве осмелишься заговорить с ним, этим капитаном огромного роскошного корабля, царственно возвышающимся за своей конторкой и непоколебимо держащим свой курс сквозь шторм вопросов.

Десятка полтора приезжих ждут решения этого Всемогущего, который одной рукой что-то записывает, другой сжимает телефонную трубку, направо и налево дает справки, по его знаку – кивком или взглядом – бои разлетаются во все стороны; это универсальный человек-машина с постоянно натянутыми нервами-канатами; если перед его величеством стоят в ожидании даже особы полноправные – что же говорить о неопытном, застенчивом новичке? Столь недоступным кажется Кристине этот повелитель столпотворения, что она почтительно отступает в нишу, решив переждать, пока уляжется суматоха. Но постылый чемодан все сильнее оттягивает руку. Тщетно оглядывается Кристина вокруг в поис-

ках скамейки, куда можно бы его поставить. В этот момент ей показалось – наверное, вообразила от волнения, – что сидящие неподалеку в креслах люди бросают на нее иронические взгляды, перешептываются и смеются; еще мгновение – и она выронила бы ставшую непосильной ношу, так ослабели вдруг у нее пальцы. Но именно в эту критическую минуту к ней решительным шагом подходит искусственно белокурая, искусственно моложавая, очень элегантная дама, пристально разглядывает ее профиль, а затем спрашивает:

– Это ты, Кристина?

И когда племянница скорее выдохнула, чем произнесла "да", тетя легонько взяла ее за плечи и чмокнула в щеку, обдав тепловатым запахом пудры.

Кристина, с радостью почувствовав наконец после отчаянного одиночества что-то близкое, родное, кинулась в едва намеченные объятия столь бурно, что тетя, восприняв этот порыв как проявление родственной нежности, была весьма тронута. Она погладила вздрагивающие плечи:

– О, я ужасно рада, что ты приехала, Энтони и я, мы оба очень рады.

– И, взяв ее за руку:

– Идем, тебе, конечно, надо привести себя в порядок, ведь ваши дороги в Австрии, наверное, жутко некомфортабельны.

Спокойно собирайся – только не слишком долго. К ленчу уже бил гонг, а Энтони не любит ждать, это его слабость. We

have all prepared... Ах да, мы все подготовили, портье сейчас даст ключ от твоего номера. И быстренько, ладно?

Никаких шикарных туалетов, к обеду здесь каждый одевается как хочет.

По мановению тетиной руки ливрейный бой мигом подхватывает чемодан, зонтик и бежит за ключом. Бесшумный лифт поднимает Кристину на третий этаж.

В середине коридора бой отпирает дверь и, сдернув с головы круглую шапочку, отступает в сторону. Значит, это ее комната. Кристина входит. И уже на пороге отшатывается, словно ошиблась дверью. Ибо при всем желании сельская почтарка из Кляйн-Райфлинга, привыкшая видеть вокруг себя одну лишь убогость, не способна так быстро переключиться и поверить, будто эта комната предназначена ей, эта роскошно просторная, изумительно светлая, оклеенная яркими обоями комната, куда через распахнутые настежь двери балкона, словно через хрустальный шлюз, низвергаются каскады света. Неукротимый светопад заливает все помещение, каждый предмет напоен лучащейся стихией.

Полированная мебель сверкает своими гранями, будто хрусталь, на латуни и стекле весело искрятся солнечные блики, даже ковер с ткаными цветами выглядит настоящей живой лужайкой. Не комната, а сияющее райское утро; ослепленная, ошеломленная этим пиршеством света, Кристина невольно ждет, пока успокоится заколотившееся сердце, а потом с некоторым угрызением совести быстро притворя-

ет дверь. Сначала было изумление: возможно ли такое вообще – столько блеска, великолепия! И вторая мысль, давно и неразрывно связанная с несбыточными ее желаниями: сколько это должно стоить, как же много денег, как ужасно много денег! Наверное, один-единственный день стоит здесь больше, чем она зарабатывает за неделю – да нет, за месяц! Смущенно ну кто же осмелится чувствовать себя здесь как дома – Кристина, оглянувшись, осторожно ступает на дорогой ковер одной ногой, другой. Потом благоговейно и все же со жгучим любопытством принимается обследовать достопримечательности.

Сначала она бережно ощупывает постель: неужели здесь действительно можно будет спать, в такой свежайшей, прохладной белизне? А пуховое одеяло – легкое, нежное, с вышитыми шелком цветами, ну как пушинка на ладони; нажимаешь пальцем, и вспыхивает лампа, окрашивая угол в теплый розовый цвет.

Открытие за открытием: умывальник – белая сверкающая раковина с никелированными кранами, кресла – мягкие и до того глубокие, что с трудом выбираешься из их податливой топи; полированная мебель из ценного дерева так гармонирует с весенней зеленью обоев, а на столе, встречая гостью, горят четыре разноцветные гвоздики в высокой узкой вазе – ну чем не красочный приветственный туш хрустальной трубы! Волшебная, немислимая роскошь! и все это будет у нее перед глазами, всем она будет пользоваться, обладать день,

неделю, две недели; предвкушая наслаждение, Кристина, как робкая влюбленная, крадется от предмета к предмету, пылливо ощупывает их один за другим и то и дело изумляется, пока вдруг, точно наступив на змею, в ужасе не отскакивает и чуть не падает. Случилось же следующее: она совершенно машинально распахнула огромный стенной шкаф, не ожидая, что к внутренней стороне дверцы прикреплено большое зеркало, – и тут, словно игрушечный чертик с красным языком, выпрыгнувший из шкатулки, на нее глянуло во весь рост изображение, в котором она с ужасом увидела жестокую реальность – самое себя, то единственное, что было неприличным в этой фешенебельной обстановке.

Ярко-желтое растопыренное дорожное пальто, помятая соломенная шляпа над растерянным лицом – это зрелище потрясло ее до глубины души. Вон отсюда, пройдоха! Не марай приличный дом! Марш на свое место! – казалось, прикрикнуло на нее зеркало. В самом деле, думает Кристина удрученно, ну как я могу себе позволить жить в такой комнате, в таком отеле? Срамить тетю! никаких шикарных туалетов, сказала она! Будто они у меня есть! Нет, не пойду вниз, останусь здесь. Лучше уеду обратно. Но куда же спрятаться, как я успею исчезнуть? Ведь тетя сразу хватится меня и будет возмущена. Невольно стремясь удалиться от зеркала, Кристина выходит на балкон. Судорожно сжав перила, она смотрит вниз. Броситься бы – и всему конец...

Но тут снизу раздается еще один боевой удар гонга. Бо-

же мой! Ведь в холле ее ждут дядя с тетей, спохватывается Кристина, а она тут мешкает. И не умылась еще, и даже не сняла ненавистное пальто, приобретенное сестрой на распродаже. Она лихорадочно раскрывает чемодан, чтобы достать туалетные принадлежности, завернутые в кусок прорезиненной ткани. Но когда она выкладывает на чистую хрустальную полочку грубое мыло, царапающую деревянную щеточку и другие предметы, купленные явно по самой дешевой цене, ей кажется, что она вновь демонстрирует все свое мещанское убожество перед чьим-то язвительно-высокомерным взором. Что подумает горничная, увидев это, – наверняка с издевкой разболтает своим товаркам о нищенке; те расскажут другим, сразу весь отель узнает, и ей придется каждый день проходить мимо них, каждый день, потупив глаза и слыша шушуканье за спиной. Нет, здесь тетя ничем не поможет, этого не скроешь, это распространится повсюду. на каждом шагу какая-нибудь прореха да откроется, и ее платье и обувь только еще больше обнажат всем-всем ее убожество. Да, но надо торопиться, тетя ждет, а дядя, сказала она, ждать не любит. Господи, что делать? Что же надеть?

Первая мысль – зеленую блузку из искусственного шелка, которую ей одолжила сестра, но то, что еще вчера, в Кляйн-Райфлинге, она считала украшением своего гардероба, теперь кажется ей ужасно безвкусным и вульгарным. Лучше уж простую белую, она неприметнее, и захватить цветы из вазы: если держать их перед блузкой, то, может, яркий букет

отвлечет на себя внимание. Потом, пряча глаза и едва дыша от страха, что ее разглядывают, Кристина торопливо сбегает по лестнице в холл, обгоняя других, – в лице ее ни кровинки, голова болит и кружится, и такое чувство, будто она наяву летит в пропасть.

Спустившись в холл, она замечает тетю. Странно, что это с девчонкой? – думает та, направляясь к племяннице. То идет, то скачет, от людей шарахается, стесняется, что ли? Нервная, видать, штучка; да, надо было заранее о ней разузнать! Господи, а теперь встала как дурочка у входа, может, она близорукая или еще что-нибудь не в порядке?

– Ну что с тобой, детка? Ты совсем бледная. Тебе нездоровится?

– Нет, нет, – лепечет Кристина все еще в растерянности. Ужас сколько тут народу в холле, а вот та дама в черном, с лорнетом, как она сюда уставилась! Наверное, разглядывает ее смехотворные, неуклюжие туфли.

– Пойдем, пойдем, детка, – зовет тетя и берет ее под руку, даже не подозревая, какую услугу, какую огромную услугу оказывает запуганной племяннице. Ведь тем самым Кристина хоть на полшага отступает наконец-то в спасительную тень, под крыло, в укрытие: тетя по крайней мере с одного боку заслоняет ее своим телом, своим туалетом, своим видом. благодаря провожатой Кристине удается довольно спокойно пересечь ресторанный зал и подойти к столику, где их ждет флегматичный, грузный дядя Энтони; он поднимает-

ся, его обвислые щеки растягиваются в добродушной улыбке, типично голландские светлые глаза с красноватыми веками приветливо смотрят на племянницу, и он протягивает ей тяжелую, натруженную лапу. Радость его вызвана главным образом тем, что не надо больше дожидаться за накрытым столом – как всякий голландец, он любит поесть, обильно и с комфортом. Помех в этом деле он не терпел и со вчерашнего дня втайне опасался, что встретит эдакую несносную светскую бездельницу, которая своей болтовней и распросами испортит ему трапезу. Но, глядя сейчас на новоявленную племянницу, бледную, застенчивую и привлекательную в своем смущении, он успокаивается и сразу заключает, что с ней можно легко поладить.

– Первым делом поешь, а уж потом поговорим, – ласково и дружески подбадривает он ее.

Эта худенькая робкая девушка, не осмеливающаяся поднять глаза, радуется ему, она совсем не похожа на тех бойких девиц за океаном, которых он не переваривает, потому что они вечно заводят граммофон и так вызывающе вихляются, как никогда не позволит себе ни одна женщина из его старой Голландии. Невольно покряхтывая, он склоняется над столом и собственноручно наливает ей вино, а затем делает знак официанту, чтобы подавал обед.

У официанта жестокие крахмальные манжеты и такое же натянутое, чопорное лицо; о господи, ну что за экстравагантные блюда он подает, какие-то странные, невиданные заку-

ки: охлажденные на льду маслины, пестрые салаты, серебряные рыбы, годы артишоков, непостижимые кремы, нежнейший паштет из гусиной печени и розовые ломтики семги – все такое изысканное, тонкое, должно таять во рту. Но вот каким из дюжины положенных приборов есть эти неведомые деликатесы? Маленькой или круглой ложкой, изящным ножичком или широким ножом? Чем их резать и брать, чтобы не обнаружить перед этим платным наблюдателем и опытными соседями, что ты впервые в жизни попала в столь шикарный ресторан? Как избежать хотя бы грубых оплошностей? Стараясь выиграть время, Кристина медленно разворачивает салфетку и при этом искоса следит из-под опущенных век за тетинными руками, чтобы подражать каждому ее движению. Однако вместе с тем ей приходится выслушивать дружеские вопросы дяди, и выслушивать очень внимательно, так как его речь на смешанном голландско-немецком вдобавок обильно уснащена английскими оборотами; она вынуждена напрячь все силы, чтобы не только выдерживать сражение на два фронта, но и преодолевать чувство неполноценности, слыша позади неумолкающее шушуканье и воображая, что соседи бросают на нее ехидные или жалостливые взгляды. Страшась обнаружить свою убогость и неопытность перед дядей и тетей, перед официантом, перед любым сидящим в зале и в то же время стараясь выглядеть беспечной, даже веселой, Кристина была напряжена до предела, так что эти полчаса за обедом показались ей вечностью. До десерта

она кое-как продержалась; наконец тетя, не догадываясь об истинной причине, заметила ее смущение:

– Ты выглядишь усталой, детка. Впрочем, неудивительно, если всю ночь едешь в этих дрянных европейских вагонах. Ничего, не смущайся, приляжешь на часок, поспишь, а потом двинемся. Спешить нам некуда, Энтони тоже всегда отдыхает после обеда. – Поднявшись, она берет племянницу под руку. – Идем, я тебя провожу. Полежишь, встанешь бодрой, и тогда мы хорошенько прогуляемся.

Кристина глубоко вздыхает, признательная тете. Спрятаться на час за закрытой дверью – значить выиграть целый час.

– Ну, как она тебе понравилась? – спрашивает, едва войдя в номер, тетя своего Энтони, который уже на ходу расстегивает пиджак и жилетку.

– Очень мила, – зевает дородный супруг, – милое венское лицо...

Передай-ка мне подушку... В самом деле, очень мила и скромна. Только – I think so at least³.

– я нахожу, что она бедновато одета... ну... не знаю, как это выразить... у нас такого вот уже давно нет... и если ты

³ По крайней мере мне так кажется (англ.).

решишь представить ее здесь Кинсли и другим как нашу племянницу, ей следовало бы, пожалуй, одеться более презентабельно... Не могла бы ты выручить ее своим гардеробом?

– Видишь, у меня уже ключ в руке. – Госпожа ван Боолен улыбается.

– Я сама перепугалась, когда увидела ее среди приехавших, еще там, во дворе... да, зрелище весьма компрометирующее. А ведь ты не видел ее пальто – яичный желток, великолепный экземпляр, специально для лавки индейских диковинок... Бедняжка, если б она знала, какой провинциальный у нее наряд, ах, господи, откуда ж ей это знать... ведь все они там, в Австрии, совершенного down⁴ из-за этой проклятой войны, ты же сам слышал, что она рассказывала, – дальше трех миль за Вену еще ни разу не выезжала, никогда не бывала среди людей... Poor thing⁵, сразу видно, что ей здесь не по себе, ходит совсем запуганная... Ладно, так и быть, обряжу ее как полагается, привезла я сюда достаточно, а чего не хватит, куплю в английской лавке; никто ничего не заметит, да и почему бы ей не поблаженствовать разок недельку-другую, бедняжке.

И пока утомленный супруг погружается на оттоманке в дрему, она производит смотр двум большим кофрам, возвышающимся в прихожей, словно кариантиды, чуть не до потолка. За две недели в Париже госпожа Ван Боолен отдала

⁴ Разорены (англ.).

⁵ Бедняжка (англ.).

должное не только музеям, но в немалой мере и дамским портным: в ее руках шелестит крепдешин, шелк, батист, она вытаскивает одну за другой дюжину блузок и платьев, щупает, прикидывает на свет и на вес, пересчитывает, вешает обратно; ее пальцы обстоятельно, но не без удовольствия прогуливаются по переливчатым и черным, нежным и плотным тканям и платьям, прежде чем она решается, что уступить Кристине. Наконец на кресле вырастает радужный пенистый холмик из тонких платьев, чулок и белья; весь этот почти невесомый груз она поднимает одной рукой и несет в номе к племяннице. Тихонько отворив дверь, тетя входит, однако в первый момент ей кажется, что комната пуста. Окно распахнуто, в креслах никого, за письменным столом тоже; она собирается положить вещи на стул, как вдруг обнаруживает Кристину спящей на кушетке. С непривычки и от смущения девушка пила вино торопливо, а дядя, добродушно посмеиваясь, подливал и подливал ей в бокал, и вот голова у нее странно отяжелела. Кристине было присела на кушетку, чтобы подумать, поразмышлять обо всем, но вскоре сонливость мягко склонила ее к подушкам, и она незаметно уснула.

Вид спящего человека, его беспомощность всегда производят либо трогательное, либо забавное впечатление. Тетя была растрогана, когда на цыпочках приблизилась к племяннице. Во сне Кристине стеснительно прикрыла руками грудь, как бы защищаясь от чего-то; этот жест и по-детски, словно в испуге, полуоткрытый рот невольно вызывают сочувствие;

брови тоже чуть приподняты, будто ей снится что-то тревожное.

Тетю вдруг озаряет догадка: она и во сне боится, даже во сне. До чего же бледные у нее губы, и цвет лица какой нездоровый, а ведь совсем еще молодая и спит как ребенок... Наверное, от плохого питания, рано пришлось самой зарабатывать, намыкалась, измоталась, совсем изнуренная, а девочке и двадцати восьми еще нет. Poor chap⁶! Что-то вроде стыда внезапно просыпается в добросердечной женщине, пока она смотрит на племянницу, и не подозревающую, что ее тайны разгаданы. В самом деле, такая усталая, несчастная, замученная, а мы – ну просто срам, давно надо было им помочь. Мы же занимаемся там всяческой благотворительностью, устраиваем сотни charity teas⁷, жертвуем на рождественские подарки, сами не зная для кого, а тут собственная сестра, родная кровь, и о ней все эти годы даже не вспомнили, когда несколько сотен долларов могли бы совершить чудо. Конечно, они могли бы и написать, напомнить о себе – вечно у этих бедняков дурацкая гордость, не хотят попросить! Слава богу, что хоть теперь еще можно поддержать эту бледную, робкую девушку, доставить ей немного радости. Сама не понимая почему, тетя со все большим умилением вглядывается в мечтательный облик спящей – то ли она увидела в нем свое собственное отражение, всплывшее в зерка-

⁶ Бедняжка! (англ.).

⁷ Благотворительное чаепитие (англ.).

ле детства, то ли вдруг вспомнила давнюю фотографию матери, которая в тонкой позолоченной рамке висела над ее детской кроватью? Или воскресло чувство одиночества, которое она испытывала тогда в Нью-Йоркском пансионе, – во всяком случае, стареющая женщина внезапно ощутила прилив нежности. И ласково погладила белокурые волосы племянницы.

Кристина мгновенно просыпается. Уход за больной матерью приучил ее вскакивать от малейшего прикосновения.

– Уже так поздно? – лепечет она виновато.

Извечный страх опоздать, присущий всем служащим, сопровождает ее во сне уже многие годы и просыпается вместе с первым звонком будильника. Первый взгляд на часы – всегда вопрос: "Я не опоздаю?" И первое чувство после утреннего пробуждения – неизменно страх провиниться в чем-нибудь на службе.

– Деточка, зачем же так пугаться? – успокаивающе говорит тетя. – Здесь времени столько, что не знаешь, куда его девать. Не волнуйся, отдохни, если еще чувствуешь себя усталой, ей-богу, я не хотела тебя беспокоить, вот только принесла несколько платьев, посмотри, может, какое и понравится, наденешь. Я их притащила из Парижа такую уйму, что чемодан не закрывается, ну и подумала: лучше ты вместо меня поносишь парочку-другую.

Кристина чувствует, как краска заливает ей лицо и шею. Значит, они все-таки это поняли сразу, с первого взгляда,

она их срамит своей бедностью... наверное, оба, и дядя и тетя, стыдятся ее. Но как деликатно тетя хочет помочь ей, как маскирует она подачку, стараясь не обидеть ее.

– Ну как я смогу носить твои платья, тетя? – запинаясь, говорит Кристина. – Ведь они слишком дороги для меня.

– Чепуха, они наверняка будут тебе больше к лицу, чем мне. Энтони и так уже ворчит, что я одеваюсь слишком молодо. Ему хотелось бы, чтоб я выглядела как его двоюродные бабушки в Гандаме: плотный черный шелк, застегнуты от пяток до жабо, как истинные протестантки, а не макушке белый крахмальным чепчик. На тебе эти тряпки ему понравятся в тысячу раз больше. Ну, давай примерь, какое ты выберешь сегодня на вечер?

И одним взмахом – в ней неожиданно проснулась давно забытая сноровка манекенщицы – она выхватывает легчайшее платье и прикладывает к своей фигуре. Цвета слоновой кости, с пестрой японской каймой, оно светится по-весеннему рядом с другим платьем, где алые остроконечные язычки пламени трепещут на черном как ночь шелке. Третье – болотного оттенка с серебряными прожилками по краям, и все три кажутся Кристине столь прекрасными, что она и мысли не допускает пожелать их или обладать ими. Такие роскошные и тонкие вещи даже надеть страшно: все время будешь бояться – вдруг порвешь по неопытности. А как ходить, двигаться в этом облачке, сотканном из цвета и света? Ведь носить эти платья надо сперва научиться.

И все-таки ни одна женщина не может устоять перед этими сокровищами.

Ноздри ее возбужденно трепещут, рука начинает странно дрожать, пальцам хочется нежно погладить ткань, и лишь с трудом она сдерживает себя. Тете по давнишнему опыту знакомо это вожделение во взгляде, это почти сладострастное волнение, которое охватывает всех женщин при виде роскоши; она невольно улыбается, заметив внезапно вспыхнувшие огоньки в глазах робкой блондинки; от одного платья к другому блуждают они, беспокойно, нерешительно, и Опытность знает, какое платье выберет Неискушенность, и знает, что, выбрав, будет с раскаянием взирать на друге. Из самых добрых побуждений тетя с удовольствием подливает масла в огонь:

– Спешить некуда, я оставляю тебе все три, сегодня выберешь сама по вкусу, а завтра попробуешь остальные. Чулки и белье я тоже захватила... теперь тебе недостает чего-нибудь такого свеженького, бодренького, что чуточку подкрасит твои бледные щечки. Если не возражаешь, пойдём-ка прямо сейчас в stores⁸ и купим все, что тебе понадобится в Энгадине.

– Но, тетя, – лепечет вконец потрясенная Кристина, – мне неудобно... нельзя же, чтобы ты столько на меня тратила. И номер этот слишком дорогой, ну в самом деле, мне бы вполне подошла простенькая комната.

⁸ Лавки, магазины (англ.).

Тетя лишь улыбается, не сводя с нее глаз.

– А потом, детка, – заявляет она властно, – сходим к нашей парикмахерше, она тебя мало-мальски причешет. Сама увидишь, сразу легче будет держать голову, когда грива перестанет болтаться на затылке. Нет, нет, не спорь, я в этом лучше разбираюсь, ложись на меня и не волнуйся. Времени у нас масса, Энтони сейчас торчит за послеобеденным покером. Вечерком преподнесем тебя ему как с иголки. Ну, собирайся, детка, пошли.

В большом магазине спортивных товаров коробки одна за другой снуют со стеллажей на прилавок: выбран свитер с рисунком в шашечку, замшевый пояс, подчеркивающий талию, пара крепких рыжеватых ботинок, остро пахнущих свежесделанной кожей, шапочка, пестрые, туго облегающие носки гольф и всякая мелочь; примеривая в кабине обнову, Кристина, словно грязную коросту, сдирает с себя ненавистную кофту и тайком прячет эту привезенную улику нужды в картонную коробку. Удивительное облегчение охватывает ее по мере того, как исчезают в картонке опротивевшие вещи, будто вместе с ними навеки переходит туда же и ее страх. В другом магазине добавляются еще вечерние туфли, легкая шелковая шаль и тому подобные чарующие предметы; с изумлением Кристина наблюдает, словно чудо, никогда не виданный ею способ делать покупки, то есть покупать, не спрашивая о цене, не испытывая постоянного страха перед "слишком дорого". Выбираешь товар, говоришь "да" не задумываясь,

не тревожась, и вот пакеты перевязаны, и таинственные рассыльные доставят их тебе домой. Не успеваешь выразить желание как оно уже исполнено: жутко все то, но в то же время упоительно легко и красиво. Кристина отдается во власть чудес, прекратив всякое сопротивление и предоставив тете полную свободу действий; она лишь застенчиво отворачивается, когда тетя вынимает из сумочки банкноты, и старается пропускать мимо ушей, не слышать цены – ведь это так много, так немыслимо много, то, что на нее тратят: за годы она не израсходовала столько, сколько здесь за полчаса. Когда они вышли из магазина, она, уже не сдерживаясь, в порыве благодарности трепетно прижимается к тете и целует ее руку.

Тетя с улыбкой смотрит на ее трогательное смущение.

– Ну, теперь займемся скальпом! Я отведу тебя к парикмахерше, а сама тем временем нанесу визит друзьям, оставлю им карточку. Через час ты будешь как с витрины, и я зайду за тобой. Увидишь, что она из тебя сотворит, ты уже сейчас выглядишь совсем иначе. Потом отправимся гулять, а вечером будет вовсе развлекаться.

Сердце у Кристины взволнованно стучит, но она послушно (ведь тетя желает ей добра!) входит в комнату, облицованную кафелем и сверкающую зеркалами, здесь теплый сладковатый воздух пахнет цветочными мылом и распыленными эссенциями, а рядом, словно ветер в горном ущелье, завывает какой-то электрический аппарат. Парикмахерша, проворная курносовая француженка, выслушивает всевозможные ин-

струкции, в которых Кристина ничего не понимает, да и не пытается понять. Ее захлестнуло ранее неведомое желание безвольно отдаться любым неожиданностям – пусть с ней делают все что хотят.

Тетя исчезает, а она, откинувшись в удобно операционном кресле, закрыв глаза погружается в наркоз блаженства; щелкает машинка, Кристина ощущает ее стальной холодок на затылке, слышит непонятную болтовню бойкой мастерицы, вдыхает слегка дурманящие благовония и охотно подставляет шею и волосы чужим искусным пальцам и струям сладкой эссенции. только не открывать глаза, думает она. А то вдруг окажется, что все не правда. Только не спрашивать.

Только насладиться этим праздничным чувством, разок отдохнуть, не обслуживать других, а самой быть обслуженной. Разок посидеть сложа руки, ожидая удовольствия и вкушая его, ощутить в полной мере то редкое состояние беспомощности, когда о тебе заботятся, ухаживают за тобой, то странное физическое чувство, какого она не испытывала уже годы, нет, десятки лет.

Зажмурившись в тепловатом душистом тумане, Кристина вспоминает, когда это случилось с ней в последний раз: детство, она в постели, больна, несколько дней у нее был жар, но сейчас прошел, мать приносит ей белое сладкое миндальное молоко, возле кровати сидят отец и брат, все такие добрые, заботливые, ласковые. Канарейка у окна насвистывает какую-то озорную мелодию, в постели мягко, тепло, в школу

ходить не надо, на одеяло ей положили игрушки, но играть лень: лучше блаженствовать, закрыв глаза, и ничего не делать, вволю наслаждаться бездельем и приятным сознанием, что за тобой ухаживают. Двадцать лет она не вспоминала об этом изумительном ощущении расслабленности, пережитом в детстве, и вот теперь вдруг снова его почувствовала – кожей, когда висков коснулось теплое, влажное дуновение.

Время от времени шустрая мамзель задает вопросы вроде: "Желаете покороче?" А она отвечает лишь: "Как вам угодно" – и нарочно смотрит мимо поднесенного ей зеркала. Нет, только бы не нарушить это божественное состояние, когда ни за что не отвечаешь, когда тебе не надо совершать какие-то действия и что-то желать и за тебя действуют и желают другие, хотя было бы заманчиво хоть раз, впервые в жизни, кому-то приказать, что-то потребовать, распорядиться о том или ином.

Аромат из граненого флакона растекается по ее волосам, лезвие бритвы нежными прикосновениями чуть щекочет кожу, голове вдруг становится необычайно легко, а затылку как-то непривычно прохладно. Собственно Кристине уже не терпится взглянуть в зеркало, однако она сдерживается – ведь с закрытыми глазами можно еще продлить этот упоительный полусон. Между тем к ней неслышно подсаживается таким добрым гномом вторя мастерица и, пока первая колдует над прической, начинает делать маникюр. Кристина, уже почти не удивляясь, послушно поддается и этому и

также не препятствует, когда после слов "Voudetes un peu pale, mademoiselle"⁹ старательная парикмахерша всевозможными помадами и карандашами подкрашивает ей губы, подрисовывает покруче брови и подрумянивает щеки. Все это она замечает, но в то же время не воспринимает, пребывая в расслабленной самоотрешенности и едва сознавая, происходит ли все это с нею самой или же с каким-то совсем другим, совершенно новым "я", происходит не наяву, а в сновидении, – она ощущает замешательство и легкий страх, что эти чары внезапно разрушатся.

Наконец появляется тетьа.

– Отлично, – изрекает она со знанием дела.

По ее просьбе заворачивают несколько баночек, карандашей и флаконов, затем она предлагает племяннице немного прогуляться. Поднявшись, Кристина не отваживается взглянуть в зеркало, она ощущает лишь необычную легкость в затылке; и вот теперь, идя по улице и время от времени украдкой посматривая на свою гладкую юбку, на веселые пестрые гольфы, на блестящие элегантные ботинки, она чувствует, как увереннее становится ее походка. Нежно прижавшись к тете, она слушает ее пояснения и удивляется всему вокруг: поразителен ландшафт с яркой зеленью и панорамным строем горных вершин, гостиницы, эти твердины роскоши, нагло вознесшиеся по склонам, и дорогие магазины с соблазнительными витринами – меха, драгоценности, часы, анти-

⁹ Вы немножко бледны, мадемуазель (франц.).

квариат, – все это странно и чужеродно рядом с царственным одиночеством гигантского ледника. Удивительны и лошади в красивой упряжи, собаки, люди, похожие своей яркой одеждой на альпийские цветы. Атмосфера солнечной беззаботности, мир без труда, без нужды, мир, о каком она и не подозревала.

Тетя перечисляет ей названия вершин, отелей, фамилии именитых приезжих, встречающиеся по пути; Кристина почтительно внимает, с благоговением взирает на них, и ее собственное присутствие здесь все больше кажется ей чудом. Она удивляется, что может гулять здесь, что это дозволено, и все больше сомневается; неужели это происходит наяву? Наконец тетя бросает взгляд на часы.

– Пора домой. Надо успеть переодеться. До ужина остался всего час. А единственное, что может рассердить Энтони, – это опоздание...

Когда Кристина, вернувшись в гостиницу, открыла дверь номера, то все здесь было уже окрашено мягкими предвечерними тонами, в рано наступивших сумерках предметы выглядели неопределенным и расплывчатыми. Лишь четкий прямоугольник неба за распахнутой балконной дверью еще хранил яркую, густую, ослепительную голубизну, а в помещении все цветные пятна стали блекнуть по краям и смешиваться с бархатистыми тенями. Кристина выходит на балкон, навстречу бескрайнему ландшафту, и замороженно следит за быстро меняющейся игрой красок. Первыми теряют

свою сияющую белизну облака и постепенно начинают алеть все больше и больше, словно их, столь надменно безучастных, очень взволновал все ускоряющийся закат светила. Потом, внезапно, из горных круч поднимаются тени, которые днем поодиночке хоронились за деревьями; и вот сейчас они, будто осмелев, соединяются толпами, взмывают черной завесой из впадин ввысь, и в изумленную душу закрадывается тревога: не захлестнет ли эта мгла и сами вершины, опустошив и затмив весь гигантский кругозор, – легким морозцем уже потянуло из долин, и дуновение это усиливается. Но вдруг вершины озаряются каким-то новым светом, более холодным и блеклым, и глядь – в еще не померкшей лазури уже появилась луна. круглым фонарем она повисла высоко над ложбиной между двумя самыми высокими горами, и все, что лишь минуту назад было живописной картиной с ее многоцветьем, начинает превращаться в силуэтное изображение, в контуры черно-белого рисунка с крохотными, смутно мерцающими звездами.

В полном самозабвении Кристина не сводит замороженного взгляда с этой гигантской сцены, где непрерывно сменяются декорации. Подобно тому как человек, чей слух привык лишь к нежным звукам скрипки и флейты, чувствует себя почти оглушенным, услышав впервые бурное тутти целого оркестра, так и ее чувства затрепетали при виде этого величественного красочного спектакля, неожиданно показанного природой. Вцепившись руками в перила, она смотрит и

смотрит, не отрывая глаз. Никогда в жизни она не глядела так пристально на какой-нибудь пейзаж, никогда еще с такой полнотой не отдавалась созерцанию, не погружалась целиком в собственные переживания. Вся ее жизненная сила словно сконцентрировалась, как в фокусе, в двух изумленных зрачках и устремилась, позабыв о себе и о времени, навстречу природе. но, к счастью, в этом доме, где все предусмотрено, существует и стаж времени, безжалостный гонг, который трижды в день напоминает постояльцам об их обязанности насладиться роскошью. При первом раскатистом ударе меди Кристина вздрагивает. Ведь тетя строго-настрого велела не опаздывать, скорей-скорей одеться к ужину!

Какое же из новых платьев надеть? Все они такие чудесные, лежат рядышком на кровати и чуть светятся, словно крылья стрекозы; очень соблазнительно блестит в тени темное, но Кристина решает, что скромнее будет – цвета слоновой кости. Она осторожно, с робостью берет его в руки и любуется. Не тяжелее носового платка или перчатки. быстро стягивает с себя свитер, снимает грузные ботинки, толстые спортивные носки, долой все громоздкое, тяжеловесное, ей не терпится ощутить неизведанную легкость. Как все нежно, как мягко и невесомо. Одно лишь прикосновение к новому дорогому белью вызывает дивное ощущение. Пальцы ее дрожат, она поспешно снимает старое, грубое полотняное белье, и по коже ласковой теплой пеной струится новая мягкая ткань. Кристина невольно протягивает руку к выключателю,

чтобы зажечь свет и оглядеть себя, но в последнее мгновение опускает ее: лучше продлить удовольствие еще минута-другой ожидания. Кто знает, может быть, эта изумительно легкая ткань кажется нежной как пух только в темноте, а в ярком, резком освещении ее чары исчезнут? Так, теперь, после белья и чулок, платье. Бережно – ведь оно принадлежит тете – Кристина подставляет себя ниспадающей шелковой волне, прохладной, сверкающей, которая сама стекает по плечам, покорно облегая тело, это платье совершенно неощутимо, оно как ветер, как уста воздуха, нежно скользящие по коже. Но хватит медлить, терять время на предвкушение, быстрее одевайся, и тогда уж полюбишься собой!

Теперь туфли; поправь, пройдишь; слава богу, все! И наконец – даже сердце замерло – остается бросить первый взгляд в зеркало.

Рука поворачивает выключатель, и лампа вспыхивает. С этой вспышкой померкшая было комната опять расцвела, опять появились яркие обои, блестящая мебель и весь новый фешенебельный мир. Кристине и любопытно и боязно, она еще не решается встать перед зеркалом так вот сразу и лишь сбоку заглядывает в красноречивое стекло, в уголке которого отражается полоска пейзажа за балконом и кусочек комнаты. Для настоящей репетиции пока не хватает мужества. Не будет ли она выглядеть еще смешнее, чем в своем прежнем, тоже одолженном платье, не бросится ли в глаза и другим, и ей самой скрытый обман? Она медленно, боч-

ком, бочком подступает к зеркалу, как будто скромностью можно перехитрить и одурачить неумолимого судью. Зеркало уже перед ней, но глаза ее по-прежнему опущены, она никак не отваживается на последний решительный взгляд. Тут снизу доносится второй удар гонга: медлить больше нельзя. Внезапно решившись, она делает глубокий вздох, как перед прыжком в воду, затем поднимает глаза. И, подняв, вздрагивает в испуге, она действительно так пугается неожиданно-го зрелища, что невольно отступает на шаг. Да кто же это? кто эта стройная элегантная дама, которая чуть изогнувшись назад, полуоткрыв рот и распахнув глаза, смотрит на нее с неподдельным изумлением? неужели это она сама? Быть не может! Она не произносит этого вслух, но именно эти слова произвольно хотели слететь с ее губ. И удивительно: там, в зеркале, губы шевельнулись.

У Кристины дух захватило. Никогда еще, даже в мечтах, она не представляла себя такой прекрасной, такой юной, такой нарядной; ведь у нее теперь совсем другие губы – красные, четко очерченные, другие брови – тонкие, изогнутые, шея, которая вдруг открылась свету под взметнувшейся золотой шапкой волос, и кожа в блестящем обрамлении платья совсем другая.

Все ближе и ближе подступает Кристина, чтобы опознать себя в этой картинке, и хотя понимает, что в зеркале она, тем не менее не осмеливается признать это другое "я" настоящим и прочным, ее не оставляет страх, что стоит ей прибли-

зиться еще на дюйм, сделать резкое движение, как блаженное видение растает. Нет, не может быть, думает она. нельзя измениться до такой степени.

Ведь если бы так было на самом деле, значит, тогда я... Она не решается мысленно договорить. Но тут изображение в зеркале начинает улыбаться, отгадывая это слово, чуть заметная вначале улыбка становится шире, шире. Вот уже из холодного стекла совершенно открыто и гордо смеются глаза, и мягкие красные губы, кажется, весело признаются: "Да, я красивая".

До чего же это увлекательно – вот так смотреть на себя, удивляться, что-то в себе открывать, любоваться собой, разглядывать с неведомым донине чувством восхищения свое тело, впервые замечать, как вольно дышащая грудь упруго и красиво колыхается под шелком, какие стройные и в то же время мягкие линии обретают формы в красках, как легко и свободно выступают обнаженные плечи в этом платье. Интересно, а как выглядит новое стройное тело в движении? Она медленно-медленно поворачивается боком, не спуская глаз с зеркала: и снова ее взгляд встречается с гордым, довольным взглядом отраженного двойника. Это придает ей смелости. Теперь быстро три шага назад: что ж, в движении все тоже красиво. Теперь можно отважиться и на пируэт; она кружится волчком, разлетаются короткие юбки, и зеркало снова улыбается:

"Отлично! Какая ты стройная, ловкая!" Больше всего ей

хочется сейчас танцевать, в каждом суставе звенит музыка.

Поспешно отойдя в глубину комнаты она шагает навстречу зеркалу, и оно улыбается, улыбается ее глазами; собственное отражение со всех сторон испытывает, искушает ее, льстит ей, и чувство восхищения собой никак не насытится этим новым обольстительным "я" в красивом одеянии, юным, преображенным, которое с неизменной улыбкой выходит ей навстречу из зеркальной глубины. Ей очень хочется обнять это существо, новую себя;

Кристина прижимается лбом к стеклу, зрачки в зрачки – живые в отраженные, вот-вот горячие губы коснутся в поцелуе холодного стекла, и ее "сестра" расплывется в затуманившемся от дыхания зеркале. продолжая чудесную игру в открытая, они делает новые движения, принимает новые позы, чтобы увидеть себя в новых преображениях. Тут снизу доносится третий удар гонга. Кристина вздрагивает: господи, ведь я заставляю тетю ждать, она уже наверняка сердится. Быстренько пальто – вечернее, легкое пестрое, опушенное дорогим мехом. Затем, прежде чем выключить свет, жадный прощальный взгляд в щедрое зеркало – последний, самый последний. снова сияют отраженные глаза, снова полно блаженства отраженное лицо! "Отлично, отлично", – улыбается ей зеркало. Чуть ли не бегом она устремляется по коридору к номеру тети, шелковое платье приятно обвеивает ее прохладой. Она летит, как не волне, словно подхваченная счастливым ветром; с детских лет она не ощущала себя такой легкой,

такой окрыленной; хмель преобразования начал действовать.

– Превосходно, сидит как влитое, – говорит тетя. – Да, что значит молодость, колдовства почти не требуется! Когда платье должно скрывать, вместо того чтобы показывать, только тогда портному приходится трудно. Нет, кроме шуток: сидит как влитое, тебя прямо не узнать, вот сейчас и видно, какая у тебя хорошая фигура. Только постарайся держать голову выше, легче, а то ты всегда – уж не обижайся на меня – ходишь как-то неуверенно, согнувшись, жмешься, словно кошка под дождем. Тебе надо учиться ходить по-американски: легко, свободно, лбом вперед, как корабль против ветра.

Господи, мне бы твои годы!

Кристина покраснела. Значит, она в самом деле не выглядит смешно, не похожа на деревенщину.

Тетя продолжает осмотр, ее придирчивый взгляд одобрительно скользит по всей фигуре.

– Замечательно! Только вот сюда, на шею, надо какое-нибудь украшение. – Она порылась в шкатулке. – На, надень этот жемчуг! Да не бойся, глупышка, он не настоящий. Настоящий остался там, в сейфе... зачем брать его в Европу для ваших карманников.

Знобко и чуждо жемчужины скользнули по обнаженной шее. Тетя отступает на шаг и, окинув взглядом "модель", заключает:

– Великолепно. Тебе идет все. Наряжать тебя должно быть для мужчины сплошным удовольствием. Ладно, пошли! За-

ставлять Энтони ждать больше нельзя.

Ну и разинет он рот!

Они вместе спускаются по лестнице. У Кристины странное ощущение: ей кажется, что в новом платье она выглядит обнаженной, и что она не идет, а парит – так ей легко, и что ступеньки будто сами, одна за другой, быстро всплывают ей навстречу. На второй лестничной площадке они сталкиваются с пожилым господином в смокинге, его гладкие седые волосы разделены кинжальным пробором. Почтительно поздоровавшись, он останавливается, чтобы пропустить дам, и во время этой мимолетной встречи Кристина чувствует на себе какой-то необычный взгляд, в котором и мужское восхищение, и чуть ли не благоговение.

Ее щеки запылали: впервые в жизни с ней здороваются знатный человек, да еще с таким уважением и признанием ее достоинства.

– Генерал Элкинс, ты, наверное, слышала это имя в войну, председатель Географического общества в Лондоне, – поясняет тетя. – Знаменитый человек, в мирное время путешествовал по Тибету, сделала там большие открытия, я познакомлю тебя с ним, это высший класс, принят при дворе.

Кристина радостно вспыхивает. Такой благородный человек, объездивший полмира, и сразу увидел в ней не безбилетную зрительницу, переодевшуюся знатной дамой и достойную презрения, нет, он поклонился ей как аристократке, как женщине своего круга. Только теперь она почувствовала

себя равноправной.

И тут же новое подтверждение. Не успевают они подойти к столу, как дядя с изумлением восклицает:

– О, вот это сюрприз. Нет, это же надо, как ты принарядилась! Чертовски здорово, о, пардон, я хотел сказать: ты замечательно выглядишь.

Снова Кристину пронизывает теплая дрожь, и она, покраснев от удовольствия, пробует отшутиться:

– Дядя, ты, я вижу, собираешься одарить меня и комплиментами?

– Еще как! – смеется тот и неожиданно для самого себя приосанивается.

Сморщенная на груди рубашка расправляется, дядюшкиной флегматичности как не бывало, его глазки с красноватыми веками, утонувшие в жирных щеках, загораются любопытством, в них даже чуть ли не мелькают искорки желания. Он испытывает явное удовольствие при виде внезапно похорошевшей девушки и становится необычно оживленным и разговорчивым, рассыпаясь в восторженных комплиментах ее внешности и показывая себя знатоком предмета, он проявляет несколько повышенный интерес к деталям, так что тетя вынуждена прервать его.

– Не кружи девчонке голову, – смеется она, – молодые делают это лучше тебя и тактичнее.

Тем временем приблизились официанты; словно причетники у алтаря, они почтительно стоят возле стола в ожида-

нии знака. Странно, почему я их так боялась днем, думает Кристина, это скромные, вежливые и удивительно тихие люди, которым, кажется, только и надо, чтобы их совсем не замечали. Теперь она ест не стесняясь, робость пропала, после долгой дороги голод дает о себе знать. Немыслимо вкусны маленькие пирожки с трюфелям, и жаркое, окруженное грядками овощей, и пенистый мусс, и нежное желе, которые всякий раз заботливо подают ей на тарелку серебряной лопаточкой; ей не надо ни о чем беспокоиться, ни о чем думать, и, собственно, она уже ничему не удивляется.

Здесь вообще все удивительно, и самое удивительное, что она вправе здесь находиться, здесь, в этом сверкающем зале, где полно народу и все же нет шума, где такие нарядные и, наверное, очень знатные люди, она, которая... нет, нет, не думать об этом, не думать, забыть, пока она здесь... Но больше всего ей по вкусу вино. Должно быть, его делают из золотистых, благословленных южным солнцем ягод в дальних, счастливых и добрых странах; янтарем светится оно в тонком хрустальном бокале и каким нежным, прохладно-скользящим шариком должно перекатываться во рту? В раздумье Кристина сначала отваживается на робкий глоток, но дядя, воодушевленный радостным видом племянницы, провозглашает новые и новые приветственные тосты, и она, поддавшись соблазну, осушает бокал за бокалом.

И независимо от ее воли и сознания язычок ее начал болтать. Тут же, словно пенистая струя шампанского из отку-

поренной бутылки, брызнул легкий, игривый смех; она сама поражена, как беззаботно и весело то заливается смехом, то болтает, в ней будто разжались тиски страха, сжимавшие сердце. Да и к чему здесь страх? Ведь они такие добрые, теть с дядей, и эти нарядные, элегантные люди вокруг все такие учтивые, хорошие, какой чудесный мир, как прекрасна жизнь.

Дядя с бодрым видом привольно восседает напротив; развеселившаяся племянница чертовски забавляет его... Эх, вернуть бы молодые годы, мечтает он, и обнять такую вот задорную бесовку, да покрепче. Он чувствует себя в приподнятом настроении, освеженным, воодушевленным, чуть ли не удалым молодцом; обыкновенно флегматичный и ворчливый, он, потрянув стариной, вспоминает всевозможные шутки и смешные истории, порой даже пикантные; ему инстинктивно хочется разжечь огонь, возле которого так приятно погреть старые кости. Он, как кот, урчит от удовольствия, в пиджаке жарко, лицо подозрительно покраснелось, он вдруг сделался похожим на Бобового короля на картине Йорданса, с пунцовыми от наслаждения и вина щеками. Снова и снова он пьет за племянницу и уже собирается заказать шампанское, о тут смеющийся страж, тетя, останавливает его руку и напоминает о предписании врача.

Тем временем в соседнем зале поднялся ритмичный шум: зазвенела, загудела, забарабанила и заквакала, словно взбесившиеся органные мехи, танцевальная музыка. Мистер Эн-

тони, положив свой бразильский "початок" в пепельницу, подмигивает:

– Ну? По глазам вижу – плясать хочется.

– Только с тобой, дядя! – задорно отвечает плутовка (господи, уж не захмелела ли я?). И опять хохочет; в горле у нее застряла какая-то смешинка, которая при каждом слове побуждает заливаться веселой звонкой трелью.

– Не зарекайся! – ворчит дядя. – Здесь есть чертовски крепкие ребята, такие, то трое, вместе взятые, моложе меня и танцуют в семь раз лучше, чем я, старая перечница. Ну ладно, на твою ответственность: ели не робеешь, давай пошли.

Со старомодной галантностью он предлагает ей руку, Кристина берет кавалера под локоть и, хохоча, болтая, изгибаясь от смеха, шествует рядом; за ними, подтрунивая, следует тетя, музыка гремит, зал полон света и красок, люди вокруг смотрят приветливо, с любопытством, официанты спешно отодвигают какой-то столик, все здесь мило, весело, радушно, и не надо особой смелости, чтобы кинуться в пестрый водоворот. Дядя Энтони в самом деле не мастер танцевать, под жилетом при каждом шаге колышется солидное брюшко, и ведет партнершу седовласый дородный господин нерешительно и неуклюже. Вместо него зато ведет музыка – дробная, с резкими синкопами, зажигательная, вихревая, сатанинская музыка. Каждый удар тарелок пробирает до костей, но зато как чудесно размягчают суставы тут же вступающие скрипки; у четко отбиваемого ритма мертвая хватка, он

встрахивает, разминает, топчет и порабощает.

Чертовски хорошо играют они, да и сами напоминают бесов, эти смуглые аргентинцы в коричневых с золотыми пуговицами курточках – ливрейные бесы, посаженные на цепь, и все вместе, и каждый: вот тот, худой, сверкающий очками, так усердно клохчет, икает и булькает на своем саксофоне, будто хочет насосаться из него допьяна, а курчавый толстяк левее, пожалуй, еще фанатичнее рубит, словно наобум, по клавишам с хорошо отрепетированным восторгом, в то время как его сосед, оскалив рот до ушей, с непостижимой свирепостью избивает литавру, тарелки и что-то еще. Они, как ужаленные, беспрестанно ерзают и дергаются на табуретках, будто их трясет электрическим током, с обезьяньими ужимками и нарочитой яростью они истязают свои инструменты. Однако адская громыхальня работает, как точнейшая машина; это утрированное подражание неграм, жесты, ухмылки, визги, ухватки, хлесткие выкрики и шутки, – все до мельчайших деталей разучено по нотам и отрепетировано перед зеркалом, наигранная ярость исполнена безупречно.

Кажется, длинноногие, узкобедрые, бледно-напудренные женщины тоже понимают это, так как их явно не возбуждает и не захватывает эта притворная пылкость, повторяющаяся ежевечерне. С накрепко приклеенной улыбкой и беспокойными красными коготками, они непринужденно чувствуют себя в руках партнеров; равнодушно глядя прямо перед собой, они, кажется, думают о чем-то ином, а возможно, и ни о

чем. И лишь она одна, посторонняя, новенькая, изумленная, вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать своего возбуждения, гасить свой взгляд, ибо кровь все больше и больше волнуется от коварно щекочущей, дерзко захватывающей, цинично страстной музыки. И когда взвинченный ритм резко обрывается, сменившись оглушительной тишиной, Кристина облеченно вздыхает, словно избежала опасности.

Дядя тяжело отдувается, наконец-то можно вытереть пот со лба и отдышаться. гордый собой, она торжественно ведет Кристину обратно к столику, где их ждет сюрприз: тетя заказала для обоих охлажденный на льду шербет. Еще минуту назад у Кристины мелькнула мысль – не желание, а только мысль: хорошо бы сейчас глотнуть чего-нибудь холодного, смочить голо и остудить кровь, и вот – она не успела даже попросить об этом, как им уже подали запотевшие серебряные чашки; сказочный мир, где любое желание исполняется прежде, чем его выскажешь; ну как тут не быть счастливой!

Она с наслаждением всасывает жгуче-холодный, нежно-пряный шербет, словно впитывает в себя через токую соломинку все соки и всю сладость жизнь.

Сердце ее бьется радостными толчками, руки жаждут кого-нибудь приласкать, глаза невольно блуждают вокруг, стремясь поделиться хоть частичкой горячей благодарности, переполняющей душу. Тут ее взгляд падает на дядю; добрый старик сидит, откинувшись, на мягком стуле, он все еще не пришел в себя, никак не отдышится, то и дело вытирает плат-

ком бисеринки пота. Он так отчаянно старался доставить ей радость, старался, пожалуй, свыше своих сил;

Кристина признательно и ласково – она просто не может иначе – проглаживает его тяжелую, твердую, морщинистую руку, лежащую на спинке стула. Дядя сразу же улыбается и опять принимает бодрый вид. Ему понятно, что означает этот порывистый жест молодого, робкого, только начавшего пробуждаться существа; с отеческим добродушием он испытывает удовольствие, видя ее благодарный взгляд. Но все-таки несправедливо не поблагодарить также тетю, а не его одного, ведь именно тете, ее ласковому покровительству, Кристина обязана всем: и тем, что она здесь, и шикарными рядами, и блаженным чувством уверенности в этой роскошной дурманящей среде. И Кристина, взяв за руки обои, сияющими глазами смотрит в сверкающий зал, как ребенок у рождественской елки.

Но вот снова звучит музыка, теперь она глуше, нежнее, мягче, словно тянется шлейф из черного блестящего шелка, – танго. Дядя делает беспомощное лицо, он вынужден извиниться, но его шестидесятисемилетние ноги не выдержат этот извивающегося танца.

– Ну что вы, дядя, мне в тысячу раз приятнее посидеть с вами, – говорит она совершенно искренне, продолжая ласково держать руки обоих.

Ей так хорошо в этом тесном кругу родных сердец, под защитой которых она чувствует себя в полной безопасности.

Но тут она замечает, что, затенив стол, ей кто-то кланяется: высокий, широкоплечий блондин, гладко выбритое, загорелое, мужественное лицо над белоснежной кольчугой смокинга. Щелкнув на прусский манер каблуками, он учтиво обращается на чистейшем северогерманском к тете за позволением.

– Охотно разрешаю, – улыбается тетя, гордая столь быстрым успехом своей протее.

Смутившись, Кристина с легкой дрожью в коленях поднимается. То, что из множества красивых нарядных женщин этот элегантный незнакомец выбрал ее, застало ее врасплох, словно внезапный удар молоточка по сердцу. Она глубоко вздыхает и кладет дрожащую руку на плечо знатного господина. С первого же шага она чувствует, как легко и вместе с тем властно ведет ее этот безупречный партнер. Надо лишь податливо уступать едва ощутимому нажиму, и ее тело гибко вторит его движениям, надо лишь послушно отдаваться знойному, манящему ритму, и нога сама, словно по волшебству, делает правильный шаг. так она никогда не танцевала, и ей самой удивительно, как это у нее легко получается. будто ее тело вдруг сделалось каким-то другим под этим другим платьем, будто она научилась этим льнущим движениям в каком-то забытом сне – с такой совершенной легкостью подчиняется она чужой воле. Упоительная уверенность внезапно овладевает ею; голова запрокинута, словно опирается на невидимую воздушную подушку, глаза полузакрыты, гру-

ди нежно колышутся под шелком; полностью отрешенная, не принадлежащая более самой себе, Кристина с изумлением чувствует, будто у нее появились крылья и она похает по залу.

Время от времени, когда она, отвлекшись от этого ощущения невесомости и как бы вынырнув из подхватившей ее волны, поднимает взгляд к близкому чужому лицу, ей кажется, что в его суровых зрачках мелькает довольная одобрительная улыбка, и тогда ее пальцы еще доверчивеежимают чужую руку. Где-то в глубине ее существа зашевелилась смутная, почти сладострастная тревога: что, если этот незнакомец с высокомерным, жестким лицом внезапно рванет ее к себе и заключит в объятия, будет ли она в силах оказать сопротивление? А может, уступит и прильнет покорно, как вот сейчас – в танце? И независимо от ее воли то полусознательное сладостное ощущение расслабляюще растекается по рукам и ногам. Кое-кто из сидящих вокруг уже обращает внимание на эту идеальную пару, и Кристину снова охватывает восторженное чувство – ведь на нее устремлены восхищенные взгляды. Все увереннее и гибче танцует она, чутко внимая воле партнера. Их дыхание и движения сливаются воедино, она впервые испытывает чисто физическое удовольствие оттого, что так ловко владеет своим телом.

После танца партнер – он представился инженером из Гладбаха – учтиво провожает ее к столику. Едва он отпускает ее руку, тепло недолгого прикосновения улетучивается, и

Кристина почему-то сразу чувствует себя слабее и неувереннее, словно разомкнувшийся контакт отключил приток новой силы, наполнявшей ее до этого. Так и не разобравшись в своих ощущениях, она садится и смотрит на радостного дядю с чуть усталой, но счастливой улыбкой; в первые мгновения она даже не замечает, что за столиком появился третий человек: генерал Элкинс. Вот он встает и почтительно кланяется ей. Он, собственно, пришел, чтобы просить представить его этой *charming girl*¹⁰.

Генерал стоит перед ней подтянутый, серьезный, склонив голову, словно перед знатной дамой, – Кристина, оробев, пытается овладеть собой. Господи, ну о чем говорить с таким жутко важным и знаменитым человеком, чье фото, как рассказывала тетя, было во всех газетах и которого даже показывали в кино?

Однако генерал Элкинс сам выручает ее, извиняясь за свое слабое знание немецкого языка. Правда, он учился в Гейдельберге, но, как ему ни грустно признаться в подобных цифрах, это было более сорока лет назад, и пусть уж такая замечательная танцовка проявит к нему снисхождение, если он позволит себе пригласить ее на следующий танец, – в бедре у него торчит осколок снаряда, еще с Ипра, – но, в конце концов, в этом мире можно ладить, только будучи снисходительным.

От смущения Кристина утратила дар речи, лишь через

¹⁰ Очаровательной девушке (англ.).

некоторое время, когда начала медленно и осторожно танцевать, она сама удивилась тому, как непринужденно вдруг завязала разговор. Что это со мной, взволнованно думает она, я это или не я? Почему вдруг все получается так легко, свободно, а раньше – еще учитель танцев говорил – была неуклюжая, точно деревянная, но теперь же скорее я его веду, чем он меня. да и разговор идет сам собой, может, я не такая уж дура, ведь как любезно он меня слушает, а человек-то знаменитый. Неужели я так переменялась оттого, что на мне другое платье, что здесь другая обстановка, или все это уже во мне сидел, только я вела себя чересчур боязливо, робко? Мать всегда мне об этом говорила. А может, ничуть и не трудно быть такой, может, и жизнь гораздо легче, чем я думала, надо лишь набраться смелости, ощущать только себя, и ничего другого, тогда и силы придут, словно с неба.

После танца генерал Элкинс степенным шагом прохаживается с ней по залу.

Кристина гордо шествует, опираясь на его руку, уверенно глядя перед собой и ощущая, что и осанка у нее становится величественной, и сама она делается моложе и красивее. Кристина откровенно признается генералу, что она здесь впервые и совсем еще не видела Энгадина, Малои, Зильс-Марии; кажется, это признание не разочаровывает генерала, а скорее радует: не согласится ли она в таком случае поехать с ним завтра утром в Малою – на его автомобиле.

– О, с удовольствием! – выдыхает она, оробев от нежиз-

данного счастья и внимания, и благодарно, чуть ли не по-приятельски – откуда вдруг взялась смелость? – пожимает знатному господину руку. Кристина чувствует, что больше и больше осваивается в этом зале, который еще утром казался ей таким враждебным, все просто наперебой стараются доставить ей радость; она также замечает, что временно собравшиеся здесь люди ведут себя как на дружеской встрече, полной взаимного доверия, чего она не видела там, в своем узком мирке, где каждый завидует маслу на чужом куске хлеба или кольцу на руке. С восторгом она сообщает дяде и тете о любезном приглашении генерала, однако на разговоры ей времени не дают. Через весь зал к не спешит тот инженер-немец и снова зовет танцевать; он знакомит ее затем с каким-то врачом-французом, дядя – со своим приятелем-американцем, ей представляют еще нескольких лиц, фамилий которых она от волнения не разобрала: за десять лет она не видела вокруг себя столько элегантных, вежливых, доброжелательных людей, сколько за эти два часа. Ее зовут танцевать, предлагают сигареты и ликер, приглашают на вылазки в горы и поездки по окрестностям, каждому, видимо, не терпится познакомиться с ней, и каждый очаровывает ее своей любезностью, которая здесь, судя по всему, сама собой разумеется.

– Ты произвела фурор, детка, – шепчет ей тетя, гордясь суматохой, которую вызвала ее протее, и лишь с трудом подавленный зевок дяди напоминает обеим, что пожилой че-

ловек уже утомился. Он, правда, бодрится, отрицая явные признаки усталости, но в конце концов уступает.

– Да, нам лучше, пожалуй, как следует отдохнуть. Не все сразу, понемножку. Завтра тоже будет день, и we will, make a good job of it¹¹.

Кристина оглядывает напоследок волшебный зал, освещенный канделябрами со свечеобразными лампами, дрожащий от музыки и движений; она чувствует себя обновленной и освеженной, как после купания, и каждая жилка в ней радостно пульсирует. Она берет усталого дядю под локоть и вдруг, повинувшись неожиданному порыву, наклоняется и целует морщинистую руку.

И вот она у себя в комнате, одна, взбудораженная, смущенная и сбитая с толку внезапно обступившей ее тишиной: сейчас только она ощутила, как горит кожа под платьем. Закрытое помещение слишком тесно для нее, разгоряченной и возбужденной. Толчок, дверь на балкон распахивается, и хлынувшая волна снежной прохлады остужает обнаженные плечи. Дыхание успокаивается, становится ровным. Кристина выходит на балкон и блаженно замирает, теплый живой комочек перед невероятной пустотой простора, брэнное сердце, маленькое, затерянное, бьется под гигантским ночным небосводом. Здесь тоже тишина, но неизмеримо более могучая, первозданная, нежели та, что в рукотвор-

¹¹ Мы придумаем что-нибудь занятное (англ.).

ных четырех стенах, она не подавляет, а несет покой и умиротворение.

Еще недавно алевшие горы безмолвно скрываются в собственной тени, будто притаившиеся огромные черные кошки с фосфоресцирующими снежными глазами, и совершенно недвижим воздух в опаловом свете почти полной луны. Смятой желтой жемчужиной плывет она среди алмазной россыпи звезд, в ее бледном холодном свете лишь смутно проступают под вуалью облаков очертания долины. Никогда еще Кристина не видела ничего столь могущественного, исподволь захватывающего до глубины души, как этот замерший в безмолвии пейзаж; все ее возбуждение незаметно уходит в эту бездонную тишину, и Кристина страстно вслушивается, вслушивается и вслушивается в нее, чтобы полностью в ней раствориться. Как вдруг, словно откуда-то из вселенной, в застывший воздух влетает бронзовый метеор – внизу в долине раздается гулкий удар церковных часов, а скалистые кручи слева и справа, очнувшись, бросают звенящий мяч обратно. Кристина испуганно вздрагивает. Еще раз по туманному морю прокатывается бронзовый звон, еще и еще. Затаив дыхание, она считает удары: девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Полночь! Неужели? Только полночь?

Стало быть, всего двенадцать часов, как она сюда приехала, робкая, смущенная, растерянная, жалкое и убогое существо, неужели только один день, да нет – полдня? И вот сейчас, после всего, что ее изумило и потрясло, она впервые

задумывается о том, из какой же непостижимо тонкой и гибкой материи соткана наша душа, если уже одно-единственное переживание может расширить ее до бесконечности и она способна объять в своем крохотном пространстве целое мироздание.

Даже сон в этом новом мире какой-то другой – непробудный, одуряющий, как наркоз, не сон, а полное забытие. Утром Кристина долго не может очнуться, никогда еще ее сознание не погружалось в такие недра забытия, и она вытаскивает его оттуда медленно, с трудом, частицу за частицей. Прежде всего – неясное чувство времени. Сквозь закрытые веки брезжит свет: значит, в комнате светло, уже день. И мгновенно за неясное ощущение времени цепляется страх (он не покидает ее и во сне): только бы не проспять! Только бы не опоздать на работу! В подсознании автоматически разматывается ставшая привычной за десять лет цепочка мыслей: сейчас затрещит будильник... только бы опять не заснуть... надо встать, встать, встать... Быстро, к восьми на работу, надо еще затопить плиту, сварить кофе, сходить за молоком, за булочками, прибраться, сменить матери повязку, что-то приготовить на обед, что еще?.. Что-то еще надо сегодня сделать?.. Да, заплатить лавочнице, она вчера напоминала... Только бы не заснуть, сразу встать, как зазвенит... Но что же он сегодня... почему так долго молчит?.. может, испортился, или забыла завести... почему не трезвонит, ведь уже светло... Господи, неужели проспала, сколько же сейчас:

семь, восемь или девять?.. Может, люди уже собрались у почты и ругаются, как в тот раз, когда мне нездоровилось, хотели в дирекцию жаловаться... а ведь теперь столько служащих сокращают... Не дай бог проспать... Въевшийся за многие годы страх опоздать на службу, словно крот, подрывает под земье сознания и так мучительно терзает его, что последняя тонкая оболочка сна рвется, и Кристина открывает глаза.

Ее взгляд испуганно блуждает по потолку: где, где это я?.. Что... что случилось со мной?.. Вместо привычной, закоптелой, путинно-серой мансардной крыши с коричневыми балками над ней белоснежный потолок, мягко обрамленный золоченым багетом. И откуда вдруг столько света в комнате? Будто за ночь прорубили еще одно окно. Где я? Где? Кристина переводит растерянный взгляд на свои руки. Но они лежат не как обычно, на старом, заштопанном коричневом одеяле из верблюжьей шерсти, одеяло вдруг тоже стало новым – легким, пушистым, синим, с вышитыми красноватыми цветами. Нет – первое движение: это не моя кровать! Нет – второе движение, Кристина приподнялась: это не моя комната, и – третье, резкое движение, полностью осмыслены взгляд, и она вспомнила все: отпуск, свобода, Швейцария, тетя, дядя, роскошный отель! ни страха, ни обязанностей, ни службы, ни будильника, ни времени! Никакой плиты, никого не надо бояться, никто не ждет, никто не торопит: жестокие жернова, которые десять лет перемалывают ее жизнь, впервые остановились.

Здесь можно (какая чудесная, мягкая, теплая постель!) еще полежать, не спеша на встречу с дневным светом, ожидающим за складчатыми гардинами, наслаждаясь покоем души и тела. Можно беззаботно снова закрыть глаза, помечтать, лениво потянуться, принадлежать по праву самой себе. Можно даже (она вспомнила, что говорила тетя) нажать на эту вот кнопку у изголовья, под которой изображен крохотный, будто на почтовой марке, официант; надо всего лишь протянуть руку, и – о чудо! – через две минуты в номер постучат, дверь откроется, и почтительно войдет официант, катя перед собой забавную коляску на резиновых колесиках (Кристина любовалась такой же у тети), и предложит – на выбор – кофе, чай или шоколад в красивой посуде и с белыми камчатными салфетками.

Завтрак появляется сам по себе, не надо молоть кофейные зерна, разжигать огонь в плите, ежась от холода в шлепанцах на босу ногу, нет, все доставляется готовым – с белыми булочками, золотистым медом и другими яствами вроде вчерашних, се, как на сказочной скатерти-самобранке, подано к постели, не надо никаких хлопот и стараний. Или можно нажать на другую кнопку, где на латунной табличке изображена горничная в белой наколке; тихо постучав, она впорхнет в комнату, в черном платье и ослепительном переднике, и спросит, что угодно сударыне: открыть ли ставни, отдернуть или задернуть гардины, приготовить ли ванну? Сто тысяч желаний можно иметь в этом волшебном мире, и все они

будут исполнены в мгновение ока. Здесь все можно захотеть и сделать, но тем не менее хотеть и делать отнюдь не обязательно.

Можно позвонить или не позвонить, можно вставать или не вставать, можно снова заснуть или просто лежать с открытыми или закрытыми глазами, отдавшись потоку ленивых, добрых мыслей. Или можно вообще не думать, просто блаженствовать, ощущая, что время принадлежит тебе, а не ты – времени. Ты не крутишься в мчащемся колесе часов и секунд, а скользишь вдоль времени, как в лодке по течению, убрав весла. И Кристина лежит, мечтая и наслаждаясь новым ощущением, и в ушах у нее приятный шум, будто далекий звон воскресных колоколов.

Нет – она энергично поднимается с подушек, – предаваться мечтам здесь некогда! Нельзя расточать это бесподобное время, где каждое мгновение одаряет тебя неожиданным удовольствием. Мечтать можно будет потом, дома, месяцы и годы ночи напролет на дряхлой, скрипучей деревянной кровати с жестким матрасом и за испачканным чернилами казенным столом, пока крестьяне в поле, а над головой неумолимо, вечно тикают стенные часы, словно по комнате педантично вышагивает постовой: там лучше грезить, чем бодрствовать; спать здесь, в этом божественном мире, – расточительство. Последнее усилие – и Кристина соскакивает с постели; пригоршня холодной воды на лоб, на шею – и она сразу взбодрилась; теперь быстро одеться – ах, какое же мягкое

это белье, как оно шелестит. Ее кожа со вчерашнего дня уже забыла это новое ощущение, и вот она опять наслаждается ласкающим прикосновением нежной материи. Но не стоит долго задерживаться из-за этих маленьких радостей, хватит медлить, быстрее, быстрее, прочь из комнаты, куда-нибудь, чтобы вволю размяться, надышаться, насмотреться, всем существом, всеми порами, каждой клеточкой еще сильнее почувствовать, как ты счастлива, свободна, что это жизнь, настоящая жизнь! Она торопливо натягивает свитер, нахлобучивает шапку и опрометью сбегает по лестнице.

Коридоры отеля еще сумеречны и пустынно в этот холодный утренний час, лишь внизу, в холле, служители, сняв куртки, чистят пылесосами ковровые дорожки; ночной портье сначала угрюмо и с удивлением оглядывает слишком раннюю гостью, потом сонным жестом приподнимает фуражку. Бедняга, значит, и тут нелегкая служба, канительная работа за гроши, и тут надо вставать и приходить вовремя!.. Ах, незачем об том думать, какое мне дело, ни о ком сейчас не хочу знать, хочу быть только наедине с самой собой, только с собой, вперед, на воздух! По ее векам, губам и щекам словно кто-то провел ледышкой, прогнав остатки сна. Черт возьми, ну и холодина здесь в горах, до костей пробирает, поживее надо шагать, разогреться, прямо по дороге, куда-нибудь она приведет, все равно куда, ведь здесь все ново и чудесно.

Стремительно шагая, Кристина только теперь замечает

неожиданное утреннее безлюдье. Толпа, наводнявшая вчера в полдень все дорожки, сейчас, в шесть утра, кажется, еще упакована в огромных каменных коробках отелей, даже ландшафт, смежив веки, скован каким-то хмурым магнетическим сном. В воздухе ни звука, угасла такая золотистая вчера луна, исчезли звезды, померкли краски, окутанные туманом скалистые кручи бедны и тусклы, как холодный металл. Только у самых вершин встревоженно толпятся густые облака; какая-то невидимая сила то растягивает их, то теребит, порой от плотной массы отделяется белое облако и большим комком ваты всплывает в прозрачную высь. И чем выше оно поднимается, тем сочнее окрашивает загадочный свет его зыбкие контуры, выделяя золотую кромку: приближается солнце, оно уже где-то за вершинами, его еще не видно, но в беспокойном дыхании атмосферы уже ощущается его живительное тепло. Итак, наверх, ему навстречу. Может, прямо вот по этой извилистой дорожке, посыпанной гравием, как в саду, подъем здесь, кажется, нетрудный; и в самом деле, идти можно, шагается легко; не привыкшая к такой ходьбе Кристина с радостным изумлением ощущает, как послушно пружинят ноги в коленях, как дорожка с плавными поворотами и легчайший воздух словно сами несут ее в гору. До чего же быстро от такого штурма разогреваешься. Она срывает с себя перчатки, свитер, шапку: хочется не только губами и легкими, но и кожей впитывать обжигающую свежесть. Чем быстрее она идет, тем увереннее и свободнее ста-

новится шаг. Однако не пора ли передохнуть – сердце гулко колотится в груди, в висках стучит, – и, остановившись, она секунду-другую с восторгом смотрит вниз: леса стряхивают туман со своих прядей, дороги белыми лентами рассекают пышную зелень, блестит кривая, как турецкая сабля, река, а напротив, меж зубцами вершин, наконец-то внезапно прорвался золотой поток утреннего солнца. Великолепно!

Кристина в восторге от зрелища, но азарт восхождения, охвативший ее, не терпит перерыва; вперед! – исступленно подгоняет барабан в груди, вперед! – исступленно подгоняет барабан в груди, вперед! – требуют набравшие темп мышцы, и, опьяненная порывом, она карабкается все дальше и дальше, не зная, сколько времени уже прошло, как высоко забралась, куда ведет тропа. Наконец, примерно через час, добравшись до смотровой площадки, где выступ горы закругляется наподобие рампы, она валится навзничь в траву: хватит! Хватит на сегодня. У нее кружится голова, подергиваются и пульсируют веки, жгуче саднит обветренная кожа, но странно: несмотря на все эти болезненные ощущения, несмотря на суматошную встряску, ей хорошо, она испытывает какое-то новое, неведомое удовольствие, как никогда, чувствует себя юной и полной жизни. Она даже не подозревала, что сердце может с такой силой проталкивать кровь по жилам, которые податливо пропускают ее буйно-веселый поток, никогда еще не ощущала так остро легкость и упругость своего тела, как именно в эти минуты, когда им овладела безмерно сладост-

ная хмельная усталость. Открытая горячему солнцу и порывам чистого горного ветра, овевающего ее со всех сторон, погружив пальцы в студенно-душистый альпийский мох, Кристина то созерцает облака в невообразимой лазури, то скользит взглядом по разворачивающейся внизу панораме; она лежит словно оглушенная, грезя и бодрствуя одновременно и наслаждаясь необычайным приливом душевных сил и стихийной мощью природы. Она лежит так час или два, пока солнце не начинает обжигать ей губы и щеки. Поднявшись, она поспешно набирает букет из еще скованных холодом веточек и цветов – можжевельник, шалфей, полынь, – между листьями которых шуршат кристаллики льда, и устремляется вниз. Сначала она идет, соблюдая осторожность, размеренным туристским шагом, однако сила инерции при спуске понуждает ноги бежать вприпрыжку, и Кристина отдается этому сладостно-жуткому притяжению глубина. Все резвее, все шаловливее, все отважнее скачет она с камня на камень; будто подхваченная ветром, с развевающимися волосами и разуваящейся юбкой, веселая, уверенная в себе, готовая петь от избытка счастья, она вихрем летит вниз по серпантину.

Перед отелем в назначенный час – девять утра – молодой инженер-немец, одетый по-спортивно для утренней партии в тени, ждет тренера. Сидеть на сырой скамейке еще холодно, ветер то и дело запускает свои острые ледяные когти под белую полотняную рубашку с открытым воротом; по-

этому он энергично шагает взад и вперед, вертя ракеткой, чтобы разогреть руки. Черт возьми, где же тренер, неужели проспал? Инженер нетерпеливо поглядывает по сторонам.

Случайно взглянув на горную дорожку, он замечает вверху нечто диковинное, нечто яркое, кружащееся, похожее издали на пестрого жучка, который странными прыжками несется вниз. Гм, что то? Жаль, нет бинокля. Но оно быстро приближается – яркое, пестрое, окрыленное. Сейчас разглядим. Инженер приставляет ладонь козырьком ко лбу: вниз по горной дорожке кто-то летит сломя голову, кажется женщина или молодая девушка; размахивает руками, волосы развеваются; поистине, ее будто ветром несет. Черт возьми, как неосторожно... да, а все-таки здорово это у нее получается, лихо. Инженер невольно делает шаг-другой навстречу, чтобы получше увидеть бегунью. Девушка напоминает богиню утренней зари: развевающиеся волосы и взмахи рук, как у менады, вся – смелость и порыв. Лицо еще нельзя рассмотреть – мешает скорость движения и восходящее солнце за ее спиной. Но ей все равно же не миновать теннисного корта, если она направляется в отель, здесь ее финиш.

Она все ближе и ближе, он уже слышит, как разлетаются мелкие камешки из-под ног, слышит ее шаги на последнем повороте, а вот и она сама.

Вбежав на площадку, Кристина резко останавливается, чтобы не налететь на человека, который нарочно встал на пути. От внезапной остановки волосы упали на лицо, юбка

облепила ноги. Испуганная, запыхавшаяся, она стоит перед ним почти вплотную. И вдруг раздражается смехом. Она узнала своего вчерашнего партнера по танцам.

– Ах, это вы, – облегченно вздыхает она. – Извините, я чуть было вас не сшибла.

Он молчит, глядя с удовольствием, даже с восхищением на девушку с обветренными щеками, вздымающейся от частого дыхания грудью, еще распаленную головокружительным спуском с горы. Отдающий должное спорту, он любит-ся этим воплощением молодости и энергии. Улыбнувшись, он наконец говорит:

– Здорово! Вот это темп. За вами не угонится ни один здешний проводник.

Но... – он опять смотрит на нее, пристально, одобряюще, с улыбкой, – если б у меня была такая же юная и стройная шея, я бы постарался как можно дольше не ломать ее; вы обращаетесь с собой чертовски неосторожно! Вам повезло, что это видел я, а не ваша тетя. но главное, такие экстравагантные утренние прогулки вы не должны совершать в одиночку. Если вам понадобится более или менее опытный провожатый, то нижеподписавшийся предлагает свои услуги.

Он снова пристально смотрит на нее, и она чувствует, что смущается под его неожиданным откровенно мужским взглядом. С таким страстным восхищением на нее не смотрел еще ни один мужчина, этот взгляд проникал до глубины души, оставляя какое-то новое, радостное беспокойство.

Чтобы скрыть смущение, она гордо показывает букет:

– Взгляните-ка на мою добычу! Нарвала совсем свежих, ну разве не чудо?

– Да, роскошные цветы, – отвечает он напряженным голосом и смотрит поверх букета ей в глаза.

Она все больше смущается от этого настойчивого, чуть ли не назойливого внимания.

– Простите, мне пора к завтраку, боюсь, я уже опоздала.

Поклонившись, инженер освобождает ей дорогу, но Кристина безошибочным женским инстинктом чувствует, что он смотрит ей вслед; ее тело невольно напряжинивается, шаг становится легким. Не только крепкий аромат горных цветов и пряный воздух будоражат кровь, но и заставшая ее врасплох встреча: она впервые осознала, что кому-то нравится, что она желанна.

И когда она, еще взволнованная, входит в гостиницу, воздух в холле кажется ей спертым, стены, потолок, одежда вдруг начинают давить на нее. В гардеробе она сбрасывает шапку, свитер, пояс – все, что стесняет, жмет ее, душит, она охотно сорвала бы сейчас с себя всю одежду. Сидящие за столиком пожилые супруги с изумлением взирают на свою племянницу, которая стремительно пересекает зал, щеки у нее пылают, ноздри трепещут, и вся она кажется более высокой, здоровой, ловкой, чем вчера. Она кладет перед тетей букет альпийской флоры, еще влажный от росы, усыпанный пестрыми блестками тающих ледяных кристалликов.

– Вот, нарвала для тебя, лазила на гору... не знаю, как она называется, сходила проста так... Ах, – Кристина глубоко вздыхает, – до чего же это чудесно.

Тетя любит ее.

– Ну, чертенок! Сразу из постели в горы, не позавтракав! Вот с кого пример брать, это получше всяких массажей. Энтони, ты только взгляни, ее просто не узнать. От одного воздуха какие щеки стали. Да ты вся пылаешь, дитя мое! Ну говори же, говори, где ты побывала.

И Кристина рассказывает, даже не замечая, как быстро, как жадно и неприлично много она при этом ест. Масленка, блюдечки с медом и джемом опустошаются на глазах; дядя, показывая на хлебницу, подмигивает улыбающемуся кельнеру, чтобы тот добавил вкусных хрустящих булочек. Но Кристина, увлеченная рассказом, совершенно не замечает, что оба посмеиваются над ее аппетитом, она лишь чувствует, как приятно горят щеки. Расслабившись, беззаботно откинувшись на спинку плетеного кресла, она жует, болтает, смеется, добродушные лица внимательных слушателей вдохновляют ее все больше и больше, пока наконец она внезапно не обрывает свой рассказ, широко раскинув руки:

– Ах, тетя, мне кажется, там я впервые узнала, что значит дышать.

За бурным началом следуют и другие события, столь же увлекательные и радостные. В десять часов – она еще сидит за столиком, в хлебнице ни одной булочки, горный аппетит

все почистил – является генерал Элкинс в спортивном костюме строго покроя и зовет ее на обещанную автопрогулку. Учтиво пропустив даму вперед, он сопровождает ее к своей машине – фешенебельная английская марка, сверкающий лак и никель; да и шофер под стать автомобилю – светлоглазый и тщательно выбритый, ну просто вылитый джентльмен. Генерал усаживает гостью, укутывает ей колени пледом, затем, еще раз почтительно сняв шляпу, занимает место рядом. От этих учтивых манер Кристина немного теряется, она чувствует себя обманщицей перед генералом с его подчеркнутой, почти смиренной вежливостью. Да кто ж я, думает она, что он со мной так обращается? Господи, если бы он знал, где я обычно торчу, пришпиленная к старому казенному стулу, и где должна заниматься постылой одуряющей работой!

Но вот нажата педаль, и нарастающая скорость прогоняет всякие воспоминания.

С ребяческой гордостью она замечает, как на узких улицах курорта, где мотор еще вынужден сдерживать всю силу, прохожие любят роскошной машиной, которая даже здесь выделяется своей маркой, как они почтительно и чуть завистливо поглядывают на нее, Кристину, полагая, что она владелица. Генерал Элкинс показывает ей окрестности и, будучи географом по образованию, невольно увлекается подробностями, как все специалисты, однако девушка слушает так прилежно, так внимательно, что это доставляет ему

явное удовольствие. Его несколько холодное, по-английски замкнутое лицо постепенно теплеет, а чуть суровые складки у тонкогубого рта смягчаются доброй улыбкой, когда он слышит ее непринужденные "ах" или "прелесть" и наблюдает, как она вертится, бросая восхищенные взоры направо и налево. Время от времени он с легкой грустью поглядывает сбоку на это оживленное лицо, и его сдержанность отступает перед бурными восторгами юности. Словно по ковру, мягко и бесшумно мчится, убыстряя ход, машина, ни единого хрипа, ни стука не слышится в ее металлической груди при малейшем напряжении на подъеме, гибко и послушно выписывает она самые лихие виражи; ускоренный темп замечаешь лишь по тому, как сильнее и сильнее свистит воздух, и к уверенному ощущению безопасности примешивается упоение скоростью. Все темнее становится долина, все суровее сдвигаются скалы. Наконец показывается просвет, и шофер тормозит.

– Перевал Малоя, – объявляет Элкинс и с неизменной учтивостью помогает ей выйти из машины.

Вид в глубине великолепен; причудливо петляя, дорога низвергается водопадом; чувствуется, горы здесь утомились, им не хватает сил громоздить новые вершины и ледники, и они устремляются вниз, в далекую необозримую долину.

– Там, на равнине, начинается Италия, – показывает Элкинс.

– Италия, – изумляется Кристина, – так близко, неужели

так близко?

В ее голосе звучит столько жадного любопытства, что Элкинс невольно спрашивает:

– А вы там не были?

– Нет, никогда!

И это "никогда" сказано с таким жаром и горечью, что в нем слышна вся затаенная тоска о несбыточном: я никогда, никогда ее не увижу. Она тут же спохватывается, что голосом выдала себя, что ее спутник может догадаться о ее сокровенных мыслях, о том, что она бедна, и неловко пытается перевести разговор, смущенно спросив:

– Вы, конечно, знаете Италию, генерал?

– Где меня только не носило. – Он серьезно, чуть грустно улыбается. – Я трижды объехал вокруг света, не забывайте, я – старый человек.

– Ну что вы! – испуганно протестует она. – Как вы можете говорить такое!

Испуг ее до того неподделен, протест до того искренен, что у шестидесятивосьмилетнего генерала неожиданно теплеют щеки. Такой пылкой, такой увлеченной он, вероятно, в другой раз ее не увидит и не услышит. Его голос невольно смягчается:

– У вас молодые глаза, мисс ван Боолен, поэтому вам все видится моложе, чем оно есть на самом деле. Возможно, вы правы. Надеюсь, я действительно еще не так стар и сед, как мои волосы. Чего бы я не отдал, чтобы еще раз увидеть Ита-

лию впервые.

Он снова смотрит на спутницу, в его взгляде вдруг проступает какая-то покорная робость, которую пожилые мужчины нередко испытывают перед молодыми девушками, как бы прося снисхождения за то, что сами уже не молоды. Кристина необычайно тронута этим взглядом. Она вдруг вспоминает своего отца, старого, согбенного, вспоминает, как любила иногда ласково погладить его седые волосы и как он, подняв голову, смотрел на нее добрыми благодарными глазами.

На обратном пути лорд Элкинс говорит мало, выглядит задумчивым и немного взволнованным. Когда они подъезжают к отелю, он с неожиданной для него живостью выскакивает из машины, чтобы опередить шофера и помочь выйти спутнице.

– Я очень признателен вам за чудесную прогулку, – говорит он, прежде чем она успевает открыть рот и поблагодарить его, – уже давно не получал такого удовольствия.

За столом Кристина с восторгом рассказывает тете, каким генерал Элкинс был добрым и любезным. Та участливо кивает:

– Хорошо, что ты его немножко рассеяла, он в жизни перенес много горя, жена у него умерла еще в молодости, когда он был с экспедицией в Тибете.

Четыре месяца он продолжал писать ей каждый день, так как весть о смерти еще не дошла к нему, и когда вернулся, то нашел кипу своих писем, нераспечатанных. А его един-

ственный сын погиб, немцы сбили его самолет под Суассоном, причем в тот же день, когда самого генерала ранило. Теперь он живет один в своем огромном замке возле Ноттингема. Понятно, что он почти непрерывно путешествует, стремится убежать от воспоминаний. Только не вздумай заговорить с ним о его семье – сразу прослезится.

Кристина с волнением слушает. Ей и в голову не приходило, что в этом блаженном мире тоже существуют беды (судя по собственной жизни, она полагала, что здесь все должны быть счастливы). Ей захотелось подойти сейчас к этому старому человеку, который с таким достоинством несет свое горе, и пожать ему руку. Она невольно смотрит в другой конец зала. Он сидит там, по-солдатски прямо, в полном одиночестве. Случайно взглянув в ее сторону, он встречается с ней глазами и чуть заметно кланяется. Она поражена его одиночеством в этом просторном, сверкающем светом и роскошью зале. В самом деле, она должна заботливо относиться к такому доброму человеку.

Но как мало остается времени, чтобы подумать о каждом в отдельности, оно слишком быстротечно здесь, слишком много неожиданного обрушивается на нее, увлекая веселым вихрем; нет такой минут, которая не одарила бы ее новой радостью. После обеда тетя с дядей уходят к себе в номер передохнуть, а Кристина располагается на террасе в одном из удобных мягких кресел, чтобы наконец спокойно посидеть и мысленно еще раз насладиться пережитым. Но едва она, об-

локотившись, начинает медленно, со сладостной мечтательностью перебирать картины насыщенного дня, как перед ней уже стоит вчерашний партнер по танцам, все примечающий инженер-немец, протягивает ей сильную руку – "Вставайте, вставайте!" – его друзья хотят познакомиться с ней. В нерешительности – она еще побаивается всего нового, однако страх прослыть неучливой перевешивает – Кристина уступает и направляется с ним к столу, за которым сидит оживленная компания молодых людей. К ужасу девушки, инженер представляет ее каждому как фройляйн фон Болен; фамилия дяди, произнесенная с немецким "фон" вместо голландского "ван", кажется, вызвала у всех особое уважение – Кристина замечает это по тому, как господа почтительно поднимаются – вероятно, звучание двух этих слов невольно вызывает в их памяти фамилию богатейшего семейства Германии – Крупп фон Болен.

Кристина чувствует, что краснее: боже мой, ну что он говорит?! Но у нее не хватает духу поправить его, нельзя же перед этими незнакомыми учтивыми людьми уличить одного из них во лжи и заявить: нет, нет, я не фон Болен, моя фамилия Хофленер. Так она с нечистой совестью и легкой дрожью в кончиках пальцев допускает непреднамеренный обман. Все эти молодые люди – веселая игривая девушка из Мангейма, врач из Вены, сын директора какого-то французского банка, немного шумный американец и еще несколько человек, фамилии которых она не разобрала, – явно заинте-

ресовались ею: каждый задает ей вопросы, и разговаривают, собственно, только с ней. В первые минуты Кристина смущена. Всякий раз когда кто-нибудь называет ее "фройляйн фон Боолен", она слегка вздрагивает, как от укола, но постепенно ей передается задор и общительность молодых людей, она рада быстро возникшему доверию и в конце концов втягивается в непринужденную болтовню; ведь все так сердечно относятся к ней, чего же бояться? Потом приходит тетя, радуется, видя, что ее подопечную хорошо приняли, добродушно улыбается, подмигивая племяннице, когда ту величают "фройляйн фон Боолен", и наконец уводит ее на прогулку, пока дядя, как обычно в послеобеденные часы, дуется в покер.

Неужели это действительно та самая улица, что и вчера, или же распахнувшаяся душа видит светлее и радостнее, чем стесненная? Во всяком случае, дорога, которой Кристина уже проходила, но как бы с шорами на глазах, кажется ей совсем новой, вид вокруг ярче и праздничнее, будто горы стали еще выше, малахитовая зелень лугов гуще и сочнее, воздух прозрачнее, чище, а люди красивее, их глаза светлее, приветливее и доверчивее. Все со вчерашнего дня утратило свою необычность, чуть горделиво оглядывает она массивные корпуса отелей, так как знает теперь, что лучший из них тот, в котором живут они, к витринам присматривается уже с некоторым понятием, изящные, надушенные женщины в автомобилях больше не кажутся ей столь неземными,

принадлежащими какой-то другой, высшей касте, после того как она сама проехала в роскошной машине. Больше она не ощущает себя чужеродной среди других и смело ступает легким, упругим шагом, невольно подражая беззаботной походке стройных спортсменов.

В кафе-кондитерской они делают привал, и тетя еще раз изумляется аппетиту Кристины. То ли это действие разреженного горного воздуха, то ли бурные эмоции – химическое горение тканей, после которого надо восстановить силы, так или иначе она шутя уплетает за чашкой какао три-четыре булочки с медом, а потом еще пирожные с кремом и шоколадные конфеты; ей кажется, что она могла бы вот так и дальше, без конца, есть, говорить, смотреть, наслаждаться, будто все-все, по чему она чудовищно изголодалась за долгие-долгие годы, нужно возместить, предаваясь именно этой грубой, плотоядной усаде. Временами она ощущает на себе мужские взгляды, которые скользят по ней приветливо и вопрошающе; она инстинктивно напрягает грудь, кокетливо откидывает голову, ее улыбающиеся губы с любопытством встречают из любопытство: кто вы, кому я нравлюсь, и кто же я сама?

В шесть часов, покончив с новыми покупками (тетя обнаружила, что племяннице не хватает всяких мелочей), они возвращаются в отель. Щедрая дарительница, которую все еще забавляет разительная перемена в состоянии ее подопечной, хлопает ее по руке.

– Вот теперь ты, пожалуй, сможешь избавить меня от одной тяжелой обязанности! не струсил?

Кристина смеется. Что здесь может быть тяжелого? Здесь, в этом благословенном мире, где все делается играючи.

– Не воображай, что это так просто! Тебе предстоит войти в логово льва и осторожно вытащить Энтони из-за карточного стола. Предупреждаю: осторожно, а то, когда ему мешают, он, бывает, рычит, и довольно сердито. Но уступать нельзя, врач велел, чтобы он принимал таблетки за час до еды, не позже, в конце концов, резаться в карты с четырех до шести в душевной комнате более чем достаточно. Значит, так: второй этаж, номер сто двенадцатый, это апартаменты мистера Форнемана, винный трест. Постучишь и скажешь Энтони, что пришла по моему поручению, он все поймет. Может, сначала и поворчит, хотя нет, на тебя не поворчит! Тебя он еще послушает.

Кристина берется за поручение без особого восторга. Если дядя любит играть в карты, почему именно она должна его беспокоить! Но возражать не осмеливается и, подойдя к нужному номеру, тихо стучит. Господа, сидящие за прямоугольным столом с зеленой скатертью, на которой виднеются странные квадраты и цифры, удивленно поднимают глаза: молодые девушки, видно, редко сюда вторгаются. Дядя, поначалу изумившись, смеется во весь рот:

– О, I see¹², тебя подослала Клер! Вот на что она тебя под-

¹² Я вижу

бывает!

Господа, это моя племянница! Жена велела ей сообщить, что пора кончать; предлагаю (он вынимает часы) еще ровно десять минут. Ты не возражаешь?

Кристина неуверенно улыбается.

– Ладно, на мой страх и риск, – важно заявляет Энтони, не желая ронять своего авторитета. – Молчи! Садись-ка сюда и принеси мне счастье, что-то не везет сегодня.

Кристина робко присаживается чуть позади него. Она ничего не понимает в том, что здесь происходит. Один из игроков держит в руке какую-то продолговатую штуку – не то лопатку, не то совок, – берет с нее карты и при этом что-то говорит; потом круглые целлулоидные фишки – белые, красные, зеленые, желтые – странствуют по столу туда-сюда, передвигаемые маленькими граблями. В общем, это скучно, думает Кристина, богатые, знатные господа играют на какие-то кругляшки. И все же она испытывает некоторую гордость оттого, что сидит здесь, в широкой тени дяди, рядом с людьми, несомненно, могущественными, это видно по их массивным перстням с бриллиантами, по золотым карандашам, по твердым чертам лица и энергичным движениям, да и по кулакам тоже – чувствуется, как такой кулак может грохнуть по столу, словно молот; Кристина почтительно оглядывает одного за другим, совершенно не обращая внимания на непонятную ей игру, и неожиданный вопрос дяди застает ее врасплох.

– Ну что, взять?

Кристина успела усвоить, что тот, которого называют банкометом, играет один против всех, стало быть, ведет крупную игру. Посоветовать дяде взять?

Охотнее всего она бы прошептала: "Нет, ради бога, нет!" – лишь бы не брать на себя ответственность. Но ей стыдно показаться трусихой, и она нерешительно лепечет:

– Да.

– Ладно, – смеется дядя. – Под твою ответственность. Выигрыш пополам.

Снова начинается перебрасывание карт, она ничего не понимает, но ей кажется, что дядя выигрывает. Его движения становятся живее, из горла вылетают какие-то странные булькающие звуки, он выглядит чертовски довольным. Наконец, передав дальше лопатку с картами, он поворачивается к ней:

– Ты поработала отлично. За это справедливо поделимся, вот твоя доля.

Из своей кучки фишек он отбирает две желтые, три красные и одну белую.

Смеясь, Кристина берет их без каких-либо размышлений.

– Еще пять минут, – предупреждает господин, перед которым лежат часы. – Вперед, вперед, без скидок на усталость.

Пять минут проходят быстро, все встают, собирают фишки, обменивают их.

Кристина, оставив свои кругляшки на столе, скромно

ждет у двери. Дядя у стола окликает ее:

– Ну а твои chips¹³?

Кристина подходит к нему в недоумении.

– Обменяй же их.

Кристина по-прежнему ничего не понимает. Тогда дядя подводит ее к господину, который, бегло взглянув на фишки, говорит: "Двести пятьдесят пять" – и кладет перед ней две стофранковые купюры, одну пятидесятифранковую и тяжелый серебряный талер. Девушка растерянно оглядывает чужие деньги на зеленом столе, потом с удивлением смотрит на дядю.

– Бери же, бери, – чуть ли не сердито говорит он, – ведь то твоя доля!

А теперь пошли, не то опоздаем.

Кристина испуганно зажимает в непослушных пальцах купюры и серебряную монету. Она все еще не верит. И, придя к себе в номер, снова и снова разглядывает как с неба свалившиеся радужные прямоугольные бумажки. Двести пятьдесят пять франков – это (она быстро пересчитывает) примерно триста пятьдесят шиллингов; четыре месяца, треть года, ей надо работать, чтобы набралась такая огромная сумма, каждый день торчать в конторе с восьми до двенадцати и с двух до шести, а здесь никакого труда, десять минут – и деньги в кармане. Неужели это правда, и справедливо ли? Непостижимо! Но банкноты действительно хрустят в ее ру-

¹³ Фишки (англ.).

ках, они настоящие и принадлежат ей, так сказал дядя, ей, ее новому "я", этому непонятному другому "я". Столько денег сразу в ее распоряжении еще не бывало. Чуть дрожа, со смешанным чувством – и боязно и приятно, – она прячет шуршащие бумажки в чемодан, словно краденные. Ибо совесть ее не может постигнуть того, что эта уйма сомнительных денег, тех самых денег, которые она дома с педантичной бережливостью откладывает по грошам, монетку за монеткой, достается здесь как бы дуновением ветерка. Страх, будто она совершила святотатство, тревожным ознобом пронизывает все ее существо до самых глубин подсознания, что-то в ней мучительно ищет объяснения, но времени на это нет, пора одеваться, выбрать платье, одно из трех роскошных, и снова туда, в зал, опьяняться новыми чувствами, переживаниями, с головой окунуться в жгуче-сладостный поток расточительства.

Бывает, что в фамилии заключена таинственная сила превращения; на первых порах она кажется случайной и не обязывающей, подобно кольцу, надетому на палец, но, прежде чем сознание обнаружит ее магическое действие, она врежется в кожу и срастается с духовной сущностью человека, влияя на его судьбу. Поначалу Кристина отзывается на свою новую фамилию со скрытым озорством ("Если бы вы знали, кто я! Нет, не узнаете!"). Она носит ее легкомысленно, как маску на карнавале. Но вскоре, забыв о неумышленном обмане, она как бы обманывает самое себя и становится той, за

кого ее принимают. Если в первый день она еще испытывала неловкость, прослав не по своей воле богачкой с аристократической фамилией, а на другой день это уже тешило ее самолюбие, то на третий и четвертый все воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Когда кто-то спросил, как ее имя, ей показалось, что Кристина (дома ее звали Кристль) не очень созвучно заимствованному титулу, и она не без нахальства ответила: "Кристиана". И вот отныне за всеми столиками, во всем отеле ее называют Кристианой фон Болен; так ее представляют, так с ней здороваются, она привыкла к новому имени и фамилии без сопротивления, как привыкла к светлой просторной комнате с полированной мебелью, к роскоши и легкой жизни в отеле, к вполне естественному наличию денег и ко всему, сложенному из разнообразных цветов, дурманящему букету соблазнов. Если бы сейчас кто-нибудь вдруг назвал ее "фройляйн Хофленер", она вздрогнула бы как сомнамбула и рухнула с вершины своей иллюзии, настолько она сжилась с новой фамилией и уверовала, что она теперь другая, уже не та, прежняя.

Но разве она действительно не стала другой за эти несколько дней, разве высокогорный воздух не очистил, а разнообразное и обильное питание не обогатило ее кровь новыми, здоровыми клетками? Бесспорно, Кристиана фон Болен выглядит иначе, она моложе, свежее, чем ее сестра Золушка, почтарка Хофленер, и вряд ли похожа теперь на нее. Бледная, почти пепельного оттенка кожа сделалась под

горным солнцем смуглой, посадка головы горделивой, в новых нарядах изменилась и походка, движения стали мягче и женственнее, шаг свободней, вся осанка исполнилась чувства собственного достоинства.

Постоянные прогулки на лоне природы поразительно освежили тело, танцы сделали его гибким, и вот открылся источник сил; внезапное пробуждение молодости, когда пылко бьется сердце, вздымается грудь, и в тебе все бродит, бурлит, пенится, и ты беспрестанно стремишься испытать себя, вкушая еще не изведенную, могучую радость жизни. Сидеть на месте, за покойным занятием Кристина уже не может, ей все время хочется куда-то выезжать, резвиться, она вихрем носится по комнатам, всегда чем-то увлеченная, подстегиваемая любопытством, то там, то здесь, то в дверь, то из дверей, то вниз, то наверх, и по лестнице она никогда не ходит шагом, а скачет через две ступеньки, словно боится что-то упустить, куда-то не поспеть. Ее руки все время жаждут к кому-то или к чему-то прикоснуться, так сильна в ней потребность поиграть, приласкать, поблагодарить: порой она даже одергивает себя, чтобы невзначай не вскрикнуть или не расхохотаться. И такая исходит от нее сила молодости, что как бы волнами передается окружающим, и любого, кто приблизится к ней, тут же затягивает в круговорот веселья и озорства. Там, где она, всегда смех и шум, там тотчас начинают подзадоривать друг друга, любой разговор сразу оживляется звонкими голосами; едва появляется она,

всегда задорная, с шуткой, всегда светящаяся счастьем, то не только дядя с тетей, но и совершенно незнакомые люди благосклонно поглядывают на ее безудержную веселость. В гостиничный холл она влетает словно камень, разбивший окно; позади еще крутится от сильного толчка вращающаяся дверь, маленького боя, который хотел ее придержать, Кристина хлопает по плечу перчаткой, в два приема срывает с себя шапку, стаскивает свитер, все жмет, стесняет ее стремительное движение. Потом беспечно останавливается перед зеркалом, поправляет платье, встряхивает взъерошенной гривой, все готово, и в еще довольно растрепанном виде, с пылающими от ветра щеками направляется к какому-нибудь столику – она уже со всеми перезнакомилась, – чтобы рассказывать. У нее всегда есть о чем рассказать, всегда у нее есть новое приключение, всегда все было замечательно, чудесно, неописуемо, всем она горячо восхищается, и даже самому постороннему слушателю ясно: человек не в силах вынести переполняющее его чувство благодарности, ели не поделится им с другими. Она не пройдет мимо собаки, не погладив ее, каждого малыша посадит себе на колени и приласкает, для любой горничной или официанта у нее найдется приветливое слово. Если кто-нибудь сидит хмурый или безучастный, она тут же растормошит его добродушной шуткой, она любит каждый платок, с восхищением разглядывает всякое кольцо, фотоаппарат и портсигар, смеется над любой остротой, все блюда находит превосходными, каждо-

го человека – хорошим, кукую угодно беседу – занимательной: все, все без исключения великолепно в этом высшем, в этом бесподобном свете. Никто не может устоять перед ее страстными порывами доброжелательства, каждый, общаясь с ней, невольно попадает в излучаемое ею силовое поле добра, даже у ворчливой тайной советницы, вечно спящей в кресле с подлокотниками, теплеют глаза, когда она наводит на Кристину лорнет; портье здоровается с ней особенно любезно, накрахмаленные официанты предупредительно подвигают ей стул, и, между прочим, пожилым, более строгим людям нравится столь сильное проявление радостной и впечатлительной натуры. Кто-то, конечно, покачивает головой по поводу ее наивных и экзальтированных выходов, но в целом Кристина встречает благожелательное отношение, и по прошествии трех-четырех дней все – от лорда Элкинса до последнего мальчика-лифтера – выносят единодушный приговор, что фройляйн фон Болен милейшее, обворожительное создание, "charming girl".

Всеобщую симпатию к себе она воспринимает как утверждение своего права быть и находиться здесь, среди этих людей, и чувствует себя от этого еще счастливее.

Личный интерес к ней и склонность к ухаживанию проявляет наиболее откровенно человек, от которого она менее всего смела ожидать такого поклонения, – генерал Элкинс. С нежной и трогательной неуверенностью мужчины, давно перешагнувшего критический полувековой возраст, он по-

стариковски робко все время ищет удобного случая побыть возле нее. Даже тетя замечает, что тон его костюмов стал светлее, моложе, а галстуки ярче, она полагает также (а может, и ошибается?), что седина на его висках, очевидно искусственным способом, исчезла. Под разными предлогами он часто подходит к их столику, ежедневно присылает обеим дамам в номер – чтобы не привлекать лишнего внимания – цветы, приносит Кристине книги на немецком, специально для нее купленные, главным образом о восхождении на Маттерхорн, потому лишь, что она как-то в разговоре спросила, кто первым покорил эту вершину, и об экспедиции Свена Гедина в Тибет. Однажды утром, когда из-за внезапного дождя отменились все прогулки, он уселся с Кристиной в углу холла и начал показывать ей фотографии своего дома, парка, собак. Причудливый высокий замок, пожалуй, еще норманнских времен. По стенам круглых боевых башен вьется плющ, внутри просторные залы с атлантами и старомодными каминами, семейные портреты в рамах, модели кораблей. Наверное, жить там зимой, одному, тоскливо, подумала она, и, словно угадав ее мысли, он говорит, показывая на снимок своры охотничьих псов:

– Если б не они, я бы совсем один остался.

Это первый намек на смерть жены и сына. Кристина чуть вздрагивает, заметив, как его взгляд застенчиво скользит по ее лицу (он тут же опять смотрит на фотографии). Зачем он все это мне показывает и почему так странно, словно боит-

ся, спрашивает, понравилось ли бы мне в таком вот английском доме, неужели он, богатый, знатный, хочет этим намекнуть... Нет, она даже не смеет додумать. Откуда ей, неопытной, знать, что этот лорд, этот генерал, который кажется ей почти небожителем, сейчас охвачен малодушием стареющего мужчины, не уверенного, можно ли ему на что-то еще рассчитывать, и боящегося показаться смешным в роли жениха, что он ждет хотя бы малейшего знака от нее, какого-нибудь ободряющего слова; но откуда ей понять, что происходит в его душе, когда она сама в себе толком не разобралась? Она воспринимает эти намеки как знак особой симпатии, со страхом и радостью одновременно, не решаясь в них поверить, а он между тем терзается, пытаясь правильно истолковать ее смущение и уклончивость. После каждой встречи с ним она чувствует себя весьма озадаченной, иной раз ей кажется, по выражению его робкого взгляда, что он действительно хочет просить ее руки, но тут же ее сбивает с толку его внезапно вернувшаяся холодность (ей и невдомек, что пожилой человек заставил себя сдержаться). Надо бы во всем разобраться: что он от меня хочет, возможно ли это? Надо бы все продумать и выяснить до конца.

Но когда, как? Когда здесь можно подумать, разобраться, ведь ей и времени на это не дадут. Стоит только появиться в холле, как ее тут же подхватывает кто-либо из их веселой банды и тащит куда-нибудь: на экскурсию, фотографироваться, играть, болтать, танцевать, то и дело раздается "ал-

ло! ау!", и пошло, и поехало. Целый день трещит и сверкает этот фейерверк праздной суеты, всегда находится какое-нибудь занятие – покурить, посмеяться, что-нибудь погрызть, посоревноваться в спорте, и она, не противясь, включается в круговерть, ели один из молодых людей крикнет:

"Фройляйн фон Болен!" – ну как ответишь "нет", все они такие милые, эти молодые, здоровые парни и девушки, ведь она прежде не знала такой молодежи, всегда беспечной, веселой, всегда красиво и по-новому одетой, всегда с шуткой на устах, с деньгами в кармане и с новой забавой в голове; стоит только им собраться, как граммофон зовет танцевать или машина уже стоит наготове и в нее набиваются по пять-шесть человек, да так, что не повернешься, ничего, все молодые, и мчатся шестьдесят, восемьдесят, сто километров в час. А то сидят, развалившись, закинув ногу на ногу, в баре, с сигаретой в зубах, потягивая коктейли, лениво переговариваясь, ничем себя не утруждая; каких только историй, забавных и щекотливых, тут не услышишь, все это так просто делается, так чудесно расслабляет, и Кристина, как бы обретя новое дыхание, наслаждается этой бодрящей атмосферой. Порой она ощущает внезапные, словно зарницы в крови, приливы тепла, особенно вечерами на танцах или кода в темноте молодой человек вдруг решительно обнимет ее; приятельские отношения в их среде не лишены ухаживания, только оно иное – более откровенное, смелое, плотское, такое ухаживание ее, непривычную, иной раз пугает; напри-

мер, когда в полумраке машины чья-нибудь твердая ладонь ласково погладит ее колено или когда на прогулке ее держат под руку нежнее, чем полагается. Однако другие девушки, американка и немка из Мангейма, относятся к этому терпимо и в крайнем случае лишь дружески шлепают по пальцам, когда те становятся слишком нахальными; да и зачем ломаться, ведь, в конце концов, и так, наверное, заметно, что инженер ведет себя с ней все настойчивее, а маленький американец деликатно пытается заманить ее на прогулку в лес. Она не уступает ни тому, ни другому, однако все же чуточку гордится новым, впервые испытанным чувством: что она желанна и ее теплое, обнаженное, нетронутое тело под одеждой – нечто, что мужчины хотят осязать, ощущать, чем жаждут насладиться. Сколько их, чарующе элегантных незнакомцев, возбужденным роем окружает ее, она чувствует все это как тонкий дурман из неведомых пьянящих эссенций, постоянно кружащий ее голову; очнувшись на мгновение, она с ужасом вопрошает себя: кто я? Да кто же я такая?

Кто же я такая? И что они во мне находят? – изо дня в день спрашивает она себя, все больше недоумевая. Каждый день ей оказывают новые и новые знаки внимания. Едва она просыпается, как горничная приносит цветы от лорда Элкинса. Вчера тетя подарила ей кожаную сумку и прелестные золотые часики, незнакомые силезские помещики, супруги Тренквиц, пригласили ее погостить к себе домой, маленький американец тайком положил ей в сумочку миниатюрную золо-

тую зажигалку, которой она так восхищалась. Немочка из Мангейма относится к ней нежнее родной сестры, вечерами она прибегает к Кристине в номер с шоколадными конфетами, и они болтают до полуночи. Инженер танцует почти всегда только с ней. Что ни день, людей вокруг нее прибавляется, и все так милы, сердечны, обходительны; ее нарасхват приглашают в машину, в бар, на танцы, ни на час, ни на минуту не оставляют одну. И опять она с недоумением спрашивает себя: кто же я такая? Годами люди проходили мимо меня по улице, и никто не обращал внимания на мое лицо, годами я сижу в деревне, и никто ничего не подарил мне и не заинтересовался мною. Может, это оттого, что все там бедны, может, люди от бедности такие усталые и недоверчивые, или во мне вдруг появилось что-то, что и прежде было, да только не показывалось?

Может, я действительно красивее, чем смела вообразить, и умнее, и симпатичнее и только не решалась поверить в это? Кто я, кто же я такая?

Она беспрестанно задает себе этот вопрос в те редкие мгновения, когда удастся побыть одной, и вот тут с ней происходит нечто странное, чего сама она понять не в силах: ее появившаяся было уверенность вновь сменяется неуверенностью. В первые дни она лишь удивлялась и поражалась тому, что все эти незнакомые люди, знатные, нарядные и обаятельные, принимают ее как свою.

Но теперь, почувствовав, что она особенно нравится, что

больше других, больше, чем эта рыжеволосая, сказочно одетая американка, больше, чем веселая, блистающая остроумием немочка из Мангейма, возбуждает любопытство, симпатию и пристальный интерес у мужчин, Кристина вновь ощущает тревогу. Что им от меня надо? – спрашивает она себя, все больше волнуясь в их присутствии. Странно: дома она не интересовалась мужчинами, во всяком случае, они никогда не вызывали у нее волнения. Ни разу не шевельнулась у нее какая-нибудь тайная мысль, не пробудились эмоции при виде неотесанных провинциалов с их ручищами, которые лишь после пива обретают иногда кое-какую ловкость, с их грубыми, вульгарными шутками и наглостью. Ничего, кроме физического отвращения, она не испытывала, когда какой-нибудь подвыпивший парень, встретив ее на улице, громко чмокал губами вслед или расточал ей слащавые комплименты на почте. Но вот молодые люди здесь, гладко выбритые, с маникюром, с изысканными манерами, они умеют так весело и непринужденно говорить о самых пикантных вещах, а их руки могут быть такими нежными даже при самом мимолетном прикосновении. Вот эти молодые люди порой вызывают у нее какое-то совсем иное волнение и интерес. Она даже замечает, что ее собственный смех вдруг звучит как-то иначе или она вдруг отодвигается в испуге. Как-то беспокойно чувствует она себя в этой только с виду дружеской, но на деле весьма небезопасной компании, а рядом с инженером, который столь явно и настойчиво ее домогается,

ее охватывает нечто вроде легкого, хотя и сладостного головокружения.

К счастью, Кристина редко остается с ним наедине, обычно здесь же находятся две-три женщины, и в их присутствии она чувствует себя увереннее.

Иногда, очутившись в затруднении, она краешком глаза подглядывает, как обороняются другие в подобной ситуации, и невольно учится у них всякого рода уловкам – притворно обидеться или, весело рассмеявшись, сделать вид, что не заметила слишком дерзкой вольности, – а главное, искусству вовремя уклониться, когда соседство становится опасным. Но даже без мужчин она теперь острее чувствует атмосферу, особенно когда болтает с Карло, немочкой из Мангейма, которая с совершенно непривычной для Кристины прямотой говорит на самые щекотливые темы. Студентка химического факультета, умная, с хитринкой, озорная, чувственная, однако умеющая овладеть собой в последний момент, видит своими пристальными черными глазами все, что происходит вокруг. От нее Кристина узнает о всех закулисных делишках в отеле: о том, что ярко покрашенная девица с вытравленными пергидролом волосами, оказывается, вовсе не дочь французского банкира, а его любовница, и хотя у них две комнаты, но вот ночью... Карла сама слышала, ее номер рядом... А у американки было на пароходе что-то со знаменитым немецким киноактером, там три американки заключили между собой пари, кто его подцепит... А вон тот май-

ор-немец – гомосексуалист, горничная кое-что слышала об этом от лифтера; будто рассуждая о вполне естественных вещах, без малейшего возмущения, девятнадцатилетняя студентка непринужденно выбалтывает двадцативосьмилетней всю скандальную хронику. Кристина, стесняясь удивляться, чтобы не выдать свою неопытность, слушает с любопытством и лишь искоса поглядывает на эту юную, очень живую девушку со смешанным чувством ужаса и восхищения. Ее худенькое тельце, думает Кристина, должно быть, испытало уже кое-что, чего я не знаю, иначе она не говорила бы так уверенно. И от невольных мыслей о всех этих вещах в нее опять вселяется тревога. Иногда у нее даже возникает ощущение, будто в ней открылись тысячи новых крохотных пор, через которые проникает тепло, так бывает с ней во время танцев – кожа горит и кружится голова. Что со мной? – спрашивает она себя, в ней пробудилось любопытство к себе, жажда узнать, кто она такая, и после открытия этого нового мира открыть самое себя.

Пролетают еще три, четыре дня, целая бурная неделя. В ресторане за обедом сидит облаченный в смокинг Энтони с женой и ворчит:

– Мне уже надоела ее неаккуратность. Ну, первый раз ладно, с каждым случается. Но шататься целыми днями и заставлять других ждать – это не воспитанность. Черт возьми, что она, собственно, о себе думает!

Клер успокаивает его:

– Господи, ну что ты хочешь, молодежь сейчас вся такая, ничего не поделаешь, послевоенное воспитание, только и знают гулять да развлекаться.

Энтони со злостью швыряет вилку на стол.

– К черту эти вечные развлечения. Я тоже был молод и тоже повесничал, но не позволял себе переходить рамки приличия, да и не мог позволить. Те два часа в день, когда твоя фройляйн племянница благоволит почтить нас своим присутствием, она обязана соблюдать пунктуальность. И еще попрошу об одном: растолкуй ей, наконец, вразумительно, чтобы она не таскала каждый вечер к нашему столу всю свою ораву; меня нисколько не интересует ни этот тупой немец с арестантской стрижкой и прусской картавостью, ни ироничный еврейчик с надеждами на служебную карьеру, ни эта девчонка из Мангейма, которая выглядит так, будто ее взяли напрокат в баре. Невозможно даже почитать газету, вечно вокруг шум и гам, ну какая я им, соплякам компания? Сегодня, во всяком случае, прошу оставить меня в покое, и если хоть один из их горластой банды сядет за мой стол, я пошибаю все рюмки.

Клер не возражает ему прямо, когда видит, что у него на лбу вдруг начинают пульсировать синие жилы; а злит ее, в сущности, то, что она вынуждена признать его правоту. Ведь вначале она сама же подталкивала Кристину в этот круговорот, ей доставляло удовольствие смотреть, как ловко примеряла наряды ее манекенщица, как преображалась в них, – это

смутно напоминало клер собственную молодость и восторг, какой она испытала, когда впервые, шикарно разодетая, отправилась со своим покровителем в ресторан Захера. Но, в самом деле, за последние два дня Кристина утратила всякое чувство меры: в своем упоении она помнит только себя и свое головокружительное блаженство, она, например, не замечает, что в вечерний час дядя начинает клевать носом, не замечает, даже когда тетя настойчиво повторяет: "Пойдем, уже поздно". Лишь на секунду угомонившись, она отвечает:

"Да, тетя, конечно, еще только один танец, я его обещала, только один". И уже в следующую секунду она все забыла, не заметила даже, что дяде надоело ждать и он встал из-за стола, не пожелав ей спокойной ночи, она и не подумала, что он может рассердиться; да и можно ли вообще сердиться и обижаться в этом чудесном мире! Для нее просто непостижимо, что не все шалят и резвятся, не все охвачены азартом веселья, не все пылают от восторга, когда у нее голова идет кругом. Впервые за свои двадцать восемь лет она открыла себя, и это открытие настолько опьянило ее, что она забыла о существовании других людей.

Вот и сейчас, в горячке, крутят волчком, она врывается в ресторан, бесцеремонно стаскивает на ходу перчатки (ну кому здесь может что-то не понравиться?), весело кричит двум молодым американцам "хэллоу" (кое-чему она выучилась), направляется через весь зал к тете и, нежно обняв ее сзади за плечи, целует в щеку. Лишь после этого восклицает с лег-

ким испугом:

– О, вы уже давно начали? Извините!.. Я же говорила им, Перси и Эдвину, что на их убогом "форде" за сорок минут до отеля не доехать, как ни пыхти! А они еще со мной спорили... Да, кельнер, подайте мне оба блюда сразу, чтоб я догнала... Значит, инженер сам был за рулем, он замечательно водит, но я-то заметила, что старая колымага больше восьмидесяти не выжимает, вот "роллс-ройс" лорда Элкинса совсем другое дело, а какие у него рессоры...

Впрочем, по правде говоря, я тоже виновата, потому что сама пробовала вести, чуточку, Эдвин, конечно, был рядом... это совсем легко... знаешь, дядя, когда научусь, я тебя первого повезу, не бойся, что с тобой, дядя? Ты ведь не сердись, что я чуть-чуть опоздала, нет?.. Клянусь, это не по моей вине, я же им сразу сказала, что за сорок минут не доехать... нет, полагаться можно только на себя... Пирожки – просто объеденье... Господи, как пить хочется!.. Ах, кто бы знал, до чего у вас хорошо. Завтра днем опять собираются, кажется до Ландека, но я сказала, что не поеду, надо же с вами погулять, в самом деле, никакого покоя нету...

Ее болтовня похожа на фейерверк. Лишь через некоторое время, вконец истощившись, Кристина замечает, что ее вдохновенный рассказ встречен упорным, холодным молчанием. Дядя неподвижным взглядом уставился на корзину с фруктами, будто апельсины интересуют его больше, чем ее болтовня, а тетя нервно поигрывает ножом и вилкой. Ни

один не произносит ни слова.

– Ты на меня не сердись, дядя? – спрашивает Кристина.

– Нет, – ворчит он, – только давай поторапливайся.

Это вырвалось у него с таким раздражением, что Кристина мгновенно притихла, как побитая собачонка. Она опустила глаза, разрезанное яблоко испуганно положила на тарелку, губы у нее задрожали. Тетя, сжалившись над ней, задает отвлекающий вопрос:

– А что слышно от Мэри? Дома все благополучно? Давно уже хотела тебя спросить.

Кристина бледнеет еще больше, ее охватывает дрожь. Господи, ведь она совсем забыла об этом! Уже целую неделю торчит здесь и даже не задумалась, что до сих пор не получила ни одного письма, то есть иногда мысль об этом мелькала, и она все собиралась написать, но опять закружилась, завертелась.

У нее сжалось сердце.

– Сама не понимаю, пока что из дому нет ни строчки. Может, письмо затерялось?

Теперь уже лицо тети строго вытягивается.

– Странно, – говорит она, – очень странно! Но может быть, это потому, что тебя здесь знают только как мисс ван Боулен и письма для Хофленер лежат у портье невостребованными? Ты у него спрашивала?

– Нет, – выдыхает Кристина в тихом отчаянии.

Она четко помнит, что раза три или четыре намеревалась спросить, но ее куда-то увлекали, и она опять забывала.

– Извини, тетя, минутку! – Она вскакивает из-за стола. – Сейчас узнаю.

Энтони опускает газету, он все слышал. И гневно смотрит ей вслед.

– Вот тебе пожалуйста! Мать тяжело больна, сама нам говорила, и даже не поинтересовалась только порхает целыми днями! Теперь ты видишь, что я прав.

– Просто не верится, – вздыхает тетя, – за восемь дней ни разу не справилась, и ведь знает, каково там дома. А вначале так тревожилась, со слезами на глазах рассказывала, как ей было страшно оставлять мать одну.

Просто невероятно, до чего она изменилась.

Тем временем Кристина вернулась. Уже иными, мелкими шажками, растерянная, сконфуженная, подошла к столу и, сжавшись, словно ожидая заслуженного удара, села в широкое кресло. Действительно, у портье лежали три письма и две открытки; каждый день Фуксталер с трогательной заботливостью сообщал подробные сведения, а она – боже, стыд-то какой! – лишь однажды наскоро черкнула карандашом одну-единственную открытку из Челерины. Ни разу она больше не взглянула на любовно начерченную, красиво заштрихованную карту, которую преподнес ей добрый, надежный друг, она вообще не вынимала его маленький подарок из чемодана; произвольно стремясь забыть свое прежнее "я",

она забыла все, что стояло за Кристиной Хофленер, – мать, сестру, друга.

– Ну что, – спрашивает тетя, увидев, что письма в дрожащей руке племянницы еще не вскрыты, – не собираешься их читать?

– Да, да, сейчас, – бормочет Кристина.

Она послушно разрывает конверты и, не посмотрев на число, пробегает глазами ровные, аккуратные строчки. "Сегодня, слава богу, немного лучше", – сообщает Фуксталер в одном письме, и в другом: "Поскольку я Вам клятвенно обещал, уважаемая фройляйн, достоверно писать о самочувствии Вашей почтенной матушки, должен, к сожалению, сообщить, что вчера мы были обеспокоены.

Волнение в связи с Вашим отъездом вызвало небезопасное возбужденное состояние..." Она лихорадочно листает дальше: "После инъекции наступило некоторое успокоение, и мы надеемся на лучшее, хотя опасность повторного приступа полностью не исключена".

– Ну, – спрашивает тетя, заметив волнение Кристины, – как себя чувствует Мэри?

– Хорошо, вполне хорошо, – говорит она, смутившись, то есть маме опять было неважно, но все прошло уже, она кланяется вам, а сестра целует вам руку и очень благодарит вас.

Но она сама не верит тому, что говорит. Почему мать не написала ни строчки своей рукой, думает она, может, послать телеграмму или попробовать дозвониться к нам на по-

что, сменщица наверняка все знает. Во всяком случае, надо сейчас же написать, господи, какой стыд. Она не осмеливается поднять голову, чтобы не встретиться взглядом с тетей.

– Да, тебе, пожалуй, надо написать им подробнее, – говорит тетя, словно угадав ее мысли. – И передай самый сердечный привет от нас обоих. Кстати, сегодня после ужина мы не останемся в холле, а сразу пойдем к себе. Энтони очень устает от этих ежевечерних сборищ. Вчера вообще не мог заснуть, а ведь, в конце концов, он приехал сюда отдыхать.

Почувствовав скрытый упрек, Кристина пугается. Она сконфуженно подходит к Энтони.

– Пожалуйста, дядя не обижайся на меня, я даже не подозревала, что тебя это утомляет.

Сердитый пожилой человек, смягчаясь от ее покорного тона, примирительно ворчит:

– А, чего там, мы, старики, всегда плохо спим. Разок-другой мне, конечно, интересно повеселиться с вами, но не каждый же день. Да ты теперь и без нас обходишься, тебе своей компании хватает.

– Нет, нет, я с вами.

Она провожает дядю к лифту, ведя его под руку так бережно и заботливо, что тетя постепенно оттаивает.

– Ты должна понять, Кристль, – говорит она в лифте, никто не собирается лишать тебя развлечений, но и тебе полезно хоть раз как следует выспаться, иначе переутомишься и весь твой отпуск пойдет насмарку. Передохни от своей ка-

русели, вреда не будет. Посиди спокойно в комнате, напиши письма.

Откровенно говоря, не годится, что ты всегда разъезжаешь одна с этими людьми, к тому же я не в восторге от твоих приятелей. Предпочла бы видеть тебя с генералом Элкинсом, чем с этим молодчиком бог весть откуда. Поверь, лучше тебе побыть сегодня дома.

– Хорошо, тетя, обещаю, – покорно соглашается Кристина, – Ты права, теперь сама вижу. Понимаешь, так получилось, что... не знаю почему... меня вдруг завертело, закружил, может, это от воздуха и прочего. Но я рада, что сегодня отдохну, спокойно разберусь во всем, напишу письма. Сейчас же иду к себе, обязательно. Спокойной ночи!

Тетя права, конечно, думает Кристина, отпирая дверь своего номера, она желает мне только добра. В самом деле, зря я так закрутилась, к чему эта спешка, ведь еще есть время, восемь-девять дней, пошлю, в конце концов, телеграмму, что заболела, и попрошу продлить отпуск, вряд ли откажут, я же еще ни разу не была в отпуске и ни одного рабочего дня не пропустила. В дирекции поверят, да и заместительница будет только рада. Какая здесь чудесная тишина в комнате, снизу ни звука не долетает, наконец-то можно опомниться, спокойно подумать. Да, надо же прочитать книги, которые

мне дал лорд Элкинс... нет, сначала письма, ведь я пришла ради них. Стыд какой, за неделю ни строчки, ни маме, ни сестре, ни доброму Фуксталеру, и заместительнице надо послать открытку с видом, так уж полагается, да и детям сестры обещала. И что-то обещала еще, но что... господи, совсем запуталась, что кому наобещала... ах да, инженеру, что завтра утром поедем вместе на прогулку. Нет, вдвоем с ним ни в коем случае, только не с ним, и потом, завтра я же должна быть с дядей и тетей, нет, с ним вдвоем больше не поеду... Тогда надо отменить, может, быстренько сбегать вниз и сказать ему, чтобы не ждал напрасно... Но я обещала тете, нет, не пойду... Можно, впрочем, позвонить портье, чтобы передал... да, лучше всего позвонить. Нет, не годится... Еще подумают, что я заболела или сижу под домашним арестом, и вся компания меня засмеет. Лучше черкну ему записку, ага, так лучше, а заодно отправлю письма, чтобы портье прямо утром сдал на почту... Черт... где же тут почтовая бумага?... Папка пустая, ничего себе, в таком роскошном отеле... Вообще-то позвоню горничной, она принесет... но можно ли вызывать ее в такой час, после девяти, кто знает, вдруг они уже спят, а я трезвоню из-за каких-то листков бумаги, даже смешно... нет, пожалуй, сбегая вниз и возьму в конторке... Только бы не наткнуться на Эдвина... Тетя права, не надо было его так близко подпускать... Неужели он с другими так же ведет себя, как сегодня со мной, в машине... все время гладил о коленкам, не пойму, как это я могла допу-

стить... Надо было отодвинуться или оттолкнуть его... мы же знакомы всего несколько дней. Но меня будто парализовало... ужас какая вдруг слабость охватывает, совсем безвольной становишься, когда мужчина вот так прикасается... даже не представляла себе, что вдруг все силы теряешь... Интересно, у других женщин так же... нет, в этом ни одна не признается, хотя и держатся развязно, и уж такие истории рассказывают...

Что-то мне надо было все же сделать, иначе он подумает, что я каждому позволю хватать себя... или вообразит еще, что сама напрашиваюсь... Жуть, по всему телу мурашки бегали, с головы до пяток... если она так с молоденькой девушкой сделает, представляю себе, она совсем голову потеряет... а как он мне руку сжимал, ужас... ведь у него совсем тонкие пальцы и ногти холеные, как женские, никогда таких у мужчин не видела, но когда он хватает, словно клещи.. неужели он так с каждой... Наверное, каждой... надо обязательно понаблюдать за ним, когда будет танцевать... Ужасно, когда ничего не понимаешь, любая другая в моем возрасте уже во всем этом разбирается и знает, как держаться... Впрочем, Карла рассказывала, как здесь всю ночь двери хлопают... ой, надо закрыть на задвижку... Если бы они честно себя вели, а не просто вокруг да около... знать бы, как это с другими бывает, неужели их тоже захватывает до умопомрачения... Со мной такого никогда не было! Хотя нет, было, года два назад, какой-то элегантный господин заговорил со мной на

Верингерштрассе, очень похожий на Эдвина, такой же высокий, подтянутый... ничего в этом особенного не было, пригласил, ну поужинала бы с ним... ведь все так знакомятся. Но тогда я боялась, что поздно вернусь домой... всю жизнь не могла отделаться от этого дурацкого страха, считалась со всеми, с каждым... а время уходит, у глаз уже морщинки... Другие, те были умнее, лучше разбирались... В самом деле, ну какая девушка будет торчать в комнате дона, когда внизу свет, веселье... лишь потому, что дядя устал... Ни одна не запрется так рано... а который теперь час?.. Девять, всего девять... нет, наверняка не усну... так вдруг жарко стало... да, открою окно... хорошо как обдувает... вот только бы не простудиться... Ах, опять этот дурацкий страх, вечно будь осторожнее, берегись... Зачем, для чего?.. господи, какое блаженство, прохлада, словно нагишом стоишь и ветерок по всему телу гуляет... а зачем я, собственно, надела красивое платье, для кого?.. все равно сижу в комнате, никто не увидит... Может, все-таки сбегать вниз?..

Надо же взять бумаги или прямо написать там, в конторке... Ничего особенного в этом нет... Брр, какой холодище, пожалуй, закрою окно... И что теперь, рассиживать в кресле?.. Чепуха, сбегая вниз, сразу согреюсь.. А вдруг меня увидит Элкинс или еще кто и завтра расскажут тете? Ну и что... Скажу, относилась письма портье... и возразить нечего... я же внизу не останусь, только напишу два письма и сразу вернусь... Да, а где пальто? Ах нет, зачем пальто, ведь я задер-

живаться не буду, разве что цветы взять... нет, они от Элкинса... Ну и пусть, зато подходят к платью... Может, на всякий случай пройти мимо тетиной двери, взглянуть, не спит ли... Ерунда, к чему это?.. Я же не школьница... Вечно этот дурацкий страх! Спрашивать разрешения, чтобы отлучиться на три минуты, чепуха какая... Ладно, пойду...

Торопясь и робея, будто наперегонки с собственной нерешительностью, она сбегает по лестнице.

Из холла, бурлящего людьми и танцевальной музыкой, ей действительно удалось незаметно прошмыгнуть в комнату, где к услугам постояльцев есть все письменные принадлежности. Первое письмо готово, второе вот-вот будет закончено. В эту минуту на ее плечо опускается чья-то рука.

– Вы арестованы. Куда запряталась – надо же ухитриться. Целый час шарю по всем углам, всех расспрашиваю, где фройляйн фон Болен, надо мной уже смеются, а она тут затаилась, как зайчишка в кустах. Подъем, марш-марш!

За спиной ее стоит высокий, стройный мужчина, и опять она с дрожью ощущает его роковую хватку. Кристина бессильно улыбается, испуганная его внезапным появлением и в то же время польщенная, что за полчаса он успел соскучиться по ней. Но у нее еще есть силы для обороны.

– Нет, сегодня я танцевать не могу, занята. Надо еще написать письма, чтобы отправить с утренним поездом. И потом, я обещала тете, что вечером никуда не выйду. Нет, ни в коем случае. Она рассердится, если узнает, что я спускалась

В ХОЛЛ.

Делиться секретами всегда опасно, ибо, доверяя секрет постороннему, ломаешь барьер между ним и собой. Ты чего-то лишаешься и тем самым даешь ему преимущество. И правда, страстный, настойчивый взгляд сменяется доверительным.

– Ага, удрали! Без увольнительной. Не бойтесь, не наябедничаю. Но уж теперь, после того как я с ног сбился по вашей милости, я вас так просто не отпущу, и не мечтайте. Сказавший "а" должен сказать и "б". Раз вы пришли сюда без разрешения, то без оногo и с нами останетесь.

– Да вы что?! Это невозможно. Вдруг тетя придет. Нет, нет, исключено!

– А мы сейчас документально установим, почивает ваша тетушка или нет.

Вы знаете, где их окна?

– Но при чем тут?..

– Очень просто: если в окнах темно, значит, тетя спит. А если уж человек разделся и лег в постель, то он не будет специально вставать, чтобы проверить, послушно ли ведет себя племяшечка... Господи, сколько раз мы удирали из интерната! Хорошенько смажешь ключи от комнаты, от ворот дома и в одних носках крадешься по коридору, по лестнице... Такой вечерок казался в семь раз веселее, чем официально дозволенный. Итак, вперед, в разведку!

Кристина невольно улыбнулась. Как легко и просто ре-

шаются здесь любые проблемы, любые трудности! Словно проказнице-девчонке, ей вдруг захотелось поводить за нос слишком уж суровых стражей. Только не торопись уступать, подсказывает ей внутренний голос.

– Ничего не получится, у меня нет с собой пальто. Не могу же я вот так, на мороз.

– Найдется замена. Минутку. – Он бежит в гардероб и возвращается со своим мягким, ворсистым полупальто. – Пожалуйста, подойдет, надевайте.

Но ведь я должна... – думает Кристина и тут же забывает о том, что она, собственно, должна, – ее руку уже всунули в мягкий рукав, так что сопротивляться теперь вроде поздно, и она, кокетливо посмеиваясь, закутывается в чужое мужское пальто.

– Нет, не через парадный подъезд, – говорит он с улыбкой, – вот сюда, в боковую дверь, сейчас мы прогуляемся под тетиным окошком.

– Но только на минутку, – говорит она и, едва ступив в темному, ощущает, как он уверенно взял ее под руку.

– Так где окна?

– На третьем этаже, слева, вон та угловая комната с балконом.

– Темно, совершенно темно, ура! Ни малейшего просвета, дрыхнут всюю.

Так, слушать мою команду: сначала – назад, в холл!

– Нет, и в коем случае! Если меня увидит лорд Элкинс

или кто еще, завтра же передадут дяде с тетей, а они и без того на меня сердиты. Нет, я пойду к себе.

– Ну тогда еще куда-нибудь, в бар, в Санкт-Морице. На машине доедем за десять минут, там вас никто не знает и, стало быть, никто не проболтается.

– Да вы что?! Ничего себе придумали! А если кто-нибудь увидит, как я сажусь с вами в авто, – да весь отель две недели только об этом и будет судачить.

– Не беспокойтесь, предоставьте это мне. Разумеется, вам не подадут машину к парадному подъезду, где уважаемая дирекция отеля водрузила дюжину трескучих дуговых ламп. Пройдите по этой лесной дорожке шагов сорок, вон туда, в тень, через минуту я подкачу к вам, а через пятнадцать будет в баре.

Все, договорились.

И вновь Кристина подивилась тому, как легко здесь все решается. Ее сопротивление наполовину поколеблено.

– Как у вас все просто...

– Просто или не просто, но так оно есть, и так мы сделаем. Я пойду возьму машину, а вы ступайте вперед.

Она еще раз, уже слабее, робко подает голос:

– Но когда же мы вернемся?

– Не позднее полуночи.

– Честное слово?

– Честное слово.

Честное слово мужчины всегда служит женщине перила-

ми, за которые она цепляется перед тем, как упасть.

– Ну хорошо, я полагаюсь на вас.

– Держитесь левой стороны, где нет фонарей, и выходите к шоссе. Через минуту я подъезду.

Шагая в указанном направлении (и почему я так его слушаюсь?), Кристина вдруг подумала: ведь я должна была... должна была... но больше ей ничего не приходит в голову, она не может припомнить, что, собственно, была должна, ибо ее уже захватила новая игра; закутавшись в чужое мужское пальто, она крадется, как индеец в зарослях, ведь это опять что-то новое, небывалое, не похожее ни на что в ее прежней жизни. Лишь несколько мгновений ждет она в тени деревьев, и вот два вспыхнувших луча, словно щупы, пробуя дорогу, двинулись вперед и посеребрили ели, возле которых она стоит; шофер, очевидно, уже заметил ее, так как слепящие фары сразу погасли и массивная черная машина, шурша, затормозила рядом. Тактично погасли и лампочки внутри салона, в непроглядной тьме светился только крохотный синеватый кружочек спидометра.

Во внезапно наступившей после яркого света черноте Кристина ничего не может различить, но тут открывается дверца автомобиля, чья-то протянутая рука помогает ей войти, и дверца захлопывается – все это происходит фантастически быстро и захватывающе, будто в кино; не успела она перевести дух и вымолвить хоть слово, как машина резко трогает с места, Кристина невольно откидывается назад и

попадает... в объятия. Она противится, испугано показывая на спину шофера, который таким монументом застыл за рулем, – она стесняется свидетеля, а с другой стороны, чувствует себя благодаря его присутствию защищенной от любой крайности. Но мужчина, сидящий рядом, не отвечает ни слова. Она лишь ощущает, что ее горячо и настойчиво обнимают, ощущает его ладони на своих пальцах, плечах, груди, а вот уже и его рот – жаркий, влажный – жадно ищет ее губы, и те постепенно поддаются властному напору. Неосознанно она ждала и желала всего этого – этих крепких до боли объятий и лавины поцелуев, обжигающих ее плечи, шею, щеки, а то, что в присутствии свидетеля приходится вести себя тихо, почему-то лишь усиливает упоение этой пылкой игрой. Закрыв глаза, безвольно и бессловесно, она всем существом отдается ненасытным губам, впивающим ее дыхание и слабые стоны, и впервые с наслаждением познает страсть поцелуев. Сколько это длится, она не замечает, все происходит словно вне пространства и времени и сразу резко обрывается, когда шофер, дав предупредительный гудок, въезжает на освещенную улицу и останавливается у бара большого отеля.

Кристина вылезает из машины, растерянная, сконфуженная, быстро оправляет смятое платье и растрепавшиеся волосы. Она смущенно оглядывается – не заметил ли кто, но нет, никто не обратил на нее внимания в полутемном переполненном баре. Ее учтиво проводят к столику. И вот ей открывается нечто новое: какой непроницаемой тайной может

быть жизнь женщины, как под маской светских манер можно ловко скрыть даже самое страстное возбуждение. Она никогда не поверила бы, что, еще пылая от его поцелуев, сможет вот так открыто, спокойно, сдержанно сидеть возле него и вести непринужденную беседу с его хорошо выглаженной манишкой, а ведь несколько минут назад эти губы впивались в нее, касаясь стиснутых зубов, ее сжимали в бурных объятиях, и ни один человек здесь об этом даже не догадывается. Сколько женщин вот так же притворялись передо мной, подумала она со страхом, сколько из тех, кого я знала дома и в деревне. Все были двуличными, пяти-, двенадцатилетними, все вели жизнь открытую и тайную, а я, доверчивая дура, еще ставила их, скромниц, себе в пример. Кристина почувствовала, как под столом к ее ноге многозначительно прижалось его колено. Она тотчас взглянула ему в лицо, будто увидев его впервые, – загорелое, энергичное, с резкими чертами и властным ртом под тонкими усиками, и ощутила его пытливый, проникающий взгляд. Все это невольно вызвало в ней чувство гордости. Этот сильный, мужественный человек хочет меня, меня одну, и никто об этом не знает, только я.

– Потанцуем? – спрашивает он.

– Да, – соглашается она, и это "да" значит гораздо больше.

Впервые ей мало танца, умеренное соприкосновение – лишь нетерпеливое предчувствие более страстных и безудержных объятий; она вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать себя.

Кристина поспешно выпивает один коктейль, второй, охлаждая губы, горячие то ли от полученных поцелуев, то ли от тех, которых она еще жаждет.

Наконец ей надоело сидеть среди толпы.

– Пора домой, – говорит она.

– Как ты хочешь.

В первый раз он говорит ей "ты", это действует на нее как нежный толчок в сердце, и, войдя в машину, она, само собой разумеется, падает в его объятия. Поцелуи теперь прерываются настойчивой речью. Она должна заглянуть к нему, всего на часок, ведь их номера на одном этаже, никто не увидит, вся прислуга уже спит. Его страстные мольбы проникают в нее словно огонь. Еще успею отбиться, думает дона в полубезытии, захлестнутая жаркой волной, и лишь молча внимает словам, которые впервые в жизни слышит от мужчины.

Ее доставляют на то же место, откуда увезли. Так же неподвижна, как и прежде, спина шофера, когда Кристина выходит из машины. Она в одиночестве направляется к отелю – фонари у подъезда уже потушены – и быстро проходит через вестибюль; она знает, что он наверняка следует за ней, уже слышит его шаги по лестнице: он легко, по-спортивному прыгает через две ступеньки – вот уже совсем близко.

Сейчас догонит, чувствует она, и ее вдруг охватывает дикий, безумный страх. Она пускается бегом, оставляя преследователя позади, влетает в дверь и молниеносно запирает задвижку. И, упав в кресло, блаженно переводит дух: спасена!

Спасена, спасена! Кристина все еще дрожит: еще немного – и было бы поздно, ужас до чего я стала слабой, неуверенной, любой мог бы взять меня в такую минуту, такого со мной никогда не бывало. Ведь всегда держала себя в руках... ужас как от этого нервничаешь, ну просто вся расстраиваешься.

Счастье, что хватило сил добежать до комнаты и что успела запереться, а то бог знает что бы еще случилось.

Она проворно раздевается в темноте, сердце у нее громко стучит. И даже потом, когда она, закрыв глаза и расслабленно вытянувшись, лежит в мягкой теплыни пуховиков, по ее телу все еще пробегает дрожь постепенно затихающего волнения.

Глупости, и чего я так перепугалась, на самом деле? Двадцать восемь лет, и все берегусь, отказываю, не решаюсь, все чего-то боюсь, жду. Зачем беречь себя, для кого? ну ладно, в те страшные годы и отец, и мать, и я – все берегли, жалели, экономили, а другие в это время наслаждались жизнью; я никогда не могла решиться ни на что, и какова же награда за все? Так вот увянешь, состаришься и умрешь, не пожив и ничего не узнав, дома опять начнется жалкое прозябание, а здесь есть все, и надо это брать, а я боюсь, запираю дверь, берегусь, как девчонка, глупая трусиха, дура... дура? Мо-

жет, все-таки открыть задвижку, может... нет, нет, не сегодня. Ведь еще уйма времени, целая неделя, восемь чудесных, бесконечных дней! Нет, больше не буду такой дурой, такой трусихой, надо взять все, всем насладиться, всем-всем...

Вытянув руки, с улыбкой на губах, словно раскрывшихся для поцелуя, Кристина засыпает, не ведая, что это ее последний день, ее последняя ночь в этом высшем свете.

Тот, кто переполнен радостью, не наблюдатель: счастливыцы – плохие психологи. Только беспокойство предельно обостряет ум, только ощущение опасности заставляет быть зорче и проницательнее. А Кристина и не догадывалась, что с некоторых пор ее присутствие здесь стало кое для кого причиной беспокойства и опасности. Та самая девушка из Мангейма, энергичная и целеустремленная Карла, чью приятельскую откровенность она доверчиво принимала за чистосердечную дружбу, была крайне озлоблена триумфальным успехом Кристины в обществе. До приезда этой американской племянницы инженер бурно флиртовал с ней и даже намекал на серьезные намерения – возможно, женитьбу. Но ничего окончательного сказано не было, не хватило, пожалуй, нескольких дней и одного подходящего часочка для решающего объяснения. тут появилась Кристина, что оказалось весьма некстати, ибо с этой поры интерес инженера переметнулся на Кристину: то ли на его расчетливый ум повлиял ореол богатства и аристократическое имя, то ли искрометная веселось девушки и излучаемые ею волны сча-

стью, — во всяком случае, немочка из Мангейма с ревнивым чувством завистливой школьницы и озлобленной женщины поняла, что ей дали отставку. Инженер танцевал теперь почти только с Кристиной и каждый вечер сидел за столиком ван Боленов. И соперница рассудила, что если она не хочет его упустить, то пора принять экстренные меры. К тому же охотничьим инстинктом тертая девица уже давно почувствовала, что в восторженности Кристины кроется что-то странное, не свойственное светскому обществу, и, пока все остальные пленялись обаянием непосредственной природы, Карла решила проверить свои подозрения.

Начала она с того, что стала шаг за шагом навязываться в душевные подруги. Днем, на прогулке, она нежно брала Кристину под руку и рассказывала о себе всякие интимности, мешая правду с ложью, чтобы выудить из той что-либо компрометирующее. Вечерами она приходила к ничего не подозревающей девушке в номер присаживалась к ней на кровать, гладила ее руку, и Кристина, жаждущая осчастливить весь мир, принимала эту сердечную привязанность с благодарным восторгом и откровенно отвечала на все вопросы, не замечая ловушек; она инстинктивно уклонялась лишь от таких, которые касались ее сокровенной тайны. например, когда Карла поинтересовалась, сколько у них в доме служанок и сколько комнат, Кристина сказала, что теперь из-за болезни матери они живут в сельской местности в полном уединении, раньше, конечно, было иначе. Однако любопыт-

ная недоброжелательница все крепче цеплялась за мелкие ошибки и постепенно нащупала уязвимое место, а именно: что эта пришлая особа, которая своим сверкающим платьем, жемчужными бусами и ореолом богатства грозила затмить ее в глазах Эдвина, происходит на самом деле не из богатой среды. Кристина невольно оплошала в некоторых деталях светской жизни: она не знала, что в поло играют верхом на лошадях, не знала названий наиболее популярных духов, как "Коти" и "Убиган", не разбиралась в ценах на автомобили, никогда не бывала на скачках; десять или двадцать подобных промашек показали, что она плохо осведомлена в этой области. Скверно обстояло и с образованием по сравнению со студенткой-химиком: ни гимназии, ни языков, то есть Кристина сама чистосердечно признала, что несколько слов и фраз по-английски, выученных в школе, давным-давно забыты. Нет, с элегантной фройляйн фон Болен что-то не так, надо будет копнуть поглубже. И маленькая интриганка взялась за дело со всей энергией и хитростью юной ревнивицы.

Наконец (два дня ей пришлось говорить, слушать и выслеживать) сыщица ухватилась за ниточку. По роду своих занятий парикмахерши любят поговорить; когда работают только руки, язык редко молчит. Проворная мадам Дювернуа, чей парикмахерский салончик был одновременно и главным рынком новостей, колоратурно рассмеялась, когда Карла во время мытья головы справилась о Кристине.

– Ah, laniece de madame van Booken, – серебристый смех разливался колокольчиком, – ah, elle etait bien drole a voir quand elle arrivait ici... ¹⁴.

У нее была прическа как у деревенской девушки, толстые косы, собранные в пучок шпильками, железными, тяжелыми, мадам Дювернуа даже не знала, что в Европе еще изготавливается такое уродство, две шпильки лежат где-то в ящике, она сохранила их как историческую редкость.

Это был уже вполне четкий след, и маленькая стервочка почти со спортивным азартом двинулась по нему. Он привел к этажной горничной Кристины. Ловкий подход и чаевые развязали горничной язык, и вскоре Карла разузнала все: что Кристина приехала с одним плетеным чемоданчиком, что всю одежду и белье ей срочно купила или одолжила госпожа ван Боолен. Мангеймская студентка выведала малейшие детали, вплоть до зонтика с роговой ручкой. А поскольку злонамеренному человеку всегда везет, она случайно оказалась рядом с Кристиной, когда та осведомлялась у портье о письмах на имя Хофленер; тонкий, нарочито небрежный вопрос и неожиданное разъяснение, что фамилия Кристины вовсе не фон Боолен.

Этого было достаточно, даже с излишком. Пороховой заряд был готов, Карле оставалось лишь правильно подвести запальный шнур. В холле день и ночь, как на посту, сидела

¹⁴ А, племянница мадам ван Боолен. О, она выглядела очень забавно, когда пришла сюда... (франц.).

вооруженная лорнетом тайная советница Штротдман, вдова знаменитого хирурга. Ее кресло-коляска (старая женщина была парализована) считалось общепризнанным агентством светских новостей, последней инстанцией, которая решала, что допустимо, а что нет; этот разведывательный центр в тайной войне всех против всех работал круглосуточно, с фанатичной точностью. К нему и обратилась коварная студентка, чтобы срочно и ловко сбыть ценный груз; разумеется, она притворилась, что делает это из самых добрых побуждений: какая очаровательная девушка эта фройляйн фон Болен (то есть так ее, кажется, называют в здешнем обществе), да ведь, глядя на нее, нипочем не скажешь, что она из самых низов. И как, в сущности, замечательно со стороны госпожи ван Болен, что она по доброте выдает эту продавщицу, или кто она там, за свою племянницу, шикарно раздела ее в свои платья и пустила в плавание под чужим флагом. Да, американцы в сословных вопросах мыслят демократичнее и великодушнее нас, отсталых европейцев, которые все еще играют в "высший свет" (тайная советница вскинула голову, как бойцовый петух), где в конечном счете котируются не только платье и деньги, но образование и происхождение.

Естественно, не обошлось без веселого описания деревенского зонтика, и вообще все вредоносно-забавные детали были вверены в надежные руки. В то же утро эта история начала циркулировать по отелю, обрастая, как и всякий слух, всевозможным сором и грязью. Одни говорили, что амери-

канцы, мол, часто так делают: возьмут и выдрессируют какую-нибудь машинистку в миллионерши, лишь бы досадить аристократам, – есть даже какая-то пьеса на эту тему; другие утверждали, что она, вероятно, любовница старика или его жены, короче говоря, дела пошли блестяще, и в тот вечер, когда Кристина, ни о чем не ведая, совершала эскападу с инженером, она стала во всем отеле главным предметом обсуждения. Разумеется, каждый, не желая отстать от других, заявлял, что тоже приметил в ней много подозрительного, никто не хотел оставаться в дураках. а так как память охотно прислуживает желаемому, то каждый, кто еще вчера чем-то восхищался в Кристине, сегодня находил это же смешным. И пока она, убаюканная юными грезами о счастье и улыбаясь во сне, продолжала себя обманывать, все уже знали о ее невольном обмане.

Тот, о ком пущен слух, всегда узнает об этом последним. Кристина не чувствует, что она шагает по холлу под перекрестным обстрелом язвительных и шпионящих взглядов. Доверчиво присаживается на самое опасное место, к госпоже тайной советнице, не замечая коварных вопросов – изо всех углов сюда уже направлены любопытные уши, – которые задает ей старая дама. Она почтительно целует седовласой неприятельнице руку и отправляется, как договаривалась, с

тетей и дядей на прогулку. Здороваясь по пути со знакомыми, она опять-таки не замечает их легких ухмылок – а почему бы людям не быть в хорошем настроении? Коварство встречает светлый, радостный взор безмятежных глаз, излучающих праведную веру в доброту мира.

И тетя поначалу ничего не замечает; правда, ей в это утро кое-что показалось неприятным, но о причине она не догадалась. В отеле живет супружеская пара силезских помещиков Тренквиц, которые строго придерживаются феодальных правил, общаясь только с высшими классами и безжалостно игнорируя третье сословие. Для ван Боленов они сделали исключение, во-первых, потому, что те – американцы (то есть своего рода аристократы), вдобавок не евреи, и еще. Но пожалуй, потому, что завтра должен приехать их второй по старшинству сын Харро, чье имение тяжело обременено закладными и для кого знакомство с американской наследницей может оказаться отнюдь не бесполезным. На десять часов утра они условились с госпожой ван Болен о совместной прогулке и вдруг (после информации, поступившей от агентства советницы) без каких-либо объяснений передали в половине десятого через портье, что, к сожалению, прийти не могут. Однако, вместо того чтобы объяснить свой запоздалый отказ и хотя бы извиниться, они, проходя в обед мимо столика ван Боленов, лишь сухо поздоровались.

– Странно, – с подозрение проворчала госпожа ван Болен, весьма щепетильная в вопросах светского тона. –

Чем мы их обидели? Что тут стряслось?

И опять странно: в холле после обеда (Энтони отправился вздремнуть, Кристина писала письмо) никто к ней не подошел. Ведь обычно к ней подсаживаются поболтать Кинсли или другие знакомые, а сейчас, словно по уговору, все остались за своими столиками, и она сидит одна-одинешенька в глубоком кресле, поражаясь, что никто из приятелей не показывается, а чванный Тренквиц даже не намерен извиниться.

Наконец кто-то подходит, но и он сегодня не такой, как всегда: весь натянутый, чопорный – генерал Элкинс. Как-то странно прячет глаза под усталыми покрасневшими веками, а ведь обычно у него прямой, открытый взгляд, что это с ним? Он чуть ли не церемонно кланяется.

– Вы позволите присесть подле вас?

– Ну конечно, милорд. Что за вопрос?

Она снова удивлена. Он так скованно держится, пристально разглядывает носки своих башмаков, расстегивает сюртук, поправляет складки на брюках.

Странно, что с ним? – думает она. Будто готовится произнести тожественную речь.

Но вот старый генерал решительно поднимает тяжелые веки, открыв ясные, светлые глаза, это действительно похоже на всплеск света, на сверкание клинка.

– Дорогая миссис Болен, мне хотелось бы обсудить с вами кое-что приватное, здесь нас никто не услышит. Но вы

должны позволить мне быть вполне откровенным. Я все время раздумывал, как бы вам на это намекнуть, но в серьезных делах намеки не имеют смысла. Когда говоришь о личных и неприятных вещах, надо быть ясным и откровенным вдвойне. Так вот... я чувствую, что мой долг как друга – сказать вам, ничего не скрывая. Вы позволите?

– Ну разумеется.

Видимо, разговор этот дается старому человеку все же не очень легко, он делает еще небольшую паузу – вынимает из кармана курительную трубку и тщательно набивает ее. При чем его пальцы – от возраста или волнения? – почему-то дрожат.

Наконец, подняв голову, он четко произносит:

– То, что я хочу вам сказать, касается мисс Кристианы.

И снова умолкает.

Госпожа ван Боолен слегка испугана. Неужели мужчина, которому почти семьдесят лет, полагает всерьез... Она уже обратила внимание, что Кристина очень занимает его, неужели это зашло так далеко, что он... но лорд Элкинс, устремив на нее пытливый взор, спрашивает:

– Она действительно ваша племянница?

Госпожа ван Боолен чуть ли не оскорблена.

– Разумеется.

– И ван Боолен ее настоящая фамилия?

Вопрос застает госпожу ван Боолен врасплох.

– Нет, нет... она же моя племянница, а не мужа, она дочь

моей сестры в Вене... Но позвольте, лорд Элкинс, вы ведь наш друг, что означает этот вопрос?

Англичанин сосредоточенно разглядывает трубку, его, кажется, чрезвычайно заинтересовало, равномерно ли горит табак, и он как следует уминает его пальцем. Затем, не меняя согбенной позы и почти не разжимая тонких губ, говорит, словно обращаясь к своей трубке:

– Видите ли... Здесь вдруг возник весьма странный слух, будто... и я почел своим дружеским долгом выяснить, в чем суть дела. После того как вы сказали, что она действительно ваша племянница, вопрос для меня исчерпан. Я был убежден, что мисс Кристиана не способна на ложь, меня лишь... ну, понимаете, здесь болтают довольно странные вещи.

Госпожа ван Боолен, побледнев, ощутила дрожь в коленях.

– Что... скажите откровенно... что говорят?

Трубка, кажется, постепенно раскурилась, вспыхнул алый кружочек.

– Вы знаете, общество вроде здешнего, которое, в сущности, является случайным, всегда ригористичнее, чем общество постоянное. Этот двуличный болван Тренквиц, например, считает для себя оскорбительным сесть за один стол с человеком, у которого нет ни дворянского происхождения, ни денег; кажется, именно он и его супруга больше всех орали по вашему адресу: мол, вы позволили себе подшучивать над ними – нарядили какую-то мещаночку в шикарные пла-

тъя и представили ее им под чужим именем как даму... будто этот чурбан понимает, что такое настоящая дама. Полагаю, мне не надо подчеркивать, что глубокое уважение и большая... очень большая... искренняя симпатия, которую я питаю к мисс Кристиане, ничуть не уменьшатся, если она в самом деле происходит... из неимущих кругов... пожалуй, у нее никогда бы не было того изумительного чувства радости и благодарности, если б она была избалована роскошью, как этот тщеславный сброд. так что я лично не усматриваю абсолютно ничего в том, что вы по доброте одарили ее своими платьями, и если я вообще спросил вас, насколько все это верно, то лишь затем, чтобы беспощадно пресечь гнусную болтовню.

Госпоже ван Боолен страх теперь уже перехватил горло, ей пришлось трижды вздохнуть, прежде чем она нашла силы спокойно ответить:

– У меня нет никакого основания, милорд, скрывать от вас что-либо о происхождении Кристины. Мой зять был очень крупный коммерсант, один из самых уважаемых и богатых в Вене (тут она сильно преувеличила), однако в войну, как многие наиболее порядочные люди, он потерял состояние. Семье его пришлось несладко, но из гордости она предпочли работать, нежели пользоваться нашей поддержкой. Вот так случилось, что Кристина теперь на государственной службе, в *post office*¹⁵. Надеюсь, это не позор?

¹⁵ Почтовое ведомство, контора (англ.).

Генерал Элкинс с улыбкой поднимает глаза, выпрямляет спину, ему явно легче.

– Вы спрашиваете человека, который сам провел сорок лет на государственной службе. Если это позор, то я разделяю его с вашей племянницей. Теперь, когда мы ясно высказались, давайте хорошенько подумаем, что делать. Я сразу понял, что все их злобные наветы – гнусная ложь, ведь с годами едко полностью ошибаешься в людях, это одно из немногих преимуществ старости. Взглянем на вещи трезво: боюсь, что положение мисс Кристианы будет отныне нелегким, нет ничего мстительнее и коварнее малого круга людей, которому хочется казаться знатным обществом. Такой спесивый олух, как Тренквиц, еще лет десять не простит себе, что был любезным с какой-то почтовой служащей, это будет донимать старого дурака хуже зубной боли. Не исключено, что и остальные будут допускать по отношению к вашей племяннице бестактности, по меньшей мере холодность и неприязнь она почувствует. Мне хотелось бы помешать этому... ведь я, как вы, наверное, заметили, очень ценю мисс Кристиану... очень... и я был бы счастлив избавить ее, такую доверчивую, от разочарований.

Лорд Элкинс умолк и задумался, его лицо опять вдруг становится старым и мрачным.

– Но удастся ли мне защитить ее надолго... этого я обещать не могу. Это зависит от... обстоятельств. Во всяком случае, я желаю наглядно показать чванным господам, что

ценю ее больше, чем их денежную знатность, и что тот, кто позволит себе какую-нибудь грубость по отношению к ней, будет иметь дело со мной. Есть шутки, которых я не терплю, и пока я здесь, пусть эти шутники поостерегутся.

Он резко поднимается, решительный, молодежавый, каким госпожа ван Боолен никогда его не видела.

– Вы позволите, – спрашивает он учтиво, – пригласить сейчас вашу племянницу на автопрогулку?

– Ну конечно.

Поклонившись, он направляется – госпожа ван Боолен провожает его озадаченным взглядом – к конторке, щеки у него порозовели, как от сильного ветра, кулаки сжаты.

Что он задумал? Госпожа ван Боолен смотрит ему вслед словно загипнотизированная.

Кристина, занятая письмом, не слышит его шагов. Он видит склоненную над столом голову, красивые светлые волосы, видит облик девушки, которая побудила в нем давно угаснувший пыл. Бедняжка, думает он, совсем беззаботная, ни о чем не знает, а ведь они, выбрав момент, нападут на тебя, и никто тебе не поможет. Он легко дотрагивается до ее плеча.

Кристина удивленно оглядывается и тотчас встает: она всегда, с момента знакомства, испытывает потребность оказывать этому необыкновенному человеку видимые знаки почтения. Он с усилием заставляет себя улыбнуться.

– Я к вам с просьбой, милая фройляйн Кристиана. Мне

сегодня что-то нездоровится, с самого утра болит голова, не спится, не могу читать. И я подумал, может, на свежем воздухе станет лучше, проедусь куда-нибудь на машине, и, пожалуй, будет совсем хорошо, если вы составите мне компанию.

Ваша тетушка разрешила пригласить вас. Так что, если вы согласны...

– Ну конечно... с удовольствием... это для меня честь...

– Тогда пойдёмте.

Он церемонно предлагает ей руку. Кристина удивлена и немного сконфужена, но как можно отказаться от такой чести! Твердо, уверенно и неторопливо лорд Элкинс идет с ней через весь холл. На каждого встречного он бросает зоркий быстрый взгляд, что обычно ему несвойственно; всем своим видом он явно грозит: не трогайте ее! Всегда любезный, приветливый, он проходит мимо других молчаливым серым силуэтом, так что его едва замечаешь, но сейчас он с вызовом пристально смотрит в каждый встречный зрачок. Все сразу поняли демонстративность тог шествия рука об руку. Тайная советница виновато уставилась на них, Кинсли почти с испугом поздоровались, увидев, как бесстрашный, убеленный сединами паладин, холодно поглядывая, шагает с молодой девушкой; она – гордая и счастливая, не подозревающая ничего дурного; он – с жесткой командирской складкой у рта, словно идущий во главе полка в атаку на окопавшегося противника.

Когда они выходят из отеля, у дверей их случайно встречает Тренквиц и, растерявшись, здоровается. Лорд Элкинс подчеркнуто скользит мимо него, поднимает руку и, не донеся ее до шляпы, небрежно опускает, словно отвечая на угодливый поклон официанта. Жест, полный крайнего презрения, это похоже на пощечину. Он сам открывает дверцу автомобиля и, сняв шляпу, помогает Кристине войти; с таким же почтением он в свое время помог сесть в машину невестке английского короля, когда она прибыла с визитом в Трансвааль.

Госпожа ван Боолен испугалась тактичного сообщения лорда Элкинса гораздо сильнее, чем это было заметно по ней, ибо он, не подозревая того, задел самое больное ее место. Глубоко в сумраке сознания, где запрятано то, в чем признаешься себе наполовину и что хочется забыть, в том подземелье, куда собственное "я" соскальзывает лишь против воли, с содроганием, так вот, так у клер ван Боолен, давно обуржуазившейся заурядной дамы, затаился многолетний неискоренимый страх, который изредка оживает в кошмарных снах: страх, что раскроется ее прошлое. Ибо тридцать лет назад, когда хитроумно удаленная из Европы манекенщица Клара, встретив ван Боолена, собралась за него замуж, у нее не достало мужества признаться этому честному, но несколько ограниченному человеку, из какого мутного источника явился небольшой капитал, который она отдала в качестве своего приданого. Она, не задумываясь, соврала

ему, что эти две тысячи долларов унаследовала от деда, и доверчивый влюбленный муж за все годы супружеской жизни ни на минуту не усомнился в правдивости ее слов. При его флегматичном добродушии опасаться было нечего, но чем выше поднималась Клер по социальной лестнице, тем больше и больше пугала ее навязчивая мысль, что из-за какой-нибудь глупой случайности, неожиданной встречи, анонимного письма может вдруг всплыть давнишняя история. Поэтому она годами с маниакальным упорством избегала встреч с соотечественниками. Когда муж хотел представить ей какого-нибудь компаньона или заказчика из Вены, она уклонялась от беседы и, как только научилась бегло говорить по-английски, отказалась понимать немецкий. Она решительно прервала переписку с родными, ограничиваясь даже в самых важных случаях краткими телеграммами. Однако страх не уменьшался, напротив, чем прочнее она чувствовала свое положение в американском обществе, чем больше приспособливалась к его строгим обычаям, тем чаще нервничала, боясь, что случайные, небрежно брошенные слова раздуют в пламя опасную искру, тлеющую под золой забвения; стоило какому-нибудь гостю упомянуть за толком, что он долгое время жил в Вене, и она не спала всю ночь, ощущая жжение этой искры в груди. Потом грянула война, которая одним махом отодвинула все былое в недостижимую, почти мифическую даль. Газеты и журналы тех лет истлели, у людей появились иные заботы и темы для разговоров; все миновало,

все забылось. Подобно тому как осколок снаряда постепенно инкапсулируется в ткани – поначалу он еще причиняет боль при смене погоды, но со временем теплая плоть перестает ощущать его как что-то инородное, – так и она, ведя здоровый образ жизни, богатая, счастливая, забыла о щекотливом эпизоде своей молодости; мать двух сыновей-младенцев, временами помощница мужу в делах, член филантропического союза, вице-президент общества содействия вышедшим на свободу заключенным, она пользовалась уважением и почетом во всем городе; ее долго сдерживаемые честолюбивые замыслы смогли наконец воплотиться также в новом доме, где охотно бывали самые знатные семейства. Но главным было то, что постепенно она сама забыла о грехе молодости. Наша память подкупна, она идет на поводу у желаемого, и намерение мысленно устранить какую-то неприятность медленно, но верно осуществляется; манекенщица Клара окончательно умерла в безупречно супруге торговца хлопком ван Боулена. Она настолько забыла о том эпизоде, что, едва сойдя на европейский берег, немедленно отправила сестре письмо с приглашением повидаться. Теперь же, когда из непостижимого коварства начали расследовать происхождение ее бедной племянницы, почему бы и не предположить, что заодно поинтересуются ею самой и станут выяснять ее происхождение? Страх – как кривое зеркало, в котором любая случайная черта отражается чудовищно увеличенной и карикатурно четкой и воображение, состоит только

его подстегнуть, выискивает несуразнейшие варианты. Самое абсурдное вдруг видится ей вполне возможным, и она с ужасом задумывается: в ресторане отеля за соседним столиком сидит какой-то старый господин из Вены, директор коммерческого банка, лет семидесяти или восьмидесяти, по фамилии Леви. Клер внезапно припоминает, что девичья фамилия жены ее умершего покровителя как будто тоже была Леви... что, если она сестра или кузина этого директора?.. Ведь он (а старики любят поболтать о скандальных историях времен своей молодости) по какому-нибудь намеку легко может вмешаться в разговоры. Клер даже похолодела от этой мысли, а страх продолжал коварно нашептывать: старик Леви необычайно похож на жену ее покровителя, такие же мясистые губы, такой же крючковатый нос... Доведя себя чуть ли не до бредового состояния, Клер уже не сомневается, что Леви – брат той женщины и, конечно, узнает бывшую манекенщицу, разворошит старую историю, на радость Кинсли и Гугенхаймам, а на следующий день Энтони получит анонимное письмо, которое разом перечеркнет тридцать лет благополучного брака.

Клер ухватилась за спинку кресла, ей показалось, что она теряет сознание; но тут же с силой отчаяния оттолкнулась от кресла. Ей стоило большого напряжения пройти мимо столика Кинсли и любезно поздороваться. Те дружески улыбнулись в ответ по американскому стереотипу, который она сама тоже давно усвоила. Но навязчивый страх внушает Клер,

что Кинсли улыбнулись как-то не так – коварно, иронически, вероломно что-то затаив; неприятным показался ей даже взгляд мальчика-лифтера и то, что встретившаяся в коридоре горничная случайно не поздоровалась с ней. Обессиленная, словно ей пришлось побираться по глубокому снегу, Клер наконец распахнула спасительную дверь.

Ее супруг, только что поднявшийся после сиесты, стоит перед зеркалом и причесывается; воротник расстегнут, подтяжки переброшены через плечо, лицо еще помятое от лежания.

– Энтони, – говорит она, переводя дух, – нам надо кое-что обсудить.

– Ну что там еще? – смазав бриолином гребешок, он расчесывает волосы на пробор, стараясь сделать это с геометрической точностью.

– Кончай, пожалуйста. – Ее терпение иссякло. – Надо спокойно все продумать. Дело очень неприятное.

Давно привыкший к темпераментным излияниям своей супруги, флегматик ван Болен, как всегда, не склонен горячиться и принимать опрометчивые решения.

– Так уж очень? – спрашивает он, по-прежнему глядя в зеркало. – Надеюсь, не депеша от Дикки или Элвина?

– Нет. Да прекрати же наконец! Одеться потом успеешь.

– Ну? – Энтони кладет расческу и покорно усаживается в кресло. – Что там?

– Случилось ужасное. Кристина то ли вела себя неосто-

рожно, то ли совершила еще какую глупость, короче – все открылось, весь отель судачит об этом.

– А что, собственно, открылось?

– Ну как же – с платьями! Что она носит мои платья, что приехала сюда обыкновенной продавщицей, а мы раздели ее с головы до ног и выдаем за благородную даму... чего только не болтают... Теперь ты понимаешь, почему Тренквицы избегают нас... конечно, их взбесило, ведь они на что-то рассчитывали со своим сыном и думают, что мы им наврали... Теперь мы оказались в неловком положении перед всем отелем. Что-то натворила эта недотепа! Боже, какой позор!

– Почему позор? У всех американцев есть бедные родственники. Мне и в голову не придет разглядывать в лупу племянников Гугенхаймов, Роски или этих Розенштоков, которые из Ковно; держу пари, вид у них куда беднее. Не понимаю, почему должно быть позорным, если мы ее прилично одели.

– Потому... – нервничая, Клер повышает голос, – потому, что они правы, ведь сразу видно, если кто-то пришелся здесь не ко двору, не из их общества... ну, тот, кто не умеет вести себя так, что незаметно, откуда он... Это ее вина; если б она не повела себя вызывающе, держалась так же скромно, как вначале, то никто ничего бы не заметил... Но она все время носится туда-сюда, всегда лезет вперед, хочет быть везде первой, во все ей надо вмешаться, со всеми переговорить... С каждым готова подружиться... и неудивительно, что у всех

в конце концов возникает вопрос: кто она такая, собственно, откуда, и вот... и вот в результате скандал. Все только о ней говорят и потешаются над нами... болтают ужасные вещи.

Энтони весело смеется:

– Пусть болтают... мне это безразлично. Она славная девушка и нравится мне, несмотря ни на что. Бедная она или нет, никого не касается. Я никому здесь не должен ни цента, и мне напевать, считают они нас знатными или нет.

Если мы кому-то не по нарву, пусть пеняет на себя.

– А вот мне совсем не безразлично, да, да! – Клер, сама того не замечая, говорит еще громче и пронзительнее. – Я не потерплю, чтобы про меня сплетничали, будто я одурачила всех и выдала бедную Золушку за герцогиню. Не позволю, чтобы какой-то Тренквиц вел себя со мною по-хамски: мы его приглашаем, а он посылает к нам портье, вместо того чтобы лично извиниться.

Нет, я не собираюсь ждать, пока все отвернутся от нас, этого мне не надо.

Видит бог, я приехала сюда ради удовольствия, а не для того, чтобы злиться и нервничать. Нет уж, увольте.

– И что же, – он слегка зевнул, прикрыв рот рукой, – ты предлагаешь?

– Уехать!

– Как? – Грузный, невозмутимый, он прямо подсакивает в кресле, будто ему отдавили ногу.

– Да, уехать, завтра же, с утра. Они заблуждаются, если

думают, что я стану ломать перед ними комедию, объяснять, что и почему, а в конце концов еще и извиняться... Будь это еще другая публика, а не такие, как Тренквиц и ему подобные... Здешнее общество меня так и так не устраивает, исключая лорда Элкинса, это какое-то случайное сборище, сплошная скука и серость, и уж перемывать мне косточки не их ума дело. Кроме того, я здесь неважно себя чувствую, две тысячи метров высоты не для меня, я вся изнервничалась, ночами не сплю... ты, конечно, не замечаешь этого, ложишься и тут же засыпаешь, мне бы твои нервы, всю неделю мечтаю выспаться. Мы уж три недели здесь – более чем достаточно! Что касается девочки, мы выполнили свой долг по отношению к Мэри с избытком. Мы ее пригласили, она отдохнула и повеселилась, даже слишком, и хватит. Мне не в чем себя упрекнуть.

– Но куда... куда же ты собираешься?

– В Интерлакен! Там не так высоко, к тому же там Линсеи, с которыми мы так хорошо провели время на пароходе. Очень милые люди, в самом деле, не то что эта разношерстная компания... кстати, позавчера я получила от них письмо, зовут нес. Если рано утром выедем, к обеду уже будет с ними.

Энтони еще сопротивляется:

– Вечно у тебя все вдруг! Ну зачем ехать в такую рань? У нас же есть время!

Но вскоре он уступает. Он всегда уступает, зная по долго-

му опыту, что Клер, если чего-то сильно хочет, непременно добивается своего, и всякое сопротивление – лишь напрасная трата сил. Вдобавок ему все равно. Тот, кто находит отдых в самом себе, не слишком остро воспринимает окружающий мир; сидит ли он за покером с Линсеями или с Гугенхаймами, называется ли гора за окном Шварцхорн или Веттерхорн, а отель – "Астория" или "Палас", старому флегматику, в сущности, безразлично, ему лишь бы не спорить. Прекратив борьбу, он терпеливо слушает, как Клер по телефону отдает распоряжения портье, поглядывает, забавляясь, как она поспешно вытаскивает чемоданы и с непонятным азартом укладывает одежду, потом он закуривает трубку и отправляется на карточную игру; тасуя и сдавая карты, он больше не думает ни об отъезде, ни о жене и менее всего о Кристине.

В то время как в отеле и чужие люди, и родственники Кристины возбужденно обсуждают ее появление и необходимость отъезда, серый автомобиль лорда Элкинса бороздит ветреную синеву высокогорной долины; ловко и отважно спускаясь по белому серпантину в Нижний Энгадин, он приближается к Шульс-Тараспу. Пригласив девушку, лорд, собственно говоря, намеревался публично взять ее под свою защиту и после недолгой прогулки привезти назад; но, видя ее рядом с собой, оживленную, разговорчивую, с беззаботными глазами, в которых отражалось все небо, он решает, что нет смысла укорачивать ей, да и себе, радостные часы, и

потому велит шоферу ехать дальше и дальше.

Не надо торопиться, узнать все равно успеет, думает старик, с неодолимым чувством нежности поглаживая ее руку. Вообще-то стоило бы предупредить ее заранее, осторожно, исподволь подготовить к тому, чего ей следует ждать от этого общества, чтобы внезапное охлаждение к ней причинило меньшую боль. Он как бы невзначай намекает на злобный характер тайной советницы и тактично предостерегает о коварстве приятельницы-немочки; но наивная, доверчивая душа со всем пылом юности заступает за своих лютых врагов: она же такая добрая, старая советница, принимает такое искреннее участие во всем, а немочка из Мангейма – лорд Элкинс и не подозревал об этом, – какая она смышленная, веселая, остроумная, просто она, видимо, робеет в его присутствии. И вообще все здесь такие чудесные, веселые, такие доброжелательные к ней. Кристине, в самом деле, порой даже совестно за то, что ей все это досталось.

Старик сосредоточенно разглядывает кончик своей трости. Со времен войны у него сложилось суровое мнение о людях и нациях: он обнаружил, что все они эгоистичны и не задумываются о том, что бывают несправедливы к другим.

В кровавом болоте Ипра и в известняковом карьере под Суассоном (где погиб его сын) навсегда погребен идеализм его юности, воспитанный на лекциях Джона Стюарта Хилла и его учеников, веровавших в моральную миссию человечества и духовный расцвет белой расы. Политика вызывает у

него отвращение, равнодушная атмосфера клуба и натянутость официальных банкетов опротивели ему. После смерти сына он избегает новых знакомств; в собственном поколении его злит упрямое нежелание признать правду и неспособность жить новым временем, а не довоенным, молодое же поколение раздражает своим легкомыслием и нахальным всезнайством. Встретив Кристину, он впервые опять почувствовал, что у человека есть вера, есть неуловимая и святая благодарность только за самую молодость, и, общаясь с ней, понял, что разочарование в жизни, которое с болью испытывает одно поколение, остается, к счастью, непонятным и недействительным для последующего и с каждой новой юностью переживается заново. Она поразительно умеет быть благодарной за самое малое, думает он радостно, и ему, как никогда еще, страстно, мучительно захотелось погреться возле живительного огонька и, кто знает, быть может, удержать его для себя.

Несколько лет я смогу ее оберегать, думает он, и она, возможно, никогда или только когда-нибудь узнает о подлости общества, которое пресмыкается перед именитым и презирает бедного. Ах, – он любит ее, как, по-детски приоткрыв рот и зажмурившись, она глотает свистящий горный воздух, – еще хотя бы несколько лет молодости, и с меня хватит. И пока она, снова повернувшись к нему, весело болтает, он слушает ее лишь краем уха, обдумывая с внезапно охватившей его решимостью, как бы поделикатнее в этот час, кото-

рый может и не повториться, завести речь о совместном будущем.

В Шульс-Тараспе они выпили чаю. Потом, сидя на парковой скамейке, лорд Элкинс осторожно, обиняками, приступил к делу. В Оксфорде у него две племянницы, примерно ее возраста, если она захочет приехать в Англию, то сможет пожить у них; ему доставит удовольствие пригласить ее к ним, ну а потом, если, конечно, ей не будет в тягость общество старого человека, он будет счастлив показать ей Лондон. Правда, он не уверен, есть ли у нее возможность вообще покинуть Австрию, не связана ли она чем-нибудь дома, он имеет в виду: душевно связана. Вопрос поставлен ясно. Однако Кристина в своей восторженности не поняла его. О нет, ей очень хочется посмотреть мир, и Англия, говорят, замечательная, она так много слышала о Оксфорде с его гребными гонками, ведь нет другой страны, где так любят спорт, где так прекрасно быть молодым.

Лицо старика омрачилось. Ни слова она не сказала о нем самом. Думала только о себе, о своей молодости. Решимость снова покинула его. Нет, думает он, это преступно – заточить молодое существо, в котором жизнь бьет ключом, в древний замок, к старому человеку. Нет, не дожидайся отказа, не будь смешным! Простись с этим, старик! Не воротишь! Поздно!

– Не пора ли нам вернуться? – спрашивает он изменившимся вдруг голосом.

– Боюсь, ваша тетушка будет беспокоиться.

– Хорошо, – отвечает она и с восторгом добавляет:

– Ах, было так чудесно, здесь все так бесподобно красиво.

Он садится в машину рядом с ней; на обратном пути старик больше молчит, густя о ней, грустя о себе. Но она не догадывается, что происходит в нем, и не подозревает, что произойдет с ней; раскрасневшиеся щеки подставлены свистящему ветру, ясный взгляд устремлен на пейзаж.

Когда они вышли из машины, в отеле только что прозвучал гонг.

Благодарно пожав почтенному человеку руку, Кристина бежит вверх переодеться: теперь это уже стало у нее привычкой. В первые дни занятие туалетом всякий раз вызывало страх, напряжение, озабоченность и в то же время было веселой, волнующей игрой. Всякий раз она дивилась в зеркале какому-то новому, наряженному существу, в которое неожиданно преображалась.

Теперь же для нее быть каждый вечер красивой и элегантной – нечто само собой разумеющееся. Несколько движений – платье легкой цветной волной стекает по тугой груди, уверенный мазок по красным губам, волосы откидываются на-

зад, шаль набрасывается на плечи, и она готова, в земной роскоши она чувствует себя столь же естественно, как в собственной коже! Еще один взгляд через плечо в зеркало: хорошо! Довольна! И она мчится к тете звать ее на ужин.

Но, открыв дверь, она в изумлении застывает: в комнате, отличавшейся педантичным порядком, царит полнейший хаос, на полу раскрытые чемоданы, на стульях, на кровати, на столе разбросаны шляпы, туфли и всевозможная одежда.

Тетя в домашнем халате, склонясь над чемоданом, пытается коленом закрыть упрямую крышку.

– Что... что случилось? – удивляется Кристина.

Тетя намеренно не поднимает глаз и с покрасневшимся лицом продолжает ожесточенно давить на чемодан. Пыхтя и чертыхаясь, она отвечает:

– Мы... о черт!.. Ты закроешься или нет?.. Мы уезжаем.

– Да?.. Почему? – Рот у Кристины невольно открывается.

Тетя еще раз бьет по замку, наконец он защелкнулся. Тяжело дыша, она распрямляется.

– Да, Кристль, жаль, конечно, я тоже огорчена! Но ведь я с самого начала говорила Энтони, что он плохо перенесет высокогорье. Для пожилых людей это не годится. Днем у него опять был приступ астмы.

– Боже мой! – Кристина устремляется навстречу старику, который, ни о чем не подозревая, выходит в эту минуту из смежной комнаты. Дрожа от испуга, она с пылкой нежностью берет его за руки. – Как ты себя чувствуешь, дядя?

Тебе лучше? Господи, если б я знала, никуда бы не поехала! Но сейчас ты хорошо выглядишь, честное слово, тебе лучше, да?

В полной растерянности он смотрит на нее: испуг ее неподделен. Она совершенно забыла о себе. И еще не осознала, что должна уезжать. Только одно поняла, что добрый старый человек болен. И испугалась за него, не за себя.

Энтони, как всегда невозмутимый и уж совсем не хворый, испытывает неловкость от столь искреннего опасения за его здоровье и ласкового участия.

Он начинает догадываться, в какую отвратительную комедию его втянули.

– Ну что ты, деточка, – бурчит он (черт побери, почему Клер все валит на меня?), – ты же знаешь Клер, она вечно преувеличивает. Я чувствую себя вполне здоровым, и, если б от меня зависело, мы бы остались. – И, скрывая досаду на жену, поставившую его в ложное, не совсем еще понятное ему положение, он почти грубо добавляет:

– Клер, да брось ты наконец эту возню с чемоданами, будь они прокляты, время еще есть. Давай посидим спокойно последний вечер с нашей доброй девочкой.

Клер тем не менее продолжает возиться и молчит, видимо опасаясь неизбежных объяснений. Энтони в свою очередь (пусть сама выпутывается, я тут ни при чем) сосредоточенно смотрит в окно. Между обоими, как нечто ненужное и тягостное, молча и растерянно стоит Кристина. Что-то случи-

лось, она это чувствует, что-то, чего она не понимает. Ярко сверкнула молния, Кристина с бьющимся сердцем ждет грома, а его все нет и нет, но ведь он должен быть.

Она не осмеливается спросить, боится подумать, однако каждым нервом чувствует: случилось что-то скверное. Может, они поссорились? Может, плохие вести из Нью-Йорка? Что-то на бирже, какие-нибудь дела, банкротство, об этом сейчас каждый день пишут газеты. Или у дяди действительно был приступ и он молчит, только чтобы меня не тревожить? Стою как истукан и не знаю, то мне тут делать. Но ничего не меняется, по-прежнему молчание, молчание; тетя продолжает суетиться, дядя беспокойно шагает взад-вперед, а в груди Кристины гулко колотится сердце.

Вот оно – избавление! – раздается стук в дверь. Входит коридорный, за ним второй с белой скатертью, салфетками и приборами. К удивлению Кристины, они убирают со стола курительные принадлежности, покрывают его скатертью и расставляют приборы.

– Ты знаешь, – говорит наконец тетя, – Энтони решил, что будет лучше поужинать сегодня в номере. Терпеть не могу эти бесконечные прощания и расспросы – куда, надолго ли, кроме того, я почти все вое упаковала, и смокинг Энтони уже в чемодане. Да и спокойнее нам здесь, уютнее, не правда ли?

Официанты вкатывают столик на колесах и подают кушанья из горячих никелированных кастрюль. Когда эти выйдут за дверь, думает Кристина, должны же мне, в конце концов,

все объяснить. Она робко поглядывает на лица близких ей людей: дядя, низко склонившись над тарелкой, усердно орудует ложкой, тетя выглядит бледной и смущенной.

И вот она говорит:

– Ты, наверное, удивлена, Кристль, что мы так быстро решились. Но у нас в Америке все делается quick¹⁶, это одна из хороших привычек, которые там приобретаешь. Главное – не затягивать то, к чему не лежит душа. Не идет какое-то дело – бросай его, начинай новое; неудобно тебе на этом месте – собирай чемоданы, уезжай куда-нибудь еще. Вообще-то я не хотела тебе говорить, потому что видела, как ты здесь превосходно отдохнула, но мы уже давно неважно себя чувствуем, а все время плохо сплю, а Энтони... не выносит этого разреженного воздуха. Да еще вот неожиданно пришла сегодня от наших друзей из Интерлакена, ну, мы и решили: съездим туда на несколько деньков, а потом еще в Экс-ле-Бен. Да, у нас... понимаю, тебе это в диковину... все делается quick.

Кристина наклоняется над тарелкой: лишь бы не смотреть сейчас тете в глаза! Что-то покорило ее в тоне, в лихости болтовни: в каждом слове звучала какая-то фальшь, какая-то неестественная бодрость. За этим наверняка что-то кроется, чувствует Кристина. Должно еще что-то последовать – и следует.

– Конечно, лучше всего, если б ты могла поехать с нами, –

¹⁶ Живо, проворно (англ.).

продолжает тетя, отделяя от пулярки крылышко. – Но Интерлакен, думаю, тебе не понравится, это не место для молодых людей, и еще вопрос: стоит ли тебе мотаться на два-три денька, которые остались от отпуска. Здесь ты замечательно отдохнула, чистый, свежий воздух пошел тебе весьма впрок... да, я всегда говорю, для молодежи ничего нет лучше высокогорья, надо, чтобы Элвин и Дикки разок сюда приехали, а вот для старых, изношенных, отбарабанивших сердец Энгадин-то и не годится. Да, конечно, мы были бы очень рады, ведь Энтони очень к тебе привязался, но, с другой стороны, туда семь часов и обратно семь, для тебя это многовато, в конце концов, на следующий год мы опять сюда приедем... Разумеется, если ты хочешь с нами в Интерлакен...

– Нет, нет, – отвечает Кристина, вернее, отвечают ее губы, машинально, как продолжают считать вслух под наркозом, когда сознание уже давно отключилось.

– Я даже думаю, тебе лучше поехать прямо домой, отсюда есть один необычайно удобный поезд – я справлялась у портье, – отходит около семи утра, завтра вечером будешь в Зальцбурге, а послезавтра дома. Представляю, как мать обрадуется, дочка такая загорелая, посвежевшая, юная, в самом деле, выглядишь ты роскошно, и лучше всего, если ты довезешь себя в таком отдохнувшем виде домой.

– Да, да, – еле слышно капают два слога с губ Кристины. И зачем она еще сидит здесь? Ведь оба явно хотят отделаться

от нее, и поскорее. Но почему?

Что-то случилось, что-то наверняка случилось. Она машинально продолжает есть, ощущая в каждом куске какую-то горечь, и думает только об одном: я должна сейчас что-нибудь сказать, что-нибудь такое легкое, небрежное, чтобы только не показать, что сердце обливается слезами и горло сжимает от обиды, и сказать это как бы между прочим – холодно, равнодушно.

Наконец ей приходит на ум:

– Я принесу сейчас твои платья, мы их сразу уложим. – И она поднимается из-за стола.

Но тетя спокойно усаживает ее обратно.

– Не стоит, деточка, время еще есть. Третий чемодан я уложу завтра.

Оставь все у себя в номере, горничная принесет. – И, внезапно устыдившись добавляет:

– Впрочем, знаешь, одно платье, красное, оставь себе, да, мне оно больше не нужно... Оно так идет тебе... ну и, конечно, мелочи – свитер, белье, это само собой разумеется. Только два других, вечерних, понадобятся мне еще для Экс-ле-Бен, там, знаешь, непрерывная смена туалетов, кстати, изумительный отель, говорят... и для Энтони, надеюсь, там будет лучше, теплые ванны, и дышать гораздо легче, и...

Тетя говорит без умолку. Сложное для нее препятствие преодолено.

Кристине деликатно внушено, что завтра ей надо уехать.

Теперь все опять вошло в привычную колею и покатилося легко, без помех, она весело рассказывает одну за другой разные скандальные истории, приключившиеся в отелях, в поездках, рассказывает об Америке, а Кристина, храня тягостное молчание, с большим трудом выдерживает этот поток крикливо-равнодушной болтовни. Скорее бы конец. И вот, воспользовавшись краткой паузой, она встает.

– Не хочу вас больше задерживать. Пусть дядя отдохнет, да и ты устала от сборов. Может, чем-нибудь помочь тебе?

– Нет, нет. – Тетя тоже поднимается. – Осталась ерунда, сама управлюсь.

Тебе лучше сегодня лечь пораньше. Ведь вставать-то, думаю, часов в шесть придется. Не обидишься, если мы не проводим тебя на вокзал, а?

– Нет, что ты, зачем же, это ни к чему, – глухим голосом отвечает Кристина, глядя в пол.

– Напишешь мне, как дела у Мэри, правда? Сразу напиши, когда приедешь.

Ну а в будущем году, как договорились, опять увидимся.

– Да, да, – говорит Кристина. Слава богу, теперь можно и уходить. Еще один поцелуй дяде, который почему-то до крайности смущен, поцелуй тете, и она – быстрее прочь, быстрее! – идет к двери. Но тут в последний момент, когда она уже взялась за ручку, ее догоняет тетя. Еще раз (и это заключительный удар) страх ударил ее молотом в грудь.

– Кристль, ты сразу же пойдешь к себе, да? Ляжешь и как

следует выпиться. Вниз больше не ходи, не то... понимаешь, не то завтра с утра все набегут прощаться... а мы этого не любит... Лучше просто уехать, без долгих церемоний, потом можно послать открытки... а то всякие букеты, проводы... терпеть не могу этого. Значит, вниз ты не пойдешь, сразу в постель.

Обещаешь?

– Да, да, конечно, – отвечает Кристина еле слышно и закрывает дверь.

И только по прошествии нескольких недель она вспомнит, что прощаясь, не сказала им ни слова благодарности.

Едва Кристина закрывает за собой дверь, остатки самобладания покидают ее. Как подстреленный зверек, который, прежде чем рухнуть замертво, делает по инерции еще несколько нетвердых шагов, так и она, опираясь о стену, плетется до своей комнаты и там падает в кресло, обессиленная, окаменевшая.

Она не понимает, что с ней случилось. Почти оглушенным сознанием она ощущает только боль от коварно нанесенного удара, но не ведает, кто его нанес.

Что-то произошло, что-то совершилось против нее. Ее выгоняют, и она не знает почему.

Она изо всех сил пытается размышлять. Но мозг остается оглушенным.

Что там смутное, оцепеневшее не дает ответ. И то же оцепенение вокруг нее – стеклянный гроб, еще более страшный,

чем темная сырая могила, потому что в нем издевательски яркий свет, ослепительная роскошь, язвительный комфорт и – тишина, леденящая тишина, и никакого ответа на кричащий в ее душе вопрос: что я сделала? Почему они прогоняют меня? Невыносимо думать об этом, выдерживать нестерпимую тяжесть в груди, словно на нее навалился весь гигантский дом со своими стенами, балками, огромной крышей, с четырьмя сотнями жильцов, и еще этот ядовито-ледяной белый свет, и кровать с вышитым пуховым одеялом, зовущая ко сну, и мебель, располагающая к безмятежному отдыху, и зеркало, манящее счастливым взгляд; ей кажется, что она окоченеет, если останется сидеть в этом кресле, или начнет вдруг в приступе ярости бить стекла, или расплачется навзрыд, в голос, так что переполошит весь отель.

Нет, надо бежать отсюда! Бежать! Куда... Она не знает. Но главное – прочь отсюда, из этого жуткого, удушающего безмолвия.

И внезапно, сама не зная, чего хочет, она вскакивает и выбегает в коридор; позади качается распахнутая дверь, и в свете люстры бесцельно блистают друг перед другом латунь и стекло.

Она спускается по лестнице как сомнамбула. Обои, картины, ступеньки, перила, вазы, лампы, постояльцы, офици-

анты, горничные – все предметы и лица призрачно плывут мимо. Кое-кто из встречных удивлен: с ней здороваются, а она не замечает. Но взгляд ее незрячий, она не сознает, что видит, куда идет и чего хочет, только ноги с необъяснимым проворством несут ее вниз по лестнице.

Оборвался какой-то контакт, который обычно разумно регулирует ее действия, она идет без всякой цели, только вперед, вперед, гонимая невыразимым, безотчетным страхом. У дверей в холл она вдруг резко останавливается; что-то пробуждается в ее сознании, она вспоминает, что здесь танцуют, смеются, весело проводят время, и тут же спрашивает себя: зачем? Зачем я сюда пришла? И об этот вопрос разбивается сила, гнавшая ее вперед. Кристина чувствует, что не может сделать больше ни шагу, но едва она останавливается, как внезапно начинают шататься стены, ковер убегает из-под ног, бешено качаются люстры, описывая какие-то круги. Я падаю, мелькает в ее сознании, падаю. Инстинктивно она хватается за портьеру и сохраняет равновесие. Однако ноги ее не слушаются. Прижавшись всем телом к стене, то открывая, то закрывая глаза, она стоит в оцепенении, тяжело дышит и не может двинуться с места.

В эту минуту инженер-немец, направлявшийся к себе в номер за фотографиями, которые хотел показать одной даме, увидел прижавшуюся к стене странную фигуру, застывшую, с неподвижным, невидящим взглядом; в первое мгновение он не узнал Кристину. Но затем в его голосе вновь зазвучал

прежний развязно-игривый тон:

– А-а, вот вы где! Что ж не заходите в холл? Или выслеживаете какую-нибудь тайну? Но почему... что... что с вами?

Он изумленно уставился на нее.

При первом звуке его голоса Кристина вздрогнула, будто сомнамбула, которую неожиданный оклик поразил словно выстрел. Испуганно вытаращенные глаза, высоко взметнувшиеся брови, рука, заслонившая лицо, как от удара.

– Что с вами? Вам нездоровится?

Кристина пошатнулась, но он успел поддержать ее. В глазах у нее потемнело. Однако, ощутив его руку, человеческое теплое прикосновение, она сразу оживилась.

– Мне надо поговорить с вами... немедленно... только не здесь... не при посторонних... я должна поговорить с вами наедине.

Она не знает, что должна ему сказать, ей необходимо поговорить, поговорить хоть с кем-нибудь, выкричатся.

Зная ее обычно спокойный голос, инженер несколько озадачен столь изменившимся тоном. Вероятно, она больна, размышляет он, ее уложили в постель, поэтому и не пришла, а после решила все-таки спуститься тайком... у нее наверняка жар, по блеску глаз видно. Или истерический припадок, чего только с женщинами не насмотришься... в любом случае прежде всего успокоить, успокоить, не дать ей почувствовать, что считаешь ее больной, делать вид, что согласен на все.

– Ну конечно, с удовольствием, фройляйн, – говорит он ей, как ребенку, – только, пожалуй (лучше, чтобы нас не видели)... пожалуй, выйдем на улицу... на свежий воздух... Вам станет легче... Здесь в холле ужасно жарко топят...

Прежде всего успокоить, успокоить, думает он и, взяв ее под руку, как бы случайно нащупывает на запястье пульс, чтоб проверить, есть ли жар. Нет, рука холодна как лед. Странно, думает он, еще более озадаченный, очень странно.

Перед отелем высоко покачиваются яркие фонари, слева темнеет лес. Там, под деревьями, она стояла вчера, но ей кажется, это было тысячу лет назад, ни одна кровинка в ней не вспоминает об этом. Он осторожно ведет ее туда (лучше, где темно, кто ее знает, что с ней), она безвольно подчиняется.

Сначала отвлечь, размышляет он, говорить о чем угодно, не пускаться ни в какие дискуссии, болтать проста так, это успокаивает лучше всего.

– Здесь куда приятнее, не правда ли?... вот, накиньте мое пальто... ах, какая чудесная ночь... взгляните на звезды... до чего же глупо, что мы целыми вечерами торчим в отеле.

Но дрожащая девушка не слышит его. Что звезды, что ночь – она чувствует только самое себя, только свое годами заглушаемое, подавляемое "я", которое внезапно, в муках, взбунтовалось и разрывает ее грудь. И тут она, совершенно

помимо воли, с ожесточением хватает его за руку.

– Мы уезжаем... завтра... совсем... больше я никогда сюда не приеду, никогда... вы слышите, никогда... нет, я этого не вынесу... никогда больше... никогда...

У нее жар, думает с беспокойством инженер, ее всю трясет, она больна, надо срочно вызвать врача. Пальцы Кристины с еще большей силой впиваются в его руку.

– ...Но почему... не понимаю, почему я так внезапно должна уехать... что-то, видимо, случилось... но что, не знаю. Еще днем они были так милы со мной и ни слова об этом не говорили, а вечером... вечером сказали, что завтра я должна уехать... завтра утром... немедленно, а почему – не знаю... почему так вдруг – гонят... гонят... словно выбрасывают в окно ненужную вещь... не понимаю, просто не понимаю... что могла случиться?...

Ах вот что, инженеру все становится ясно. Как раз незадолго до этого ему сообщили сплетни о ван Бооленах, и он невольно испугался: ведь чуть не сделал ей предложение! Теперь он понял, что дядя с тетей в спешном порядке отсылают бедняжку, чтобы она в дальнейшем не причиняла им неудобств. Гром грянул.

Только не поддаваться, быстро соображает он, не связываться. Отвлекать и отвлекать! Он начинает говорить вокруг до около: мол, это, наверное, не окончательно, ее родственники, возможно, еще передумают, и на будущий год...

Но Кристина совсем не слушает и не думает, она хочет из-

бавиться от переполняющей ее боли, она протестует во весь голос, резко, неистово, топая ногой, как беспомощный ребенок в гневе.

– Но я не хочу! Не хочу... Не поеду сейчас домой... что мне там делать, я там погибну, сойду с ума... Клянусь вам, я не могу, не могу, не хочу...

Помогите мне... Помогите!

То крик утопающего, пронзительный и уже полузадушенный, голос внезапно захлебывается в потоке слез, она сотрясается в безудержных рыданиях.

– Не надо, – просит он, растроганный против своей воли. – Не плачьте!

Не надо!

И, чтобы успокоить, машинально привлекает ее к себе. Она податливо и как-то вяло и грузно приваливается к его груди. В этой податливости нет радости, только бесконечное изнеможение, невыразимая усталость. Ей хочется всего лишь прислониться к живому человеку, чтоб чья-нибудь рука погладила ее по голове, чтобы не чувствовать себя такой беспомощной, такой ужасно одинокой и отверженной. Постепенно она успокаивается, судорожные рыдания переходят в тихий плач.

Инженеру весьма неловко. Он, посторонний мужчина, стоит здесь в тени деревьев, всего в двадцати шагах от отеля (в любую минуту их могут увидеть, кто-то пройдет мимо), и держит в объятиях плачущую девушку, ощущая теп-

лое колыхание прильнувшей к нему груди. Его охватывает жалость, а жалость мужчины к страдающей женщине всегда проявляется в нежности, пусть и невольной. Только бы успокоить, думает он, только бы успокоить. Лево́й рукой (за правую Кристина все еще держится, чтобы не упасть) он, как гипнотизер, гладит ее по голове. Потом, наклонившись, целует волосы, затем виски и, наконец, дрожащие губы. И тут у нее бессвязно вырывается:

– Возьмите меня с собой, заберите меня... Уедем отсюда... куда хотите... куда хочешь... только чтобы не возвращаться... не возвращаться домой... я этого не выдержу... Куда угодно, только не домой... Увезите, куда вам захочется, на любое время... Только увезите! – В лихорадочном возбуждении она трясет его, словно дерево. – Возьми меня с собой!

Инженер испуган. Надо прекратить, думает этот человек практического ума, быстро и решительно прекратить. Как-нибудь подбодрить и отвести в отель, а то дело становится неприятным.

– Да, деточка, – говорит он. – Конечно, деточка... не нужно только спешить... мы все непременно обсудим. До утра есть еще время подумать... может быть, ваши родственники тоже сожалеют и примут иное решение... завтра нам все покажется яснее.

– Нет, не завтра, нет! – настаивает она. – Завтра я должна уехать, рано утром, совсем рано... Они выпроваживают ме-

ня... отправляют, как почтовую посылку, срочную, быстро, быстро... А я не позволю, чтобы меня вот так отсылали... не позволю... – И, вцепившись в него еще крепче:

– Возьмите меня с собой... сейчас же... сейчас... помогите мне... я... я больше не вынесу.

Пора кончать, размышляет инженер. только ни во что не ввязываться. Она не в своем уме, не сознает, что говорит.

– Да, да, деточка, – гладит он ее по голове, – само собой разумеется, понимаю... мы обо всем сейчас там поговорит, не здесь, здесь вам нельзя больше оставаться. Вы можете простыть... без пальто, в тонком платье...

Идемте, сядем в холле... – Он осторожно высвобождает свою руку. – Ну пойдемте, деточка.

Кристина пристально смотрит на него. Она вдруг сразу перестала всхлипывать. В состоянии охватившего ее отчаяния, когда рассудок не способен что-либо воспринимать, она не расслышала, что он говорит, и ничего не поняла, но ее тело почувствовало, что теплую нежную рук боязливо убирают.

Тело первым поняло то, что с испугом только сейчас уловил инстинкт, а за ним осознал и мозг: этот человек покидает ее, он струсил, он опасается, что все здесь хотят ее отъезда, все. Опьянение прошло, она очнулась. Собравшись с духом, она сухо и отрывисто говорит:

– Благодарю. Благодарю, я дойду сама. Извините за это минутное недомогание, тетя права, высокогорный воздух на

меня плохо действует.

Он хочет что-то сказать, но Кристина, повернувшись к нему спиной, уходит. Лишь бы не видеть больше его лицо, никого больше не видеть, никого, прочь, прочь, не унижаться больше не перед кем из этих высокомерных, трусливых, сытых людей, прочь, прочь, ничего у них не брать, никаких подарков, не заблуждаться на их счет, не позволять им себя обманывать, никому из них, никому, прочь, прочь, лучше околеть, лучше сдохнуть где-нибудь в темном углу. Она входит в обожаемый отель, в любимый холл и, проходя мимо людей, как мимо каких-то наряженных, размалеванных фигур, испытывает лишь одно: ненависть. К нему, к каждому здесь, ко всем.

Всю ночь Кристина неподвижно сидит у стола. Мысли угрюмо кружат вокруг одного и того же: лишь какая-то оцепенелость, но что-то с ней самой происходит, она смутно ощущает подобие боли, как ощущают на операционном столе в первую минуту анестезии жгучее прикосновение ножа, рассекающего тело. Ибо, пока она сидит, уставившись взглядом в стол, с ней происходит то, что не осознается еще оцепеневшим рассудком: другое, поддельное существо, та нереальная и все же реальная фройляйн фон Боолен, жившая девять сказочных дней, сейчас в ней отмирает. Она еще сидит

в комнате, принадлежащей той, дугой, и телесная оболочка ее пока что другая – с ниткой жемчуга на застывшей шее, с ярким мазком кармина на губах, облаченная в любимое, почти невесомое вечернее платье, но вот уже легкий озноб пробегает от него по коже, оно кажется чужеродным на ней, как простыня на трупe. Ничто здесь, ничто из этого высшего, счастливого мира больше не подходит к ней, все опять, как и в первый день, чужое, полученное взаймы. Рядом стоит кровать с чистым, отглаженным бельем, с нежными пуховиками – тепло и нега в цветочках, но Кристина не ложится в постель: она больше не принадлежит ей. Блестит мебель, тихо дышит ковер, но все это окружение из латуни, шелка и стекла она больше не воспринимает как свое, как перчатку на руке и жемчуг на шее, – все принадлежит той, другой, той убитой "двойнице", Кристиане фон Болен, каковой она больше не является и тем не менее остается. Вновь и вновь пытается она отделиться от своего искусственно "я", возвращаясь к настоящему, заставляет себя думать о матери, больной ли уже мертвой, но, как ни насилует она себя, ей не удастся вызвать в душе ни тревогу, ни боль: лишь одно чувство переполняет ее – злоба, глухая, судорожная, бессильная злоба, которая не может вырваться наружу и ропщет взаперти, беспредельная злость – она не знает на кого – на тетку, на мать, на судьбу, злость человека, которого обидели. Истерзанной душой она чувствует только, что у нее что-то отняли, что из счастливой, окрыленной она снова должна превра-

титься в ползающую по земле слепую гусеницу; что-то миновало, и миновало безвозвратно.

Всю ночь сидит она на деревянном стуле, окаменев в своей злости. Сквозь обитые двери до ее слуха не доносятся звуки другой жизни, продолжающейся в этом доме, – безмятежное дыхание спящих, стоны любовников, кряхтение больных, беспокойные шаги страдающих бессонницей; сквозь закрытую балконную дверь она не слышит предрассветного ветра, овевающего сонный дом, она ощущает только себя, свою одинокость в этой комнате, этом доме, этом мире, себя – кусочек живой, трепетной плоти, еще теплый, как отрубленный палец, но уже бессильный и бесполезный. Идет жестокое медленное умирание, частица за частицей застывает в ней и отмирает, а она сидит недвижно, будто вслушиваясь в себя, когда же, наконец, перестанет стучать в ней горячее сердце ван Боолен.

Спустя тысячу лет наступает утро. Слышно, как в коридорах начала уборку прислуга, как садовник шаркает граблями по гравийным дорожкам; начинается неизбежно реальный день, конец, отъезд. Пора собирать вещи и съезжать, пора стать прежней – почтовой служащей Хофленер из Кляйн-Райфлинга – и забыть ту, чье дыхание маленькими незримыми волнами касалось здесь утраченных отныне драгоценностей.

Поднимаясь со стула, Кристина почувствовала огромную усталость, руки и ноги одеревенели: четыре шага до стенного

шкафа показались ей путешествием с одного континента на другой. С немалым усилием открыв дверцу, она испугалась: словно труп повешенной качалась там невзрачная, белесая юбка из Кляйн-Райфлинга с ненавистной блузой, в которой она приехала. Снимая ее с вешалки, Кристина вздрагивает от омерзения, точно прикоснулась к какое-то гнили: и в эту мертвую шкуру Хофленер она снова должна влезть! Однако выбора нет. Она быстро сбрасывает вечернее платье, и оно, шурша, как шелковая бумага, соскальзывает по бедрам, затем откладывает в сторону одно за другим остальные платья, белье, свитер, жемчужные бусы – десяток-два очаровательных вещиц; только явные подарки берет с собой – горстка, легко уместившаяся в жалком плетеном чемоданчике.

Все готово! Она еще раз внимательно оглядывается вокруг. На кровати валяются вечерние платья, бальные туфли, пояс, розовая сорочка, свитер, перчатки – все в таком диком беспорядке, словно прозрачную фройляйн фон Боолен взрывом разнесло на сотни кусочков.

С отвращением взирает Кристина на остатки призрака, которым была она сама. Затем проверяет, не забыла ли чего-нибудь из того, что принадлежит ей.

Нет, больше ничего ей не принадлежит: здесь, на этой кровати, будут спать другие, другие будут любоваться в окно на золотой пейзаж, а в зеркало – на свое отражение, она же никогда больше, никогда! Это не прощание, это своего рода смерть.

Коридор был еще пуст, когда она вышла со старым чемоданчиком в руке. Машинально направилась к лестнице. Но тут же подумала, что бедно одетая Кристина больше не вправе спускаться по этой парадной лестнице с ковровой дорожкой и окантованными латунью ступеньками; лучше она скромно сойдет по железной винтовой, что возле уборной для прислуги. Внизу, в сумеречном, наполовину убранном холле, дремавший ночной портье настороженно приподымается. Что это? Какая-то девица, заурядно, а вернее, плохо одетая, с убогим чемоданом, явно стесняясь, украдкой пробирается к выходу, не поставив его в известность. Так не пойдет! Он проворно догоняет ее и загораживает дверь.

– Куда изволите спешить?

– Я уезжаю семичасовым поездом.

Портье озадачен: он впервые видит, чтобы постоялец этого отеля, к тому же дама, собственноручно нес багаж на вокзал. Почуввав неладное, он спрашивает:

– Позвольте узнать... из какого вы номера?

Теперь Кристина догадывается, в чем дело. Портье принял ее за мошенницу, что ж, он, пожалуй, прав, разве она не такая? Но она не обижается, напротив, даже испытывает какое-то горькое удовлетворение от того, что ее, гонимую, еще подхлестывают, ее, униженную, еще оскорбляют. Чем больше неприятностей, чем больше огорчений – тем лучше!

Совершенно спокойно она отвечает:

– Я Кристина Хофленер. Снимала номер двести восемь-

десять шесть за счет моего дяди, Энтони ван Боолена, номер двести восемьдесят один.

– Минуточку, пожалуйста.

Портье освобождает проход, однако не спускает глаз с подозреваемой (она это чувствует), чтоб та не удрала, пока он листает книгу записей. Неожиданно его тон меняется; следует поспешный поклон и – очень вежливо:

– О, милостивая барышня, прошу прощения, теперь вижу, дневной портье, оказывается, был уведомлен об отъезде... я только потому подумал, что вы так рано... и... барышня не понесет же чемодан сама, машина доставит его вам за двадцать минут до отправки поезда. А сейчас пройдите, пожалуйста в столовую, барышне вполне хватит времени, чтобы позавтракать.

– Нет, мне больше ничего не надо. Прощайте!

Она выходит, не оглядываясь на удивленного портье, который, качая головой, возвращается за свою конторку.

"Мне больше ничего не надо". Она почувствовала себя лучше от этих слов.

Ничего и ни от кого. С чемоданом в одной руке, с зонтиком в другой, устремив напряженный взгляд на дорогу, она идет на станцию. Горы уже освещены, беспокойно толпятся облака, вот-вот покажется синева, божественная, несказанно любимая энгадинская лазурь, но Кристина, сгорбившись, упрямо смотрит на дорогу: ничего больше не видеть, ни от кого больше не брать милостей, даже от бога. Ни на что боль-

ше не заглядываться, не напоминать себе, что отныне и навеки эти горы предназначены для других; спортивные площадки, игры, отели с их сверкающими комнатами, грохот лавин и дыхание лесов – все для других и ничего для нее, никогда больше, никогда!

Отвернувшись, она проходит мимо теннисных кортов, где – она знает – и сегодня будут состязаться в ловкости другие – легкие, загорелые, в ярко-белых спортивных костюмах; идет мимо еще закрытых магазинов с тысячами сокровищ (для других, для других!), мимо отелей, рынков и кондитерских, идет в своем дешевом пальто, со старым зонтиком, к поезду. Прочь, прочь. Только бы ничего больше не видеть, только бы ни о чем больше не вспоминать.

На станции она прячется в зале ожидания третьего класса; здесь, в вечном третьем классе, одинаковом по всему миру, с деревянными скамьями и убогим однообразием, она чувствует себя уже наполовину дома и, когда подъезжает поезд, торопливо выходит: никто не должен ее здесь видеть, не должен узнать. Но тут – не галлюцинация ли это? – она вдруг слышит:

"Хофленер, Хофленер!" Кто-то, бегая вдоль вагонов, выкрикивает (возможно ли!) ее фамилию, ее ненавистную фамилию. Она задрожала. неужели над ней хотя поиздеваться и на прощание? Но голос отчетливо повторяется, тогда она выглядывает из окна вагона: на перроне стоит портье и машет телеграммой. Он просит извинения, телеграмма пришла

еще вчера вечером, но тот портье не знал, кому ее передать, а ему только сейчас стало известно, что фройляйн уезжает. Кристина вскрывает конверт: "Внезапное ухудшение, приезжайте немедленно. Фуксталер". И вот поезд трогается... кончено. Все кончено.

У каждого материала есть свой предел выносливости, сверх которого он больше не сопротивляется нагрузке; этому непреложному закону подвластна и человеческая душа. Радость может достигнуть такой степени, когда любая добавка становится уже не ощутимо, так же – горе, отчаяние, уныние, отвращение и страх. Наполненная до краев чаша не примет больше ни капли.

Так Кристина, прочтя телеграмму, не огорчилась. Она, конечно, понимала, что должна бы испугаться, встревожиться, однако, несмотря на бодрствующий мозг, чувство не включилось, не восприняло известия, не отозвалось. Обследуя больного с парализованной ногой, врач проверяет иглой чувствительность омертвевшей ткани; больной видит иглу и знает, что она острая, жалящая; вот-вот она вонзится, будет больно, очень больно, и он уже весь сжался, готовясь стерпеть муку. Но жгучая игла входит в мышцу, а нерв не реагирует – ткань мертва, и больной с ужасом осознает, что его нога стала совершенно нечувствительной, что в нем, живом

и теплом, угнездилась уже частица смерти.

Такой вот ужас от своего равнодушия испытывает Кристина, вновь и вновь перечитывая телеграмму. Мать больна, состояние ее наверняка безнадежно, иначе бережливые родственники не потратились бы на срочную телеграмму.

Возможно, и умерла, даже вполне вероятно. Но при этой мысли (которая еще вчера повергла бы ее в отчаяние) ничто не шелохнулось в ее душе, ни слезинки не выкатилось из глаз. Она оцепенела, и эта оцепенелость словно распространилась на все вокруг. Она не слышит ритмичного стука колес, не замечает, что на скамье напротив сидят краснощекие мужчины, жуют колбасу и смеются, она не видит, что горы за окном то вырастают до облаков, то съеживаются в цветистые холмики, и подножия их омываются белоснежным горным молоком – будто на рекламных картинках, которые она по дороге из дому воспринимала как живые и которые теперь окоченели перед ее неподвижным взглядом. И только на границе, побеспокоенная вошедшим таможенником, она очнулась, ей вдруг захотелось выпить горячего. Чтобы хоть немножко оттаять, избавиться от невыносимой окоченелости сдавившей горло, вздохнуть полной грудью, наконец выстонать все, что наболело.

В станционном буфете Кристина выпивает чашку чая с ромом. И тотчас блаженное тепло разливается в крови, оживляя даже застывшие клеточки мозга; она опять способна думать, и у нее мелькает мысль, что надо бы телеграфи-

ровать домой о приезде.

– Направо, за углом, – говорит ей буфетчик. Да, да, она вполне успеет.

Кристина походит к окошку. Матовое стекло опущено. Она стучит. За перегородкой слышатся медленные шаркающие шаги, стекло, звякнув поднимается.

– Что вам угодно? ворчливо спрашивает мрачная женская физиономия в очках с железной оправой.

Кристина медлит с ответом, настолько она поражена видом женщины. Ей показалось вдруг, что дряхлая, костлявая старая дева с потускневшими глазами, с пергаментными руками, которая механически протягивает ей бланк, – это она сама лет через десять, двадцать; точно в каком-то дьявольском зеркале перед ней предстал призрак ее собственной старости. Непослушными пальцами она еле держит ручку. Это я, такой я стану, неотступно думает она и украдкой косясь на тощую коллегу, которая с карандашом в руке терпеливо ждет, склонившись над столом, – о, как знакомы ей поза и эти минуты, пропавшие втуне, крадущие радость и счастье, каждая из них приближает старость, превращая тебя в такой вот изнуренный призрак.

Волоча ноги, Кристина возвращается к поезду. Ей будто приснился кошмарный сон: она увидела себя в гробу на катафалке и с криком ужаса проснулась в холодном поту.

В Санкт-Пельтене, утомленная от бессонной ночи, Кристина выбирается из вагона. Навстречу ей через рельсовые

пути уже кто-то спешит, это учитель Фуксталер, наверное, ждал здесь всю ночь. С первого же взгляда Кристина все поняла на нем черный сюртук, черный галстук; и когда она протягивает учителю руку, он пожимает ее соболезнующе, а глаза смотрят сквозь очки участливо и беспомощно. Кристина ни о чем не спрашивает, его замешательство сказало все.

Но странно, она не испытывает ни потрясения, ни скорби, ни волнения. Умерла мать. Может быть, оно и хорошо – умереть...

В поезде на Кляйн-Райфлинг обстоятельно и деликатно рассказывает о последних часах усопшей. Вид у него усталый, лицо серое, небритое, одежда мятая и пыльная. Каждый день он (ради нее) по три-четыре раза навещал мать, дежурил ночами (ради нее). Заботливый друг, думает Кристина. (Хоть бы уж замолчал, оставил меня в покое, надоело слушать его проникновенно-сентиментальный голос, видеть желтые, плохо запломбированные зубы.) Ее вдруг охватывает почти физическое отвращение к этому человеку, прежде внушавшему ей симпатию, она понимает, что ее чувство постыдно, но ничего поделать с собой не может, это как привкус желчи во рту.

Невольно она сравнивает его с мужчинами там – здоровыми, стройными, загорелыми, ловкими кавалерами в приталенных пиджаках, с ухоженными руками – и с каким-то злорадным любопытством разглядывает комичные детали его траурного облачения: сюртуку с протертыми локтями, явно

перелицованный, дешевая несвежая сорочка, дешевый черный галстук. Невыносимо смехотворным кажется ей вдруг этот тощий человечек, этот деревенский учитель с бледными оттопыренными ушами, неровным пробором в жидких волосах, очками в стальной оправе на бледно-голубых глазах с воспаленными веками, его пергаментное остроносое лицо над продавленным воротничком из желтого целлулоида. И он еще собирался... он... Нет, думает Кристина, никогда! Чтобы он дотронулся до нее? Невозможно! Поддаться робким, недостойным ласкам вот такого переодетого причетника с трясущимися руками? Ни за что! Ее тошнит при одной мысли об этом.

– Что с вами? – озабоченно спрашивает Фуксталер, заметив, что она вздрогнула.

– Ничего... Нет, нет... Просто я слишком устала. Не хочется сейчас ни говорить... ни слушать...

Откинувшись к стенке, Кристина закрыла глаза. Ей сразу стало легче, едва она перестала видеть его, перестала слышать этот утешающе-кроткий, нестерпимый именно своей смиренностью голос. Какой стыд, думает она, ведь он так хорошо относится ко мне, такой самоотверженный, а я... ну не могу я больше смотреть на него, противно, не могу! Такого... таких, как он... ни за что! Никогда!



Льет дождь, священник скороговоркой читает у открытой могилы заупокойную. Могильщика, держа лопаты, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу в вязкой глине. Дождь усиливается, священник говорит еще быстрее; наконец все кончен, и четырнадцать человек, провожавших старуху на кладбище, молча, чуть ли не бегом возвращаются в деревню. Кристина в ужасе от самой себя – вместо того чтобы скорбеть и горевать, она во время церемонии думала о разных пустяках: о том, что она без калош – в прошлом году хотела купить, но мать отговорила, предложив свои; что у Фуксталера воротник пальто протерся на сгибе; что зять Франц растолстел и при быстрой ходьбе пыхтит, как астматик; что зонтик у невестки прохудился, надо бы отдать в починку; что лавочница прислала на похороны не венок, а всего лишь букетик полуувядших цветов из палисадника, связанных провололочкой; что на лавке пекаря Гердлички появилась новая вывеска... Все мелочи того отвратительного мирка, в который ее впихнули обратно, острыми когтями вонзаются в нее и причиняют такую мучительную боль, что не остается сил для горестных переживаний.

У ее крыльца провожавшие прощаются и, уже не стесняясь, разбегаются, забрызганные грязью, по домам; лишь сестра, зять, вдова брата и столяр – ее второй муж – поднима-

ются по скрипучей лестнице наверх. В комнате всего четыре стула, и хозяйка, пятая, усаживает на них гостей. Помещение тесное, мрачное. От мокрых пальто на вешалке и капających зонтиков несет сыростью, в окна барабанит дождь, в углу тенью сереет опустевшая кровать.

Все молчат.

– Может, кофе выпьете? – спрашивает Кристина, преодолевая смущение.

– Да, Кристль, – говорит зять, – чего-нибудь горяченького теперь в самый раз. Только поторопись, долго мы ждать не может, в пять – поезд.

Закурив сигару, он облегчено вздыхает. Этот добродушный и веселый муниципальный чиновник, служа фельдфебелем в армейском обозе, наел себе брюшко, округлившееся еще стремительнее в мирную пору; уютно он чувствует себя только без пиджака и только дома. На похоронах он держался строго, с подобающе печальным лицом, что было нелегко. Теперь же, немного расстегнув траурный сюртук, который придавал ему какой-то маскарадный вид, он уселся поудобнее.

– Все-таки хорошо, что мы не взяли детей. Хоть Нелли и считает, что внуки непременно должны быть на похоронах бабушки – полагается, мол, – но я ей сказал: такие грустные вещи детям показывать нельзя, они этого еще не понимают. Да и поездка в оба конца стоит кучу денег, а при нынешней дороговизне...

Кристина судорожно вертит ручку кофейной мельницы. Прошло всего пять часов, как она приехала, а уже, наверное, в десятый раз слышит проклятое, ненавистное "слишком дорого". Фуксталер говорил, что было бы слишком дорого приглашать главного врача из Санкт-Петербургской больницы, он все равно ничем бы не помог; невестка говорила, что надгробный крест из камня не стоит заказывать, обойдется слишком дорого; сестра то же самое сказала о панихиде, а теперь вот и зять – о поездке. Все беспрерывно твердят это слово, оно назойливо барабанит по ушам, как дождь по крыше, унося радость. И ей придется теперь слушать это изо дня в день: слишком дорого, дорого, дорого... Кристина яростно крутит ручку, срывая злость на хрустящей зернами мельнице: уехать бы только отсюда, чтобы ничего не слышать и не видеть!

За столом в ожидании кофе пытаются завязать разговор. Столяр из Фаворитена, что женился на вдове брата, сидит, скромно потупившись, среди полуродственников – он вообще не был знаком с покойной; разговор вяжется с трудом, то и дело спотыкаясь о вопросы и ответы, будто о камни на дороге.

Наконец кофе готов, Кристина ставит четыре чашки (больше в доме нет) и снова отходит к окну. На нее угнетающе действует сконфуженное молчание гостей, то странное молчание, за которым все неловко прячут одну и ту же мысль.

Кристина знает, затылком чувствует, что сейчас последует, – в прихожей видела, что каждый принес по два пустых рюкзака, – она знает, что сейчас начнется, и омерзение сдавливает ей горло.

И вот раздается приветливый голос зятя:

– Собачья погода! А Нелли, по рассеянности конечно, не захватила зонтик. Может, выручишь, Кристль, дашь ей материн? Или самой надо?

– Нет, не надо, – дрожа, отвечает Кристина. Ну, началось, только бы скорее, скорее!

– Вообще-то, – вступает, будто по уговору, сестра, – мне кажется, самое разумное будет сейчас и поделить мамины вещи, а? Кто знает, когда мы соберемся опять вчетвером, ведь у Франца столько дел по службе, и у вас ведь (она обращается к столяру), наверно, тоже. А еще раз ехать сюда ради этого вряд ли стоит, да и тратиться опять же. Давайте прямо сейчас и поделим, не возражаешь, Кристль?

– Конечно нет. – Голос у Кристины вдруг становится хриплым. – Только прошу, делите все между собой, все! У вас дети, мамины вещи вам больше пригодятся, мне ничего не надо, я ничего не возьму, делите между собой.

Отперев сундук, она вытаскивает несколько поношенных платьев и кладет – другого места в тесной мансарде нет – на кровать умершей (вчера постель была еще теплой). Наследство невелико: немного постельного белья, старый лисий мех, штопаное пальто, плед, трость с рукояткой из сло-

новой кости, венецианская брошь, обручальное кольцо, серебряные часики с цепочкой, четки и эмалевый медальон из Марицелля, затем чулки, ботинки, войлочные туфли, нижнее белье, старый веер, мягкая шляпка и захватанный молитвенник. Все вынула, ничего не забыла, все заложенное и перезаложенное старье – его было так мало у матери, и быстро отошла к окну.

За ее спиной обе женщины тихо переговариваются, оценивают, делят.

Сестра откладывает свое направо, невестка – налево, между ними на кровати умершей остается незримая пограничная межа.

Кристина, глядя на дождь, тяжело дышит. Ее обостренный слух улавливает перешептывания торгующихся родственниц, хотя стоит спиной к кровати. К жгучему гневу, обуревающему ее, примешивается жалось. Какие же они бедные, убогие и даже не подозревают об этом. Делят хлам, которого иные побрезговали бы коснуться ногой; старые отрезы фланели, изношенные туфли – и все это нелепое барахло для них драгоценность! Ну что они знают о настоящей жизни? Понятия не имеют! А может, так лучше – не понимать, как ты беден, как отвратительно, как позорно беден и жалок!

Зять подходит к ней.

– Что поделаешь, Кристль... Но так же нельзя, ты ничего не берешь. Ну что-нибудь должна ж ты оставить себе в па-

мать о матери... хотя бы часы или цепочку?

– Нет, – твердо отвечает она, – ничего не хочу и не возьму. У вас дети, им нужнее. А мне не надо. Мне вообще ничего больше не надо.

Потом, когда она обернулась, все уже было поделено, сестра и невестка запихали свои доли в рюкзаки – лишь теперь умершую похоронили окончательно.

Гости топчутся в комнате, смущенные, даже слегка пристыженные; они рады, что так быстро и в согласии уладили щекотливое дело, и все же чувствуют себя не очень уютно. Перед уходом надо бы сказать что-нибудь этакое торжественное, как-то загладить неловкость происшедшего и вообще потолковать по-родственному. Наконец, вспомнив, зять спрашивает Кристину:

– Да, а ведь ты не рассказала, как там было, в Швейцарии?

– Прекрасно, – выдавливает она сквозь зубы.

– Еще бы, – вздыхает Франц, – вот бы разок съездить туда и вообще постранствовать! Но с женой и двумя детьми об этом и мечтать нечего, дороговато, тем более в такие шикарные места. Сколько там в отеле за сутки берут?

– Не знаю. – Кристина чувствует, что силы ее на исходе, вот-вот она сорвется. Хоть бы скорей ушли, хоть бы скорей!

К счастью, зять смотрит на часы.

– Ого, пора по вагонам. Кристль, давай без лишних церемоний, провожать нас незачем, при такой погоде-то. Оставайся дома, лучше как-нибудь навестишь нас в Вене. Теперь,

после смерти матери, надо держаться вместе!

– Да, да, – нетерпеливо отвечает Кристина и провожает их до двери.

Деревянная лестница скрипит под тяжелыми шагами, каждый что-то тащит за плечами или в руках. Наконец-то ушли. Едва за ними закрылась дверь, Кристина рывком распахнула окно. Она задыхалась от запаха табачного дыма, сырой одежды, запаха страхов, тревог и стонов больной старухи, омерзительного запаха бедности. Какая пытка – жить здесь, да и зачем, для кого? Для чего вдыхать это день за днем, зная, что где-то там есть другой мир, настоящий, что и в ней самой живет другой человек, который задыхается, словно отравленный этим чадом. Не раздеваясь, она бросилась ничком на кровать и вцепилась зубами в подушку, чтобы не разреветься от жгучей бессильной злобы.

Она вдруг возненавидела всех и все, и себя, и других, богатство и нищету, всю тяжелую, невыносимую и непонятную жизнь.

– Надутая индюшка, дура! – Владелец мелочной лавки Михаэль Пойнтнер с треском захлопывает за собой дверь. – Это ж неслыханно, что она себе позволяет, нахалка. Вот гадюка.

– Ну, ну, не заводись, улыбается пекарь Гердличка, под-

живавший Пойнтнера на улице перед почтовой конторой, –
Какая тебя муха укусила?

– Вот именно, муха. Такой нахалки, такой стервы еще свет не видывал.

Каждый раз к чему-нибудь да прицепится. То одно ей не так, то другое. Лишь бы придраться и гонора свой показать. Позавчера ее не устроило, что я заполнил накладную к посылке чернильным карандашом, а не чернилами, сегодня расшумелась, что не обязана принимать плохо упакованные посылки, что ответственность, мол, несет она. Да на черта мне ее ответственность, я отправил отсюда, клянусь, уже тысячу посылок, когда эта дура еще сопливой девчонкой бегала. А каким тоном она разговаривает, все свысока, с манерами, "по-книжному", все норовит показать, будто наш брат дерьмо против нее. Да соображает она, с кем имеет дело? Нет уж, хватит. Я ей не игрушка.

Толстяк Гердличка усмешливо щурится.

– А может, ей как раз с тобой и охота поиграть, мужчина ты что надо. У этих засидевшихся девок не разберешь. Нравишься ей, вот она и кочевряжится.

– Не валяй дурака, – ворчит лавочник, – я не первый, с кем она этак "крутит". Вчера мне управляющий с фабрики рассказал, как она его отбрила только за то, что он малость пошутил. "Как вы смеете, я здесь на службе", – будто он мальчик на побегушках. Бес в нее вселился, не иначе. Но уж я его выгоню, будь покоен. Заставлю эту гордячку сменить тон, а

не сменит, такое ей устрою... даже если мне придется пешком топтать отсюда в Вену, к директору почт.

Он прав, добрый Пойнтнер, что-то действительно случилось с почтаркой Кристиной Хофленер, вот уже две недели как об этом все село судачит. сперва помалкивали – господи, ведь у бедняжки умерла мать, – все понимали: тяжело ей, удар-то какой. Священник заходил к ней два раза, Фуксталер каждый день справлялся, не нужна ли какая помощь, соседка вызвалась посидеть с Кристиной вечерами, чтобы ей не было так одиноко, а хозяйка "Золотого быка" даже предложила переехать к ней и столоваться у нее же, в трактире, вместо того чтобы мыкаться с хозяйством. Но Кристина никому даже толком не ответила, и каждый понял: с ним не хотя иметь дела. что-то стряслось с почтаркой Кристиной Хофленер – она больше не ездит, как прежде, раз в неделю на спевку хора, объясняет, что охрипла; уже три недели не ходит в церковь, даже панихиду по умершей не заказала; Фуксталеру, когда тот предлагает почитать ей вслух, говорит, что у нее разболелась голова, а если он приглашает на прогулку, отвечает, что устала. Она теперь ни с кем не общается, а когда бывает в лавке, то ведет себя так, будто спешит на поезд; если прежде у себя в конторе была услужлива и любезна, то теперь стала резка и придиричива.

Что-то с нею произошло, она и сама чувствует. Словно кто-то тайком, во вне, накапал ей в глаза что-то горькое, злое, ядовитое – таким видится ей теперь мир, отвратитель-

ным и враждебным. Утро начинается с раздражения. Как только она открывает глаза, взгляд упирается в закопченные балки мансарды.

Все в комнате – старая кровать, одеяло, плетеный стул, умывальник, треснувший кувшин, облезлый ковер, дощатый пол, – все ей опротивело, хочется закрыть глаза и снова погрузиться в сон. Но будильник не дает, сверля звоном уши. Она с раздражением встает, с раздражением одевается – старое белье, постылое черное платье. Под мышкой дыра, однако ее это не волнует. Она не берег иголку, не штопает. Зачем, для кого? Для здешних деревенских увальней она еще слишком хорошо одета. Ладно, скорее прочь из ненавистой мансарды, в контору.

Но и контора теперь не та, что была, не то равнодушно-спокойное помещение, в котором медленно, на бесшумных колесиках, бежит время. Когда Кристина, повернув ключ, входит в невыносимо тихую комнату, которая словно подкарауливает ее, она всякий раз вспоминает фильм под названием "Пожизненно", что видела год назад. Особенно ту сцену, где тюремный надзиратель в сопровождении двух полицейских вводит в камеру арестанта; надзиратель – бородатый, суровый и неприступный, арестант – тщедушный, дрожащий парень, камера – голая, с решеткой. Тогда, в кино, у Кристины, да и у других зрителей, мороз по коже прошел, и теперь она снова ощутила эту дрожь: ведь она сама – тюремщик, и арестантка в одном лице. Впервые она обра-

тила внимание, что и здесь зарешеченные окна, впервые голые побеленные стены казенного помещения показались ей стенами тюремной камеры. Все предметы обрели какой-то новый смысл, хотя она тысячу раз видела стул, на котором сидела, тысячу раз – стол в чернильных пятнах, где сложены бумаги и почтовые принадлежности, тысячу раз – матовое стекло, которое она понимает к началу рабочего дня. И стенные часы она видит будто впервые, отмечая, что стрелки не убегают куда-то в сторону, а ходят только по кругу – от двенадцати к единице, от единицы к двойке и опять к двенадцати, затем опять от единицы к двойке и обратно к двенадцати, по одному и тому же кругу, не удаляясь ни на шаг; от завода до завода часы несут бессменную вахту и никогда не увидят свободы, замурованные навеки в прямоугольный коричневый футляр. И когда Кристина в восемь утра садится за рабочий стол, она уже чувствует усталость – не от какой-то проделанной работы, а от того, что еще предстоит, все те же лица, те же вопросы, те же операции, те же деньги.

Ровно через четверть часа седой, всегда веселый Андреас Хинтерфельнер принесет почту для сортировки. Раньше она делала это механически, а теперь подолгу разглядывает конверты и открытки, особенно те, что адресованы в замок графине Гютерсхайм. У той три дочери, одна замужем за итальянским бароном, другие две незамужние и разъезжают по свету. Последние открытки из Сорренто: лазурное море, сверкающими заливами глубоко врезавшееся в берега.

Адрес: отель "Рим". Кристина ищет отель на открытке (окна своего номера молодая графиня пометила крестиком) – ослепительно белое здание с широкими террасами, вокруг сады, шпалеры апельсиновых деревьев. Кристина невольно воображает, как хорошо там прогуляться вечером, когда с моря веет синей прохладой, а нагретые за день камни отдают тепло, хорошо бы там прогуляться с...

Но работа не ждет, не ждет. Вот письмо из Парижа. Кристина сразу догадывается, от кого – от дочери господина... О ней мало кто хорошо говорит. Сначала вроде путалась с каким-то богатым евреем, нефтепромышленником, потом была где-то наемной партнершей для танцев и, возможно, кое для чего еще, а сейчас у нее опять кто-то завелся; да, письмо из отеля "Морис", шикарнейшая бумага. С раздражением Кристина швыряет письмо на стол. Теперь журналы. Те, что адресованы графине Гютерсхайм, она откладывает. "Дама", "Элегантный мир" и другие модные журналы с картинками – ничего не случится, если госпожа графиня получит их вечером. Когда в конторе нет посетителей, Кристина извлекает журналы из оберток и листает их, рассматривая одежду, фотографии киноартистов и аристократов, ухоженные виллы английских лордов, автомашины знаменитых художников. Она вдыхает все это словно аромат духов, вспоминает своих знакомцев, с любопытством глядит на женщин в вечерних платьях и почти со страстью – на мужчин, этих избранных с отполированными роскошью или озаренными

умом лицами, с дрожью в руках она закрывает журналы, потом снова листает их, и в глазах ее попеременно отражаются любопытство и злоба, наслаждение и зависть при виде мира, который еще близок и уже так далек.

Всякий раз она испуганно вздрагивает, когда ее соблазнительные видения прерываются топотом тяжелых башмаков и перед окошком появляется какой-нибудь крестьянин с сонными воловьими глазами, с трубкой в зубах и просит почтовых марок; вот тут-то Кристина, сама того не ожидая, взрывается и кричит на оторопевшего беднягу: "Читать умеете? Здесь запрещено курить!" – или бросает ему в лицо еще какую-нибудь грубость.

Это происходит помимо ее воли, она просто вымещает на первых встречных свою злость на весь мир с его мерзостью и подлостью. После она стыдится этого. Они ж не виноваты, бедняги, в том, что такие некрасивые, неотесанные, чумазые от работы, погрязшие в деревенской трясине, думает она, ведь я сама такая же. Удар, нанесенный Кристине, в силу вечного закона инерции как бы передается дальше, и вот на единственном посту, где почтарка обладает крохотной властью, в этой убогой конторке она разряжает свой гнев на невиновных. Там, в другом мире, пробудившаяся в ней потребность самоутверждения питалась вниманием и домогательствами поклонников, здесь же эту потребность она могла утолить, лишь когда пускала в ход частицу власти, какой обладала по должности. Она понимает, что важничать перед

этими добрыми простыми людьми убого и низко, но, всплыв хоть на секунду, тем самым дает себе разрядку. А злобы скопилось столько, что если не представляется случая выплескивать ее на людей, то Кристина вымещает ее на неодушевленных предметах. Не вдевается нитка в иглоку – она рвет ее, застрял выдвинутый ящик – с грохотом вгоняет его в стол; почтовая дирекция прислала не те товарные накладные – она, вместо того чтобы вежливо указать на ошибку, шлет письма, полное возмущения и негодования; если ее сразу не соединяют по телефону – она грозит коллеге, что немедленно подаст на нее жалобу. Грустно все это, она сама ужасается происшедшей в ней перемене, но ничего с собой поделаться не может, ей надо как-то избавиться от переполняющей ее злобы, иначе она задохнется.

После работы Кристина спешит домой. Раньше она часто прогуливалась с полчаса, пока мать спала, беседовала с лавочницей, играла с детьми соседки, а теперь запирается в четырех стенах, сажая на цепь свою враждебность к людям, чтобы не бросаться на них как злая собака. Она больше не в силах видеть улицу, где вечно одни и те же дома, вывески и физиономии.

Ей смешны бабы в широких ситцевых юбках, с высокими взбитыми прическами, с аляповатыми кольцами на руках, нестерпимы мужики, пыхтящие, толстобрюхие, и всего противнее парни, которые на городской манер помадят волосы; невыносим трактир, где пахнет пивом и скверным та-

баком и служанка – ядрена девка – глупо хихикает и краснеет, когда помощник лесничего и жандармский вахмистр отпускают сальные шутки или дают волю рукам. Кристина предпочитает сидеть дома взаперти, не зажигая света, чтобы не видеть опостылевших вещей. Сидит молча и думает все время об одном и том же. Ее память с удивительной силой и ясностью рисует нессчетные подробности, которых она там, в круговерти, толком не разглядела. Она вспоминает каждое слово, каждый взгляд, воскрешает с поразительной остротой вкус каждого блюда, которое отведала, аромат вина, ликера. Вызывает в воображении ощущение легкого шелкового платья на голых плечах и мягкость белоснежной постели. Оживляет в памяти множество мелочей: как однажды маленький американец упорно следовал за ней по коридору и в поздний час стоял перед ее дверью, как немочка из Мангейма нежно проводила пальцами по ее руке... Кристина вздрагивает, словно от ожога, – где-то она слышала, что женщина может влюбиться и в женщину. Восстанавливая час за часом каждый тогдашний день, она только сейчас осознает, сколько непредвиденных и неиспользованных возможностей тайло в себе то время.

Так вечерами сидит она в одиночестве, переносясь мыслями в недавнее прошлое, вспоминает, какой была, понимая, что сейчас уже не такая, и ей не хочется этого знать, но тем не менее она это знает. Когда стучат в дверь – это Фуксталер уже не раз пытается ее навестить, – она, затаив

дыхание, не двигается с места и облегченно переводит дух, услышав его гаги, удаляющиеся по скрипучей лестнице; мечты – единственное, что у нее осталось, и она не желает с ними расставаться. Намечтавшись до изнеможения, Кристина ложится в постель, и сразу ее, отвыкшую от холода и сырости, пробирает дрожь; она так мерзнет, что укрывается поверх одеяла еще платьем и пальто. Засыпает она не скоро, спит беспокойно, тревожно, и снится ей все один и тот же кошмарный сон: будто она мчится в автомашине по горам, вверх, вниз, мчится с жуткой скоростью, ей и страшно и весело, а рядом, обняв ее, сидит мужчина – то инженер-немец, то кто-то другой. Потом вдруг она с ужасом обнаруживает, что сидит совершенно голая, машина остановилась, их обступили какие-то люди и смеются, она кричит на спутника, чтобы завел мотор, – давай быстрее, быстрее! – наконец мотор заводится, его шум сладостно отзывается в сердце, и ее охватывает чувство восторга, они совсем низко летят над полями, в темный лес, и она уже не голая, а он все крепче прижимает ее к себе, так крепко, что она стонет и, кажется, теряет сознание.

Тут она просыпается, обессиленная, смертельно усталая, все у нее болит, и видит мансарду, закопченные червоточные балки с паутиной по углам, и лежит не отдохнувшая, опустошенная, пока не зазвенит будильник, этот безжалостный вестник утра; она слезает с постылой старой кровати, влезает в постылую старую одежду, вступает в постылый день.



Целый месяц Кристина пребывает в состоянии болезненной раздраженности и вынужденного уединения. Больше она не выдерживаете – чаша грез исчерпана, каждая секунда той жизни пережита вновь, прошлое не придает сил. Измученная, с постоянной головной болью, она ходит на работу, выполняя ее механически, в полудреме. Вечером сон не идет к ней, безмолвие мансардного гроба не для ее натянутых нервов, горячему телу неуютна холодная постель. Терпение ее иссякло. Неодолимым становится желание хоть раз увидеть из окна не осточертевшую вывеску "Золотого быка", а что-нибудь другое, поспать на другой кровати, встретиться с чем-то новым, стать хоть на несколько часов другой. И внезапно она решается: вынимает из ящика стола две стофранковые купюры, которые достались ей от дядиногo выигрыша, берет свое самое хорошее платье, самые хорошие туфли и в субботу сразу после службы отправляется на станцию, где покупает билет до Вены.

Она не знает, зачем едет в город, не знает точно, чего хочет. Только бы вырваться отсюда, из села, со службы, удрать от самой себя, от человека, обреченного прозябать в этой глуши. Только бы опять услышать стук вагонных колес, увидеть огни, других людей, ярких нарядных. Лучше опять хоть раз поймать удачу, чем быть пригвожденной, как доска в за-

боре. Двигаться, почувствовать жизнь, почувствовать себя – другой.

В семь часов приехав в Вену, она оставила чемоданчик в небольшом отеле на Мариахильферштрассе и еще успела до закрытия в парикмахерскую. Ею овладела охота повториться, сделать то же, что и тогда, вспыхнула сумасбродная надежда, что с помощью искусных рук и румян она еще раз преобразится в ту, которой была. Снова она ощущает теплые, влажные дуновения, и проворные пальцы нежно прикасаются к ее волосам, ловкий карандаш вычерчивает на бледном, усталом лице прежние губы, столь желанные и целованные, немного румян освежает щеки, темноватая пудра воскрешает воспоминание об энгадинском загаре. Когда Кристина, окутанная ароматным облаком, встает, она ощущает в ногах прежнюю твердость. Теперь она шагает по улице выпрямившись, с достоинством. Будь на ней подходящее платье, она чувствовала бы себя, пожалуй, прежней фройляйн фон Болен. Сентябрьским вечером еще светло, сейчас хорошо идти по вечерней прохладе, и порой Кристина замечает, что на нее с интересом поглядывают. Я еще живу, вздыхает она радостно, еще живу. Время от времени она останавливается у витрин, рассматривая меха, одежду, обувь, и в стекле отражаются ее горящие глаза. А может, все еще вернется, думает она, взбодрившись. по Мариахильферштрассе она выходит на Ринг, ее взгляд все больше светлеет при виде людей, которые, беззаботно болтая, прогуливаются здесь.

Это они, думает она, и отделяет меня от них лишь тонкий слой воздуха. Где-то есть невидимая лестница, по которой надо подняться, сделать только один шаг, один-единственный. У Оперы она останавливается; судя по всему, скоро начало спектакля, подкатывают машины – синие, зеленые, черные, сверкающие стеклами и лаком. У подъезда их встречает служитель в ливрее. Кристина входит в вестибюль, чтобы посмотреть на публику. Странно, в газетах пишут в венской культуре, думает она, о любящих искусство венцах, об Опер, которую они создали, а я, почти всю жизнь прожившая в этом городе, за двадцать восемь лет здесь впервые, да и то в "прихожей". Из двух миллионов, наверное, не больше ста тысяч ходят в Оперу, остальные только читают о ней в газетах, слушают чьи-то рассказы, видят на картинках, но сами так никогда и не бывают здесь. А кто же эти, другие? Она разглядывает женщин взволнованно и не без возмущения. Нет, они не красивее меня, я тогда выглядела лучше, и походка у них не легче, не свободнее, вот только одежда и что-то еще невидимое, придающее им уверенность. Нужно сделать лишь шаг, один-единственный шаг, и ты поднимешься с ними по мраморной лестнице в ложу, в золотой шатер музыки, в мир беззаботных, в мир наслаждения.

Звонок – опаздывающие, снимая на ходу пальто, спешат к гардеробам.

Вестибюль пустеет, все там, в зале, перед нею опять встает невидимая стена.

Кристина выходит на улицу. Над Рингом белыми лунами парят фонари, на тротуарах еще многолюдно. Поток прохожих влечет ее дальше по бульварному кольцу. У какого-то большого отеля она останавливается, словно притянутая магнитом. Только что сюда подъехала машина, выскочившие из отеля бои-носильщики подхватывают чемоданы и сумку у прибывшей дамы восточной наружности, дверь-вертушка поглощает их. Кристина не в силах двинуться с места, эта дверь гипнотизирует ее, ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть вожаемый мир хотя бы на минутку. Ничего не случится, думает она, если войду и спрошу портье, приехала ли госпожа ван Болен из Нью-Йорка, ведь такое вполне возможно. Только взглянуть, не больше, еще раз все вспомнить, хорошенько вспомнить, на секунду опять почувствовать себя другой. Она входит, портье, занятый прибывшей дамой, не замечает Кристины, и она беспрепятственно идет через вестибюль, рассматривая публику. В креслах, беседуя и дымя сигаретами, сидят господа в хорошо сшитых, элегантных дорожных костюмах или смокингах, в изящных лаковых туфлях. В нише расположилась целая компания: три молодые женщины громко разговаривают по-французски с двумя молодыми людьми, то и дело звучит смех, беспечный, нестесненный смех – музыка беззаботности, упивающейся самой собою. Позади их ждет просторный зал с мраморными колоннами – ресторан. Официанты во фраках стоят у дверей на страже. Можно зайти поужинать, думает Кристина и

машинально ощупывает сумку – там ли кошелек с двум сто-
франковыми бумажками и семьюдесятью шиллингами. Ко-
нечно, можно, а сколько это будет стоить? Зато еще раз по-
сидеть в таком вот зале, где за тобой ухаживают, восхищаю-
ся, балуют, послушать музыку – да, оттуда в самом деле до-
носится музыка, легкая и негромкая. Но в ней опять ожива-
ет знакомый страх: у нее нет платья, нет талисмана, который
раскроет перед ней эту дверь. Мимолетное чувство уверен-
ности исчезает, и опять внезапно вырастает незримая пре-
града, магическая пентаграмма страха, которую она не осме-
ливается переступить.

Вздрогнув, она быстро, словно убегая от погони, выходит
из отеля. Никто не взглянул на нее, никто не остановил, и
оттого, что ее просто не заметила, она чувствует себя еще
более неуютно, чем когда вошла сюда.

И опять она шагает по улице. Куда пойти? Да и зачем я,
собственно, иду?

Улицы постепенно пустеют, ее обгоняют прохожие, вид-
но, торопятся к ужину.

Зайду в ресторан, решает Кристина, но не в такой шикар-
ный, а куда-нибудь попроще, где светло, где обычные люди
и где на меня не будут коситься.

Вскоре она находит такое заведение и садится за свобод-
ный столик. Никто не обращает на нее внимания. Официант
приносит ей заказанные блюда, она что-то жует, безучастно
и раздраженно. И для этого я пришла, думает она, ну что

здесь делать? Сидеть и смотреть на белую скатерть? Нельзя же все время есть, что-то еще заказывать, рано или поздно придется встать и идти дальше. Но куда? Всего лишь девять часов. К ее столику подходит разносчик газет – уже разнообразие, предлагает вечерние выпуски, она покупает две-три газеты, не для того чтобы читать, а просто поглядеть и сделать вид, будто занята, будто кого-то ждет. Она равнодушно просматривает новости. Какое ей дело до трудностей при формировании правительственного кабинета, до кражи с убийством в Берлине, биржевых сводок, что ей эта болтовня о солистке Оперы: останется ли она в труппе или нет, будет ли выступать двадцать или семьдесят раз в год – я все равно никогда ее не услышу. Уже отложив газету, она замечает на последней странице крупный заголовок: "Развлечения – куда пойти сегодня вечером", а ниже объявления театров, танцбаров, кабаре. Она снова берет газету и читает: "Танцевальная музыка – кафе "Оксфорд"", "Сестры Фредди – бар "Карлтон"", "Капелла венгерских цыган", "Знаменитый негритянский джаз-банд, открыто до трех утра, рандеву с лучшим венским обществом!" Может, еще раз побывать там, где развлекаются, потанцевать, сбросить невыносимый панцирь, сковывающий грудь? Она записывает адреса двух заведений – оба недалеко отсюда, как ей сказал официант.

Она сдает в гардеробе пальто и сразу чувствует себя легче, избавившись от надоевшего чехла. Снизу, из полуподвала, доносится быстрая, четкая музыка, Кристина спускает-

ся по ступенькам в бар. Увы, разочарование: здесь еще почти пусто. Оркестр – полдюжины парней в белых куртках – старается вовсю, словно хочет насильно заставить пуститься в пляс нескольких нерешительных посетителей, сидящих за столиками. Но на квадратной площадке одно-единственная пара: явно наемный партнер – чуть подведенные веки, чуть-чуть слишком тщательно причесан, чересчур броски заученные па – без воодушевления снует вдоль средней линии со здешней "дамой".

Из двадцати столиков четырнадцать-пятнадцать пустуют. За одним сидят три дамы определенной профессии: одна с обесцвеченными до пепельного цвета волосами, вторая в весьма мужской экипировке – черное платье и облегающий жилет, похожий на смокинг, третья – жирная, грудастая еврейка, медленно потягивающая виски через соломинку. Все три, смерив наметанным взглядом Кристину, тихо посмеиваются и перешептываются, по своему многолетнему опыту они принимают ее за новенькую или провинциалку. Мужчины, сидящие врозь за столиками, по-видимому, коммивояжеры, у них усталый вид, они плохо побриты, перед каждым чашка кофе или рюмочка шнапса, сидят развалившись и словно ждут чего-то, что поможет им встряхнуться. Когда Кристина вошла в зал, ей показалось, будто она ступила в пустоту. Захотелось повернуть назад, но к ней тотчас услужливо подбегает официант, спрашивает, куда барышне угодно сесть, она садится за первый попавшийся столик и ждет,

как и другие, в этом невеселом увеселительном заведении чего-то, что должно произойти и не происходит. Лишь раз один посетитель (в самом деле представитель пражской текстильной фирмы) неуклюже поднялся со стула и, пригласив Кристину, потоптался с ней под музыку, а потом отвел ее на место: то ли решимости не хватило, то ли не было охоты, но он почувствовал в этой незнакомке какую-то половинчатость – что-то странное и нерешительное, колеблющееся между желанием и нежеланием, в общем, для него слишком сложный случай (учитывая, что в шесть тридцать утра надо ехать дальше, а Аграм). Тем не менее Кристина сидит здесь уже час. Двое недавно вошедших мужчин подсели к "дамам", только она по-прежнему в одиночестве. Она вдруг позывает официанта, расплачивается и уходит прочь, озлобленная, отчаявшаяся, провожаемая любопытными взглядами.

Опять улица. Поздний вечер. Она идет, не зная куда. Ей сейчас все равно. Безразлично, бросят ли ее в Дунайский канал, когда ее задавит машина (это едва не случилось только что при переходе улицы). Ей вдруг показалось, что полицейский как-то странно взглянул на нее и даже было направился к ней, будто собираясь что-то просить, и она подумала, что ее, наверное, приняли за одну из этих самых женщин, которые медленно выходят из сумрака и заговаривают с мужчинами. Она идет дальше и дальше. Пожалуй, вернусь-ка в гостинцу, думает она, что тут делать? Неожиданно она слышит шаги за спиной.

Рядом возникает чья-то тень, мужчина смотрит Кристине в лицо.

– Уже домой, фройляйн, так рано?

Она молчит. Но он не отступает, продолжая настойчиво и весело уговаривать. Не согласна ли она куда-нибудь заглянуть? Кристина ловит себя на том, что ей приятно его слушать.

– Нет, ни в коем случае.

– Но кто же в такое время идет домой? Только в кафе.

В конце концов она соглашается, лишь бы не оставаться одной. Славный парень, думает она, сказал, что служит в банке... наверняка женат, вон и кольцо на руке. Ах, все равно, ей ничего не надо от него, просто не хочется сейчас быть одной, пусть рассказывает анекдоты, можно и послушать вполуха.

Время от времени она разглядывает его: не первой молодости, под глазами морщины, лицо усталое, и вообще вид такой же поношенный и помятый, как у его костюма. Но болтает очень мило. Впервые она опять разговаривает с человеком, вернее, выслушивает его и все же понимает: это не то, чего ей хочется. Его веселость отдается в ней какой-то болью. Да, кое-что из его рассказов забавно, однако она чувствует, что горечь прежней озлобленности еще дает о себе знать, и постепенно в ней зреет что-то вроде ненависти к этому незнакомцу, который рад и беззаботен, в то время как ей гнев застит глаза.

Когда они выходят из кафе, он берет ее под руку и прижимает к себе. Точно так же, как сделал тогда, перед отелем, другой человек, и волнение, охватившее Кристину, вызвано не сегодняшним разговорчивым кавалером, а воспоминанием о том, другом. Внезапно она почувствовала страх. Ведь она, чего доброго, может поддаться первому встречному, который вовсе ей не нужен, уступить только лишь от злости, оттого, что иссякло терпение... Увидев приближающееся такси, она вдруг резко взмахивает рукой и, вырвавшись от озадаченного кавалера, ныряет в машину.

Позднее она долго лежит без сна на гостиничной койке, прислушиваясь к уличному шуму, к проезжающим машинам. Конечно, туда уже не вернуться, невидимый барьер не перешагнуть. Кристине не спится, она то и дело тяжело вздыхает, сама не зная о чем.

Воскресное утро тянется так же долго, как и беспокойная бессонная ночь.

Большинство магазинов закрыты, соблазны их спрятаны за опущенными жалюзи.

Чтобы убить время, Кристина идет в кафе и сидит там, листая газеты. Она уже забыла, что предвкушала, отправляясь в Вену, зачем приехала сюда, где ее никто не ждет, где она никому не нужна. Вспомнила только, что надо бы навестить

сестру и зятя, ведь обещала, неудобно не зайти. И лучше всего сделать это после обеда, ни в коем случае не раньше, а то еще подумают, что нарочно пришла к накрытому столу. Сестра так изменилась с тех пор, как у нее появились дети, дрожит над каждым куском. Еще есть часа два-три, можно погулять. На Ринге, у картинной галереи, Кристина видит объявление, что вход сегодня бесплатный; она равнодушно бродит по залам, присаживается на бархатные скамейки, разглядывает публику. Потом снова шагает по улице, заходит в кокой-то парк, и чувство одинокости в ней становится все сильнее и сильнее. Когда же наконец в два часа она подходит к дому зятя, то чуть не валится с ног от усталости, словно полдня тащила по сугробам. И прямо у ворот неожиданно встречает все семейство; сестра, зять, дети – все нарядно, по-воскресному одеты и все искренне (к удовольствию Кристины) рады ее приходу.

– Вот это да, ну и сюрприз! А я еще на той неделе говорил жене, надо бы ей написать, чего она не показывает, и вот... Что ж ты не пришла к обеду? ну ладно, мы собрались в Шенбрунн, хотим показать детям зверушек, да и прогуляемся заодно, день-то какой... Идем с нами.

– С удовольствием, – соглашается Кристина.

Хорошо, когда знаешь, куда идти. Хорошо, когда ты с людьми. Нелли ведет детишек, а Франц, взяв под руку Кристину, развлекает ее всякими историями.

Он говорит без умолку, широкое лицо лучится доброду-

шим; издалека видно, что живется ему неплохо, что он доволен жизнью и собой. Еще не дойдя до трамвайной остановки, зять успел под большим секретом сообщить ей, что завтра его выберут председателем районного бюро, но ведь он заслужил это – доверенным лицом в партийной организации он стал сразу же, вернувшись с войны, и если дела пойдут успешно и на ближайших выборах удастся победить католиков, то он войдет в местный совет.

Кристина любезно слушает зятя. Она всегда симпатизировала этому простому, небольшого роста человеку, обходительному и доверчивому. Ей понятно, что товарищи Франца охотно избирают его на скромную должность, он действительно этого заслуживает. И все же, поглядывая сбоку на него – краснощекого, спокойного, с двойным подбородком и брюшком, которое колышется при каждом шаге, Кристина не без испуга думает о сестре: ну как она может...

Чтобы ко мне прикасался такой мужчина – я бы не вытерпела. Но днем, среди людей с ним хорошо. У решеток зверинца в окружении детишек он сам становится ребенком. И с тайной завистью Кристина подумала, что, изводя себя несбыточными мечтами, разучилась радоваться таким простым вещам.

Наконец в пять часов (детям надо рано ложиться спать) решено возвращаться. В переполненный по-воскресному трамвай сначала впихивают детей, затем втискиваются сами. Под торопливый стук колес, сдавленная со всех сторон, Кри-

стина невольно вспоминает: ясное утро, сверкающий автомобиль, упоительно пряный воздух, ветерок, овевающий лоб и щеки, упругое сиденье, мелькающий ландшафт... В трамвайной давке, зажмурившись, она мысленно витает в далеких сферах, не замечая времени, и открывает глаза, лишь когда зять трогает ее за плечо.

– На следующей вылезаем. И сразу к нам, выпьем кофейку, на поезд еще успеешь. Погоди-ка, я первый, расчищу дорогу.

Выставив вперед локоть, он стал проталкиваться; низенькому здоровяку в самом деле удалось пробуровать узкий проход между еле-еле уступающими напору животами и спинами. И когда он уже был почти у дверей, вспыхнул скандал.

– Осторожнее, болван, локтем своим живот продавил! – крикнул, озлившись, высокий худой мужчина в плаще.

– Кто болван? – возмутился Франц. – Все слышали, все?.. Кто болван?

Человек в плаще с трудом протиснулся ближе, пассажиры с любопытством уставились на них в ожидании перебранки. Но гневный голос Франца вдруг осекся.

– Фердинанд, ты?.. Это же надо, чуть было не разругались, ну и дела!

Человек в плаще тоже изумленно улыбается. Оба смотрят друг на друга, взявшись за руки, и никак не могут насмотреться.

Кондуктор, видя затянувшуюся встречу, предупреждает:

– Господа, кому выходить, прошу побыстрее! Вагон ждать не может.

– Пошли с нами, я живу тут рядом... Это ж надо! Пошли, пошли!

Высокий, улыбаясь, кладет руку низенькому Францу на плечо.

– Конечно, Францль, конечно.

Выходят вместе. Франц шумно сопит от волнения, лицо его блестит, словно смазанное жиром.

– Это ж надо, свела нас все-таки жизнь – повстречались, уж сколько раз о тебе вспоминал, думал: напишу-ка ему, да все откладывал, откладывал, сам знаешь, как это бывает. И вот наконец встретились. Это ж надо, господи, как я рад.

Знакомый Франца тоже радуется, это заметно по тому, как у него подрагивают губы. Только он моложе и более сдержан.

– Ну ладно, ладно, Францль, – он похлопывает друга по плечу, – а теперь представь-ка меня дамам, одна из них наверняка Нелли, твоя жена, о которой ты мне так часто рассказывал.

– Да, да, конечно, извини, совсем растерялся... Господи, до чего ж я рад! – И обращаясь к Нелли:

– Это Фердинанд Барнер, ну тот самый, о котором я тебе говорил. Два года мы провели вместе в бараках, там, в Сибири. Он был единственный – да, да, Фердинанд, ты сам знаешь, – единственный порядочный парень среди всего австро-венгерского сброда, с которым мы угодили в плен, един-

ственный, с кем можно было поговорить, на кого можно было положиться...

Это ж надо!.. Чего мы стоим, пошли, не терпится послушать, что с тобой приключилось. Нет, это ж надо! Если б кто-нибудь сегодня сказал, что меня ждет такая радость... Нет, ты представь: сядь я на следующий трамвай, и мы вообще могли больше ни разу в жизни не встретиться!

Никогда еще Кристина не видела спокойного, уравновешенного зятя таким оживленным и проворным. Он чуть ли не бегом поднялся по лестнице и распахнул дверь перед своим фронтовым товарищем, который со снисходительной улыбкой принимал его восторги.

– Снимай пиджак, располагайся поудобнее, садись вот сюда, в кресло...

Нелли, кофе, водку, сигареты!... Ну-с, дай-ка я на тебя погляжу. Да-а, не помолодел и чертовски тощий. Откормить бы тебя как следует не мешало.

Гость добродушно позволял себя рассматривать, ребячливость хозяина явно была ему по душе. Суровое, напряженное лицо с выпуклым лбом и выступающими скулами постепенно смягчалось.

Глядя на него, Кристина вспомнила портрет какого-то испанского художника, который видела сегодня в галерее: такое же аскетическое, костлявое, почти бесплотное лицо с глубокими складками у рта.

Гость, улыбаясь, похлопал Франца по руке.

– Пожалуй, ты прав, нам бы с тобой опять поделиться, как тогда консервами: немного жирка можешь мне уступить, тебе не повредит, и Нелли, надеюсь, не будет против.

– Ладно, дружище, рассказывай, а то я сторю от любопытства: куда же вас тогда Красный Крест завез, я ведь попал в первый эшелон, а ты и еще семьдесят человек должны были приехать на следующий день. Мы двое суток простояли у австрийской границы. Не было угля. С часу на час ждали, что ты появишься, десять, двадцать раз ходили к начальнику станции, требовали, чтобы запросил телеграфом, но там была жуткая неразбериха, в общем, двинулись мы только на третий день, семнадцать часов тащились от чешской границы до Вены. Так что с вами стряслось?

– Ты мог бы с тем же успехом еще два ода ждать у границы, вам повезло, а нам дали от ворот поворот. Через полчаса после вашего отъезда полетели телеграммы: пути взорваны чехословацким корпусом, и нас завернули обратно в Сибирь. Не шутка, но мы не отчаивались. Думали – еще неделька-две, ну месяц.

Но что это протянется два года, никто и вообразить не мог. Из семидесяти дожили человек пятнадцать. Красные, белые, Колчак, война не затихала, нас перебрасывали то вперед, то назад и трясли, как горох в мешке. Только в двадцать первом Красный Крест вызволили нас через Финляндию. В общем, помыкались немало, и, сам понимаешь, обрасти жирком не пришлось.

– Вот незадача, ты слышишь, Нелли! И все из-за какого-то получаса. А я знать ничего не знал, понятия не имел, что приключилось такое, да еще с тобой! как раз с тобой! Ну и что же ты делал эти два года?

– Эх, дружище, если начну все рассказывать до завтра не кончу. Пожалуй, я занимался всем, чем вообще может заниматься человек. помогал косить, работал на строительстве, разносил газеты, стучал на пишущей машинке, две недели воевал за красных, когда они подошли к нашему городу, потом отправился по деревням – милостыню просил... Вспомнишь, и даже не верится, что сижу тут с вами и покуриваю.

Франц страшно разволновался.

– Нет, это ж надо! Я только сейчас понял, как мне повезло: ведь, если подумать, что ты с детьми еще два года была бы тут одна, без меня... Нет, это ж надо! Чтобы жизнь этак огрела по башке, и какого славного парня! Слава богу, хоть выкарабкался, цел и невредим.

Гость положил горящую сигарету в пепельницу и резким движением придавил ее. Его лицо внезапно помрачнело.

– Да, можно считать, что повезло, и цел, и почти невредим, вот только два пальца сломали в последний день. Да, можно считать, выпала удача, отделался легко. Случилось это в день окончательного отъезда, собрали всех, кто жив остался, на станции, самим пришлось от пшеницы товарный вагон очищать, ждать больше сил не было, всем хотелось поскорее уехать, и погрузили нас в этот вагон семьдесят чело-

век вместо сорока по норме.

Повернуться негде, и если кому приспичило по нужде... нет, при дамах не расскажешь. Но все-таки мы ехали, и на том спасибо. На следующей станции к нам подсадили еще двадцать человек. Вталкивали их прикладами, одного за другим, пятеро или шестеро уже на полу валялись – затоптали, и так вот ехали семь часов, прижатые друг к другу, кругом стонут, кричат, хрипят, вонь страшная. Я стоял лицом к стенке, изо всех сил упирался руками, чтобы грудь не продавили, два пальца сломал, на третьем сухожилие лопнуло, шесть часов стоял, полузадохнувшийся. На следующей остановке чуть полегчало – выкинули пять трупов, двоих затоптали, трое задохлись, вот так и ехали до самого вечера... Да, можно считать, повезло, два сломанных пальца и порванное сухожилие... Пустяк.

Он показал правую руку: средний палец был дряблый и не сгибался.

– Пустяк, правда? Всего один палец после мировой войны и четырех лет Сибири... Но вы не поверите, что значит один мертвый палец для живой руки.

Нельзя рисовать, если хочешь стать архитектором, нельзя печатать на машинке, нельзя браться за тяжелую работу. Как-то несчастная жилка, а на этой жилке вся карьера висит. Все равно что в проекте здания ошибиться на миллиметр – пустяк вроде, а дом может рухнуть.

Франц потрясен, то и дело беспомощно повторяет свое:

"Это ж надо! Это ж надо!" Видно, больше всего ему хочется сейчас погладить руку Фердинанда.

Женщины озабоченно и с интересом поглядывают на гостя. Наконец к Францу возвращается дар речи:

– Ну а дальше, дальше, чем ты занимался после, когда приехал?

– Тем, что еще тогда тебе говорил. Хотел продолжить техническое образование, связать нить там, где она прорвалась, в двадцать пять лет снова сесть за парту, из-за которой встал в девятнадцать. В конце концов научился рисовать левой, но тут опять кое-что помешало, тоже мелочь.

– Что именно?

– Видишь ли, в этом мире так заведено, что учение стоит немалых денег, вот как раз этой мелочи мне и не хватало... Вечно эти мелочи.

– Да, но почему вдруг? У вас же всегда водились деньги – дом в Меране, земли, трактир, мелочная лавка, табачный киоск. Сам рассказывал... И еще бабушка, которая на всем сэкономила, каждую пуговицу берегла и спала в холодной комнате, потому что жалела бумагу и лучину для растопки. Что с ней?

– Она живет в прекрасном доме, вокруг чудесный сад, я как раз ехал на трамвае оттуда, это дом для престарелых в Лайнци, поместили ее в богадельню с огромным трудом. В кроме того, у не куча денег, полная шкатулка. Двести тысяч крон... она была хорошей патриоткой и все продала – вино-

градники, трактир, лавку, – потому что не желала стать итальянкой. И все вложила в красивые, новехонькие тысячные банкноты, с такой помпой появившиеся на свет в войну. а теперь прячет их под кроватью и убеждена, что они когда-нибудь снова поднимутся в цене, что иначе быть не может: ведь то, что однажды было двадцатью или двадцатью пятью гектарами, хорошим каменным домом, добротной старинной мебелью и сорока или пятьюдесятью годами труда, не может превратиться навеки в ничто. Да, в свои семьдесят пять лет бедняга не понимает этого. Она по-прежнему верит в доброго боженьку и его земную справедливость.

Вынув из кармана курительную трубку, он быстро набил ее и начал всю дымит. В его стремительных движениях Кристина сразу почувствовала хорошо знакомую ей озлобленность – хладнокровную, жестокую, язвительную, это было приятно и как-то роднило с ним. Нелли сердито отвернулась. В ней явно росла неприязнь к пришельцу, который бесцеремонно дымит в комнате и обращается с ее мужем, как со школьником. Ее раздражала покорность мужа перед этим плохо одетым, ершистым и – она ощущала это инстинктивно – преисполненным бунтарского духа человеком, который будоражил их уютную заводь. Франц же, будто оглушенный, не отрываясь смотрит на своего товарища, добродушно и в то же время испуганно, и то и дело бормочет:

– Это ж надо! Нет, это ж надо! – Немного успокоившись, он снова задает все тот же вопрос:

– Ну а дальше, что ты потом делал?

– Да всякое. Сначала решил подрабатывать, думал, хватит на оплату лекций, но оказалось, что едва хватало на пропитание. Да, милый Франц, банки, государственные учреждения и частные фирмы отнюдь не дожидались тех мужчин, которые прихватили две лишних зимы в Сибири, а потом вернулись на родину с покалеченной рукой. Повсюду: "Сожалеею, сожалеею", повсюду уже сидели другие – с толстыми задницами и здоровыми пальцами, повсюду я с моей "мелочью" оказывался в последнем ряду.

– Но... ведь у тебя есть право на пенсию по инвалидности, ты же нетрудоспособен или трудоспособен ограниченно, тебе же должны оказать помощь, ты имеешь на это право.

– Ты полагаешь? Впрочем, я тоже так думаю. И думаю, что государство до некоторой степени обязано помочь человеку, если тот потерял дом, виноградники, один палец и вычеркнул из жизни шесть лет. Но, мой милый, а Австрии все дорожки кривые. Я тоже не сомневался, что оснований у меня достаточно, пошел в инвалидное ведомство, сказал, где и когда служил, показал палец. Но не тут-то было: во-первых, надо представить справку о том, что увечье я получил на войне или же оно является следствием войны. А это не просто, поскольку война окончилась в восемнадцатом, а палец покалечили в двадцать первом и обстановке, когда составлять протокол было некому. Ну ладно, это еще полбеда. Но вот зачем господа сделали великое открытие – да, Франц,

сейчас ты обалдеешь, – оказывается, я вовсе не австрийский подданный.

Согласно метрике, я родился в Меранском округе и подлежу его юрисдикции, а чтобы стать гражданином Австрии, мне следовало своевременно оптироваться.

– Так почему... почему же ты не оптировался?

– Черт возьми, ты задаешь мне тот же дурацкий вопрос, что и они. Будто в сибирских избах и бараках в девятнадцатом году вывешивали для нас австрийские газеты. В нашей таежной деревне мы, дорогой Франц, понятия не имели, отойдет ли Вена к Богемии или к Италии, да нам, честно говоря, было на это наплевать, нас интересовало только, как бы раздобыть кусок хлеба и избавиться от вшей. Да еще сходить в соседнюю деревню за коробком спичек или пригоршней табака – пять часов туда и обратно. Вот и оптируй там австрийское гражданство... В конце концов мне все-таки выдали бумажку, в которой значилось, что я "согласно статье шестьдесят пятой, равно как статьям семьдесят первой и семьдесят четвертой Сен-Жерменского мирного договора от десятого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года, предположительно являюсь австрийским гражданином". Готов уступить тебе эту бумажонку за пачку египетских сигарет, ибо во всех ведомствах мне не удалось выцарапать ни гроша.

Франц оживился. Ему сразу стало легче – он почувствовал, что теперь-то сумеет помочь.

– Ну, это я устрою, не сомневайся. Это мы провернем. Лично я могу засвидетельствовать твою военную службу, а депутаты – мои однопартийцы, – они уж найдут ход, и рекомендацию от магистрата ты получишь... Это мы провернем, будь уверен.

– Спасибо тебе, дружище! Но хлопотать я больше не стану, с меня хватит.

Ты даже не представляешь, сколько я приволок всяких бумаг – военных, гражданских, от бургомистра, от итальянского посольства, справку об отсутствии средств к существованию и еще бог знает что. На гербовые марки и почтовые сборы потратил больше, чем выклянчил за целый год, набегался так, что пятки до сих пор горят. В государственной канцелярии был, ходил и в полицию и в магистрат, там нет ни единого кабинета, куда бы меня не отослали, ни одной лестницы, по которой бы я не протопал вверх и вниз, ни одной плевательницы, в которую бы не плюнул. Нет, мой милый, лучше подохнуть, чем еще раз таскаться по инстанциям.

Франц растерянно смотрит на приятеля, словно тот поймал его на вранье.

Ему неловко за собственное благополучие, он чувствует себя чуть ли не виноватым.

– Да, но что же ты теперь делаешь? – спрашивает он, придвинувшись ближе к Фердинанду.

– Что придется. Пока работаю в Флоридсдорфе десятником на стойке, так – полуархитектор, полунадзиратель. Пла-

тят вполне сносно, будут держать, пока закончат строительство или же разорятся. А там что-нибудь найду, сейчас это меня не волнует. Но вот главное, о чем я тебе говорил тогда в Сибири, на нарах, о моей мечте стать архитектором, строить мосты – на том поставлен крест. Время, которое там, за колючей проволокой, прошло впустую, теперь уже не наверстать. Дверь в институт закрыта, мне ее не отпереть, ключ выбила из рук война, он остался в сибирской грязи. И хватит об этом... Налей-ка мне лучше коньяку, пить и курить – единственное, чему мы научились на войне.

Франц послушно наливает рюмку. Руки его дрожат.

– Это ж надо, нет, это ж надо! Такой парень, умный, работающий, честный, и должен так мыкаться. Это ж истинный позор! Я готов был поклясться, что ты далеко пойдешь, уж если кто этого заслужил, так это ты. Иначе и быть не может. Должно же все в конце концов образоваться.

– Должно? Я тоже так думал, все пять лет с тех пор, как вернулся.

Только "должно" – твердый орешек, не всем по зубам. В жизни ведь все выглядит немножко по-другому, чем мы учили в хрестоматии: "Будь верным и честным до гроба..." Мы не ящерицы, у которых обломленный хвост мигом отрастает. Когда отняли шесть лет жизни, Франц, шесть лучших лет – с девятнадцати до двадцати пяти – вырезали из живого тела, то становишься вроде калеки, даже если, как ты говоришь, удалось благополучно вернуться домой. Знаний у меня не

больше, чем у любого юного ремесленника или беспутного гимназиста, – с такими знаниями я нанимаюсь на работу, а выгляжу на все сорок. Нет, в плохие времена мы родились на свет, и никакой врач тут не поможет, шесть лет молодости, вырванных живьем, – кто их возместит?

Государство? Эта шайка воров и подлецов? Назови хоть одно среди ваших сорока министерство – юстиции, социального обеспечения, любое из ведомств мирных и военных дел, которое было бы за справедливость. Сначала они погна-ли нас под марш Радецкого и "Боже, храни", а теперь трубят совсем другое. Да, милейший, когда твои дела дрянь, мир выглядит не очень-то розовым.

Франц сидит подавленный. Не замечая сердитых взглядов жены, он смущенно принимается оправдывать друга:

– Вот слушаю тебя и не узнаю... Эх, посмотрели бы вы, какой он был там – добрее и талантливее его не было, единственный порядочный малый среди всего сброда. Помню, как Фердинанда привели к нам, худенький парнишка девят-надцати лет, другие на радостях чуть не плясали, что завару-ха для них кончилась, только один он был бледный от злости, что его схватили при отступлении, вытащив прямо из ваго-на, не дали довоевать и погибнуть за отечество. В первый же вечер он, помнится, стал на колени и начал молиться, такого мы еще не видали... да, на войну он попал прямо из рук пас-тора и матушки. Если кто-нибудь смеялся над императором или армией, он готов был вцепиться тому в горло. Вот таким

он был, самый порядочный, еще верил во все, что писали в газетах и в приказах по полку... а теперь вот что говорит!

Фердинанд хмуро посмотрел на него.

– Да, я верил всему, как школьник. Но вы меня отучили. Разве не вы сказали мне в первый же день, что все – обман, наши генералы ослы, а интенданты воры, что дурак тот, кто не сдался в плен? А кто был там главным агитатором? Я или ты? Кто держал речи о мировой революции и мировом социализме? кто первым взял красный флаг и отправился в офицерский лагерь срывать с офицеров кокарды? Ну-ка вспомни, вспомни! Кто вместе с красным комиссаром у губернаторского дворца обратился с речью к пленным австрийцам, говорил, что они больше не наемники императора, а солдаты мировой революции, что они поедут домой для того, чтобы разрушить капиталистический строй и создать царство порядка и справедливости? Ну и что же стало после того, как тебе снова подали твою любимую рульку с кружкой пива? Где же, позвольте покорнейше спросить, господин обер-социалист, ваша мировая революция?

Нелли резко встает и начинает возиться с посудой. Она уже не скрывает своего раздражения тем, что ее муж в собственном доме позволяет чужаку распекать его, как мальчишку. Кристина замечает, что сестра рассержена, но ей самой почему-то весело, даже хочется смеяться, глядя, как зять, будущий председатель районного бюро, сидит понурившись и смущенно извиняется.

– Мы же сделали все, что было надо. Сам знаешь, революцию начали в первый же день...

– Революцию? Да вся ваша революция выеденного яйца не стоит. На императорско-королевском балагане вы только сменили вывеску, а внутри все оставили по-старому, с покорством и почтением: господ – аккуратненько наверху, низы – точненько внизу, вы побоялись грохнуть кулаком и перевернуть все до основания. Не революция у вас получилась, а фарс Нестроя¹⁷.

Поднявшись, он в сильном волнении ходит взад-вперед по комнате, потом внезапно останавливается перед Францем.

– Не пойми меня превратно, я не из "красных". Я слишком близко видел гражданскую войну и, даже если бы ослеп, все равно этого не забуду... Одна деревня трижды переходила от красных к белым, и когда наконец красные ее взяли, то нас заставили хоронить трупы. Я собственными руками закапывал их, обугленных, искромсанных детей, женщин, лошадей – все вперемешку, вонь, ужас... С тех пор я знаю, что такое гражданская война, и предложи мне сейчас кто добыть вечную справедливость с неба такой ценой, я бы напрочь отказался.

Мне до этого больше нет дела, я не за большевиков и не против них, я не коммунист и не капиталист, меня интересует судьба только одного человека – самого себя, и единственное государство, которому я хотел бы служить, – это моя ра-

¹⁷ Нестрой, Иоганн (1801 – 1862) – австрийский комедиограф.

бота. а каким путем добьется счастья следующее поколение, мне совершенно наплевать, моя забота – наладить свою исковерканную жизнь и заняться тем, на что я способен. кода в моей жизни наступит порядок и появится свободный часок, тогда я, быть может, после ужина поразмышляю о том, как навести порядок в мире. Но сначала мне надо найти свое место. У вас есть время беспокоиться о чужих делах, у меня же – только о своих.

Франц порывается возразить.

– Да нет, Франц, я это не в укор тебе. Ты славный парень, я не сомневаюсь, что если бы ты мог, то очистил бы для меня Национальный банк и сделал бы меня министром. Знаю, ты добрый, но ведь это наша вина, наш грех, что мы были такими добрыми, такими доверчивыми, что с нами делали все что хотели. Нет, дружище, меня больше не проведешь уверениями, что, мол, другим хуже, что мне еще повезло – руки-ноги целы, без костылей бегаю... Мол, будь доволен, что дышишь и не голодный, значит, все в порядке. Нет, меня не обманешь. Я больше ни во что не верю: ни в бога, ни во что, и не поверю, пока не почувствую, что отстаю свое право, право на жизнь, а пока этого не произойдет, буду утверждать, что меня обманули и обокрали. Я не уступлю, пока не почувствую, что живу настоящей жизнью, а не довольствуюсь чужими отбросами и объедками. Тебе это понятно?

– Да!

Все удивленно поднимают глаза. "Да" прозвучало громки

и страстно.

Кристина замечает, что любопытные взгляды устремлены на нее, и краснеет.

Ведь она не собиралась говорить – только мысленно, всей душой произнесла это "да", но само собой сорвалось с языка. И вот она сидит смущенная, оказавшись неожиданно в центре внимания. Все молчат. И тут Нелли вскакивает с места. Наконец-то улучила минуту разрядить свой гнев:

– А тебя кто спрашивает? Будто ты имела какое-то отношение к войне, что ты в этом понимаешь?

Атмосфера в комнате сразу накалилась. Кристина тоже рада возможности сорвать злость:

– Ничего! Ровным счетом ничего! Только то, что мы из-за войны все потеряли. что у нас был брат, ты уже забыла, и как отец разорился – тоже, и что все пропала... все.

– Только не ты, тебе не на что жаловаться, у тебя есть хорошее место, и радуйся этому.

– Так, значит, мне надо радоваться. И еще благодарить за то, что прозябаю в жалкой дыре. Видно, тебе не очень там нравилось, если выбиралась к матери раз в год по праздникам. Все, что сказал господин Барнер, – правда. У нас украли годы жизни и ничего не дали взамен; ни минуты покоя, радости, ни отпуска, ни передышки.

– Ни отпуска? Сама была в Швейцарии, в шикарном отеле, а еще жалуется.

– Я никому не жаловалась, вот твои жалобы всю войну

только и слышала. А насчет Швейцарии... Именно потому, что я там видела, мне есть что сказать.

Только теперь я поняла... что у нас отняли... как нам исковеркали жизнь... чего мы...

Кристина вдруг почувствовала пристальный взгляд гостя и смутилась. Она подумала, что слишком уж разоткровенничалась, и сбавила тон:

– Понятно, я не собираюсь равняться с теми, кто воевал, конечно, они пережили больше. Хотя каждому из нас хватало своей доли. Я никогда не жаловалась, не ныла и никому не была в тягость. Но когда ты говоришь, что...

– Тихо, дети! Не ссорьтесь, – вмешивается Франц. – Толку от этого чуть, нам, вчетвером, уже ничего не поправить: не надо о политике, тут всегда начинаются раздоры. Поговорим о чем-нибудь другом, и, пожалуйста, не лишайте меня удовольствия. Вы не представляете, до чего мне приятно снова видеть его, даже если он ругает и поносит меня, все равно я рад.

В маленьком обществе вновь воцаряется мир.

Некоторое время все наслаждаются тишиной. Затем Фердинанд поднимается.

– Мне пора, позови-ка твоих мальчуганов, хочу еще раз на них взглянуть.

Детей приводят, они удивленно и с любопытством смотрят на гостя.

– Вот этот, Родерих, довоенный. О нем я знаю. А второй

мальш, так сказать, новенький, как его зовут?

– Иоахим.

– Иоахим! Слушай, Франц, разве его не собирались называть иначе?

Франц вздрагивает.

– Боже мой, Фердинанд! Забыл, начисто забыл. Ты подумай, Нелли, как же это у меня из головы вылетело, ведь мы обещали друг другу, что если вернемся домой, то он будет тезкой моего новорожденно, а я – его. Ну совершенно забыл.

Ты обиделся?

– Милый Франц, думаю, мы никогда больше не сможем обижаться друг на друга. В прошлом у нас было достаточно времени для ссор. Видишь ли, суть в том, что все мы забываем прошлое, увы. А может быть, это к лучшему, – он гладит мальчика по голове, взгляд его теплеет, – может, мое имя не принесло бы ему счастья.

Теперь он совершенно спокоен. После прикосновения к ребенку в его лице появилось что-то детское. Он миролюбиво подходит к хозяйке дома.

– Простите великодушно, сударыня... Увы, я оказался малоприятным гостем, видел, вам не очень нравилось, как я разговариваю с Францем. Но поймите, два года кряду мы с ним ели из одного котелка, вместе давили вшей, брили друг друга, и если после всего этого начнем расшаркиваться и делать реверансы... Когда встречаешь старого товарища, говоришь с ним так же, как говорил в былое время, и если я его

малость отчитал, стало быть, погорячился. Но он знает и я знаю... мы никогда не разойдемся. Прошу извинить, понимаю, что вам не терпится поскорее меня спровадить. Ох как понимаю!

Нелли скрывает досаду. Он сказал именно то, что она думала.

– Нет, нет, заглядывайте, всегда рада вас видеть, а Францу так хорошо с вами. Заходите как-нибудь в воскресенье, на обед, будем очень рады.

Но слово "рады" звучит не вполне искренне, и рукопожатие холодное, сдержанное. С Кристиной он прощается молча. Лишь на секунду она ловит его взгляд, пытливый и теплый. Гость направляется к двери, следом за ним Франц.

– Я провожу тебя до ворот.

Едва они вышли, как Нелли порывистыми движением распахнула окно.

– Ну и надымили, задохнуться можно, – сказала она Кристине, будто оправдываясь, и вытряхнула полную пепельницу, стукнув ею о жестяной подоконник, который отозвался таким же трескучим и резким, как голос Нелли, звуком. Кристина подумала, что, распахивая окно, сестра жаждала немедленно проветрить свой дом от всего, что вошло сюда вместе с чужаком. Она критически, словно постороннего че-

ловека, оглядела Нелли: как очерствела, какой стала тощей и сухопарой, а ведь была веселой, проворной девушкой. Все от жадности, вцепилась в мужа, как в деньги. Даже его другу не хочет уступить ни капельки. Франц должен целиком принадлежать ей, быть покорным, усердно работать и копить, чтобы она поскорей стала госпожой председательшей. Впервые Кристина подумала о старшей сестре (которой всегда охотно подчинялась) с презрением и ненавистью, ибо Нелли не понимала того, чего понимать не желала.

Но тут, к счастью, вернулся Франц. Почувствовав, что в комнате опять нависла предгрозовая тишина, он нерешительно направился к женщинам. Мягкими мелкими шагами, как бы отступая по нетвердой почве.

– Долго же ты с ним торчал. Ну что ж, мне все равно, это удовольствие, по-видимому, нам предстоит испытать еще не раз. Теперь повадится ходить, адрес известен.

Франц ужаснулся.

– Нелли... как ты смеешь, да ты не понимаешь, что это за человек. Если бы он захотел прийти ко мне, о чем-то попросить, то давно бы пришел. Отыскал мой адрес в официальном справочнике. Неужели тебе непонятно, что Фердинанд не приходил именно оттого, что ему плохо. Ведь он знает: я для него сделал бы все.

– Да уж, для таких тебе ничего не жаль. Встречайся с ним, пожалуйста, я не запрещаю. Только не у нас дома, с меня хватит, вот, смотри, какую дырку прожег сигаретой, и вот

видишь, что на полу творится, даже ног не вытер дружок твой... Конечно, я могу подмести... Что ж, если тебе это нравится, мешать не буду.

Кристина сжала кулаки, ей стыдно за сестру, стыдно за Франца, который с покорным видом пытается что-то объяснить жене, повернувшейся к нему спиной.

Атмосфера становится невыносимой. Она встает из-за стола.

– Мне тоже пора, а то не успею на поезд, не сердитесь, что отняла у вас столько времени.

– Ну что ты, – говорит сестра, – приезжай опять, когда сможешь.

Она говорит это так, как говорят постороннему "добрый день" или "добрый вечер". Какое-то отчуждение встало между сестрами: старшая ненавидит бунтарство младшей, младшая – закоснелость старшей.

На лестнице у Кристины внезапно мелькает смутная мысль, что Фердинанд Барнер поджидает ее внизу. Она пытается отогнать от себя эту мысль – ведь тот человек всего лишь бегло взглянул на нее с любопытством и не сказал ни слова, – да и сама она толком не знает, хочется ей этой встречи или нет, однако, по мере того как Кристина спускается со ступеньки на ступеньку, предчувствие переходит почти в

уверенность.

Поэтому она не была поражена, когда, выйдя из ворот, увидела перед собой развевающийся серый плащ, а затем и взволнованное лицо Фердинанда.

– Простите, фройляйн, что я решил дождаться вас, – говорит он каким-то другим, робким, смущенным, сдержанным голосом, совершенно непохожим на тот прежний, резкий, энергичный и агрессивный, – но я все время беспокоился, что вам... что не рассердилась ли на вас ваша сестра... Ну, из-за того, что я грубо разговаривал с Францем, и еще потому... потому что вы были согласны со мной... Я очень сожалею, что напустился на него... Знаю, так не полагается себя вести в чужом доме и с незнакомыми людьми, но, даю слово, я сделал это без злого умысла, напротив... Ведь Франц – славный, добрый парень, замечательный друг, он очень, очень хороший человек, другого такого вряд ли найдешь... Когда мы с ним неожиданно встретились, мне захотелось броситься ему на шею, расцеловать, в общем, выразить свою радость хотя бы так, как это сделал он... Но, понимаете, я постеснялся... постеснялся вас и вашей сестры, ведь это выглядит смешно в глазах других, когда разводят сантименты... вот из-за этой стеснительности я и стал на него наскокивать... но я не виноват, все получилось само собой, нечаянно. Посмотрел на него, кругленького, с брюшком, сидит довольный, попивает кофе под граммофон, и тут меня словно подтолкнули, думаю: дай-ка его подразню, расшеве-

лю немного... ВЫ же не знаете, какой он был там – самый ярый агитатор, с утра до ночи только и говорил о революции: разобьем врагов, наведем порядок... и вот когда я увидел его здесь, такого пухленького, домашнего, уютного, довольного всем – женой, детьми, своей партией и квартирой с цветами на балконе, такого блаженствующего обывателя, то не удержался и решил его чуть пощипать, а ваша сестра подумала, что я просто завидую ему, их благоустроенной жизни... Но, клянусь вам, я рад, что ему так хорошо живется, и если я пощипал его, то лишь потому, что... что на самом деле мне очень хотелось обнять Франца, похлопать его по плечу, по брюшку, но я стеснялся вас...

– Я это сразу поняла, – с улыбкой говорит Кристина, чтобы успокоить его.

– Да, было не очень ловко, когда Франц выражал такой бурный восторг, он чу не взял вас на ручки. Тут любой застесняется.

– Спасибо... рад, что вы меня поняли. А вот ваша сестра этого не заметила, вернее, заметила, что ее муж, как только меня увидел, тут же переменялся, стал другим... Таким, которого она совершенно не знает. Ведь она понятия не имеет, что мы с ним пережили в то время... С утра до вечера, с вечера до утра мы были неразлучны, словно два арестанта в камере, я узнал о нем столько, сколько его жене никогда не узнать, и если бы я захотел, он пошел бы ради меня на все, как и я ради него. Она это почувствовала, хотя я по-

вел себя так, будто зол на Франца или завидую ему... Наверное, во мне много злости, что правда, то правда... Но зависти нет, ни к кому, такой зависти, когда себе желаешь добра, а другим пусть будет плохо... Я желаю добра каждому, только ведь всякий человек, когда видит, что его ближний живет в достатке, припеваючи, обычно задается вопросом: а почему и не я?..

Вопрос вполне естественный, винить тут некого... Вы меня понимаете... Я не спрашиваю: почему не я вместо него?... Нет, только: а почему и не я?

Кристина невольно остановилась. Этот человек в который уже раз сказал именно так, как думала она сама. Совершенно ясно выразил то, что она лишь смутно чувствовала: ничего чужого мне не надо, но и у меня есть право на свою долю счастья, почему я всегда должна прозябать в голоде и холоде, когда другие сыты и в тепле?

Ее спутник тоже остановился, решив, что наскучил ей и она хочет спровадить его. Он неуверенно потянулся к шляпе. Кристина одним взглядом охватывает и это медленное, нерешительное движение руки, и его плохие, стоптанные ботинки, неглаженные, обтрепанные низы брюк, она понимает, что только лишь из-за бедности и поношенной одежды этот энергичный человек чувствует себя перед ней столь неуверенно. В эту секунду она вновь увидела себя у швейцарского отеля и вспомнила, как тогда дрожала ее рука с чемоданчиком, его неуверенность ей так понятна, словно она сама

перевоплотилась в него. И захотелось тотчас же прийти на помощь ему, то есть себе в нем.

– Мне пора на поезд, – сказала она и не без гордости отметила его испуг.

– Но если вам угодно проводить меня...

– О, пожалуйста, с огромным удовольствием!

Кристина уловила в его голосе счастливо-испуганную нотку, и ей опять почему-то стало приятно.

Теперь он идет с ней под руку и продолжает извиняться:

– Все-таки я вел себя глупо, ах, как досадно... Не замечал вашу сестру, игнорировал ее, так же нельзя, ведь она его жена, а я совершенно посторонний человек. Сначала надо было расспросить ее о детях, в каком они классе, какие у них отметки, и вообще поговорить о том, что касается обоих супругов... Не удержался пот... Как только увидел его, обо всем забыл, я так обрадовался, ведь он единственный человек, который зал меня, понимал... собственно, мы не то чтобы похожи... Он совсем другой, гораздо лучше меня, порядочнее... правда, мы росли и воспитывались в разных условиях, и ему невдомек, чего я хочу и к чему стремлюсь... Но вот жизнь свела нас, два года мы были отрезаны от мира, как на острове... Наверное, не все из моих объяснений было ему доступно и ясно, но он чутьем постиг это лучше, чем кто-либо. Нам даже порой не требовалось разговаривать, мы понимали друг друга без слов... И в тот миг, когда я сегодня вошел в их квартиру, я знал о нем все – быть может, больше,

чем он сам о себе, и Франц это понял... вот почему он так смутился, будто я поймал его на чем-то нехорошем, и стеснялся все время... уж чего, не знаю, то ли своего брюшка или того, что превратился в образцового бургера... Но в тот миг он опять был прежним, и уже не существовало ни жены, ни вас, мы бы с радостью остались вдвоем и говорили бы, говорили всю ночь напролет... Конечно, ваша сестра это почувствовала... Ну и что? Я теперь знаю, что он жив-здоров, он знает, что я вернулся, нам обоим стало легче, теплее. Мы оба уверены, что если одному из нас придется туго, то ему есть куда пойти излить душа. А другие... нет, вам этого не понять, да и объяснить я толком, пожалуй, не сумею, но с тех пор, как я здесь... у меня такое ощущение, будто я возвратился с Луны. Люди, с которыми я жил прежде бок о бок, стали мне какими-то чужими... Сижу с родственниками или с бабушкой и не знаю, о чем с ними говорить, не понимаю, чему они радуются, все, что они делают, кажется мне крайне чуждым, бессмысленным, ну... все равно как смотришь на танцующих в кафе с улицы, через окна: движения видишь, а музыки не слышно. И удивляешься: чего они там дергаются с такими восторженными лицами. В общем, что-то я перестал понимать в людях, а они перестали понимать меня и потому, наверное, считают завистливым и злым... Будто я говорю на другом языке и требую чего-то непонятного от них... Впрочем, извините меня, фройляйн, это все чепуха, я просто заболтался, и не надо вам в это вникать, незачем.

Кристина опять остановилась и посмотрела на него.

– Ошибаетесь, – сказал она, – я вас очень хорошо понимаю. Понимаю каждое слово. То есть еще год, вернее, месяца три назад, я бы вас, возможно, не поняла, но после того как вернулась из...

Опомнившись, она внезапно умолкла. Она чуть не начала рассказывать все постороннему человеку и поэтому быстро изменила тему:

– Между прочим, должна признаться, что сейчас я иду не на вокзал, а в гостиницу, забрать чемодан. Я приехала вчера вечером, а не сегодня утром, как они подумали... Сестре я этого не стала говорить, она бы обиделась, что я ночевала не у них, но я не люблю обременять кого-либо и... прошу вас... не говорите об этом Францу.

– Ну разумеется.

Она почувствовала, что он рад и благодарен за доверие. Они сходили за чемоданом, Фердинанд хотел было нести его, но Кристина воспротивилась.

– Нет, нет, с вашей рукой, вы же сами говорили...

Заметив его смущение, Кристина сообразила, что напрасно это сказала, и тут же передала ему чемодан.

Когда они пришли на вокзал, до отправления поезда оставалось еще три четверти часа. Сидя в зале ожидания, они говорили о Франце, о почтовой конторе, о политическом положении в Австрии и о всяких мелких и несущественных вещах. Острота и наблюдательность в рассуждениях собесед-

ника произвели на Кристину должное впечатление. Но вот время истекло, она поднимается со скамьи.

– Кажется, мне пора.

Он торопливо, чуть ли не испуганно встает, ему явно не хочется прерывать беседу. Сегодня вечером он будет совсем один, думает с сочувствием Кристина. Ей приятно, что неожиданным образом в ее жизни появился человек, который ухаживает за ней, приятно и даже лестно, что она, ничемное создание, простая почтарка, существующая, чтобы продавать марки, отбивать телеграммы и отвечать на телефонные вызовы, еще что-то для кого-то значит.

Его огорченное лицо внезапно пробуждает в ней жалость, и она порывисто говорит:

– Впрочем, я могу поехать и следующим поездом – в десять двадцать, – так что есть еще время прогуляться и где-нибудь неподалеку поужинать...

Если, конечно, вы не против...

В его глазах мгновенно вспыхнула радость, озарившая все лицо.

– О нет, нисколько! – восклицает он.

Сдав чемодан в камеру хранения, они бродят по улицам и переулкам.

Темнеющей синей дымкой надвигается сентябрьский вечер, между домами белеют шарик фонарей.

Они идут рядом неторопливым прогулочным шагом и ведут легкий прогулочный разговор. В пригороде они обна-

руживают дешевый ресторан с небольшим двором, где еще можно посидеть под открытым небом за столиками, разделенными живыми стенами из побегов плюща. Сидишь как бы в отдельной ложе, соседи тебя видят, но все-таки не слышат. Кристина со спутником обрадовались, найдя свободную "ложу". Двор окружен домами, где-то весело смеется, а кто-то тихо и мирно пьет в одиночку, блаженно икая; на каждом столике подобно стеклянному цветку стоит свеча в колпаке, вокруг которого черными дробинками жужжат любознательные насекомые. В воздухе приятная прохлада.

Сняв шляпу, Фердинанд садится напротив Кристины. Ей хорошо видно его лицо, высветленное спокойным огоньком свечи: по-тирольски суровые, чеканные черты, в уголках глаз и рта мелкие морщинки, – строгое и вместе с тем какое-то изношенное лицо. Но так же, как у него меняется от гнева голос, так и лицо становится другим, когда он улыбается, когда морщинки расходятся веером и непреклонный взгляд светлеет. Тогда в лице появляется почти детская мягкость, что-то ласковое, доверчивое; Кристина невольно вспоминает, что таким его знал Франц, что именно таким он был в ту пору. Во время беседы эти лика удивительным образом сменяют друг друга. Когда он хмурится или сердито сжимает губы, лицо внезапно мрачнеет, и кажется, будто над лугом повисла туча и свежие зеленые краски сразу померкли. Странно, думает Кристина, в одном человеке словно живут двое, возможно ли это? Но тотчас она вспоминает о

своём собственном преображении и о том забытом зеркале, которое стоит в комнате далеко-далеко отсюда и в которое смотрится сейчас кто-то другой.

Официант приносит заказ: простые блюда и два бокала белого вина "Гумпольдскирхнер". Фердинанд, глядя Кристине в глаза, поднимает бокал, чтобы чокнуться. Но едва он протянул руку, как раздался легкий стук. От его пиджака оторвалась болтавшаяся пуговица, покатила по столу и, хотя он пытался ее схватить, упала на землю. Заметив, что это мелкое происшествие не укрылось от Кристины, он смутился и помрачнел. Она старается не смотреть на него. Женское чутье мгновенно подсказало ей, что о нем никто не заботится.

Еще раньше она обратила внимание, что его шляпа не почищена – лента покрылась пылью, что брюки мятые, неглаженные, и ей понятно его смущение, сама испытала такое.

– Поднимите ее, – говорит она. – У меня в сумке есть иголка и нитки, всегда ношу с собой, нам же приходится все делать самим, давайте прямо тут и пришью.

– Нет, нет, – возражает он с испугом, хотя нагибается все же за пуговицей. Но, подняв, упрямо сжимает ее в кулаке. – Нет, нет, – он будто оправдывается, – дома пришьют. – А когда она еще раз предложила свою помощь, вспылил:

– Нет, не надо! Не хочу! – и судорожно застегнул остальные пуговицы на пиджаке.

Кристина больше не настаивает. Она видит, что он сму-

щен. Непринужденная беседа расстроилась, по его сжатым губам она вдруг почувствовала, что он сейчас скажет что-нибудь злое, нагрубит, потому что стыдится.

Так и случилось. Он будто ошетинился и посмотрел на нее с вызовом.

– Я зная, что одет неподобающим образом, но я же не предполагал, что меня станут разглядывать. Для визита в богадельню это еще вполне сойдет.

Если б знал, оделся бы получше... впрочем, это неверно. По правде говоря, у меня нет денег, чтобы прилично одеваться, ну нет их... по крайней мере на все сразу. Куплю новые ботинки, тем временем шляпа обтрепалась, куплю шляпу, пиджак износился, раз то, раз другое, за всем не успеваю. Моя это вина или нет, мне безразлично. Так что примите к сведению: я одет плохо.

Кристина не успевает даже раскрыть рот, чтобы ответить, как он продолжает:

– Пожалуйста, без утешений. Я наперед знаю, что вы скажете. Мол, бедность – не порок. Но это не правда, бедность позорна, если вы не можете ее скрыть, и тут ничего не поделаешь, все равно стыдно... По заслугам она или нет, достойная или жалкая, все равно дурно пахнет. Да, она пахнет полуподвальной комнатой, выходящей на задворки, пахнет одеждой, которую меняешь не так уж часто. Этот запах неистребим, словно ты сам – помойка... И ничего не поможет, хоть прикрывайся новой шляпой, хоть целый день чи-

сти зубы – запах-то из желудка. Это вьелось в тебя, прилипло, каждый встречный чувствует это, замечает сразу. Вот и ваша сестра сразу почувствовала, знаю я эти проницательные взгляды женщин, когда они смотрят на твои обтрепанные манжеты, понимаю, как неприятно смотреть на такое, но, черт возьми, ведь самому-то еще неприятнее. И никуда от этого не денешься, не убежишь, остается только напиться, а в этом... – Он хватает бокал и демонстративно, жадными глотками, осушает его. – В этом заключена огромная социальная проблема, почему так называемые низшие классы сравнительно больше потребляют алкоголя. Проблема, над которой за чашкой чая ломают себе голову графини, патронессы благотворительных обществ... На несколько минут, на часок забываешь, что ты в тягость другим и самому себе. Я понимаю, невелика честь, когда вас видят с человеком, так плохо одетым, мне это тоже не в радость.

Если я вас стесняю, скажите, только прошу без жалости и церемоний!

Он резко отодвигает стул и опирается рукой о стол, чтобы встать.

Кристина быстро кладет ладонь ему на руку.

– Не надо так громко! Соседям ни к чему это слышать. Сядьте поближе.

Он повинуется. Вызывающая поза сменяется нерешительной. Стараясь скрыть чувство жалости, Кристина продолжает:

– Зачем вы себя мучаете и почему вам хочется мучить меня? Ведь это все нелепо. Неужели вы действительно считаете меня так называемой "дамой"? если бы я была ею, то не поняла бы ни слова из того, что вы говорили, решила бы, что вы просто раздраженный, несправедливый и вздорный человек. Но я поняла вас, почему – сейчас расскажу. Подвиньтесь ближе, соседям это незачем слушать.

И она рассказывает ему о своей поездке, рассказывает все: о восторге, о превращении, об обиде и горечи унижения. Ей доставляет удовольствие возможность впервые заговорить о своем опьянении богатством, а под конец она испытывает даже некоторое злорадство от самобичевания, когда описывает, как портье задержал ее, приняв за воровку лишь потому, что на ней была убогая одежда и она сама несла свой чемодан.

Фердинанд слушает молча, только подрагивающие ноздри выдают его напряжение. Кристина чувствует, что он впитывает каждое слово. Он ее понимает, так же как понимает его она, их связывает чувство гнева отверженных. И, открыв плотину, она уже не в силах сдержать хлынувший поток.

Она поведала о себе больше, чем, собственно, хотела; ее речь, образная и сильная, питалась ненавистью к деревне и злобой на весь мир из-за погубленных лет. Никогда и никому еще она не раскрывала так свою душу.

Он слушает молча, наклонив голову, все больше и больше погружаясь в себя.

– Простите, – говорит он наконец, словно откуда-то снизу, – простите, что я так глупо напустился на вас. ну что мне с собой делать, всегда вот так дурачки получается, сразу же злюсь, налетаю на первого встречного, будто он во всем виноват и будто я единственный несчастливец. Ведь знаю, что я всего лишь один из миллионов. Каждое утро, когда иду на службу, вижу легионы других, как они выходят из ворот и подъездов, невыспавшиеся, с хмурыми лицами, как нехотя спешат на работу, которую не любят, которая им неинтересна, а вечером снова встречаю их в трамваях, когда они возвращаются, словно налитые свинцом от усталости, измотанные бессмысленно или ради смысла, который им неведом. Вот только они не сознают и не ощущают так сильно, как я, эту страшную бессмысленность. Для них прибавка не десять шиллингов в месяц или новое звание (новый собачий жетон) – уже удача; вечерами они ходят на собрания, где им внушают, что капитализм на пороге гибели, что идея социализма завоеует мир, еще десять, двадцать лет – и это свершится... Но я не такой терпеливый, я не могу столько ждать. Мне тридцать лет, из них одиннадцать пропали. Мне тридцать, а я еще не знаю, кто я, не знаю, для чего устроен этот мир, я ничего не видел, кроме грязи крови и пота. ничего не делал, только ждал, ждал, ждал. Я больше не в силах жить поверженным и отверженным, это доводит меня до бешенства, я чувствую, как время ускользает из-под ног, пока я обречен быть подручным у архитектора, хотя знаю не меньше его...

ведь у тех, что сидят наверху, такая же кровь, такие же легкие, как и у тебя, только ты явился слишком поздно; выпал из вагона и догнать его не можешь, как ни беги. Знаю, я сумел бы многое сделать – кое-чему научился, наверное, я не глуп, в гимназии был первым, в монастырской школе неплохо занимался музыкой, а заодно выучил французский у одного патера из Оверни. Но рояля у меня нет, играть с моей рукой не могу – вот и разучиваюсь, по-французски мне говорить не с кем – забываю. Два года я усердно изучал технику, пока другие увлекались фехтованием и попойками, потом, в сибирском плену, тоже работал и тем не менее продвинуться не могу.

Мне нужен был год, один свободный год, как разбег перед прыжком... Год, и я был бы наверху, не знаю где, не знаю как, только знаю, что теперь я сумел бы стиснуть зубы, напрячь все силы и занимался бы по десять, четырнадцать часов в сутки... а еще несколько лет – и я стану таким же, как другие, усталым и довольным и, обзрев достигнутое, скажу: хватит! кончено! Но сегодня я этого еще не могу, сегодня я ненавижу всех этих довольных, они до того бесят меня, что иногда руки чешутся, так бы и разнес вдребезги их уют. Взгляните на этих троих, рядом. Все время, что мы здесь, они раздражают меня, почему – не знаю, может, от зависти, что они так безумно веселы и довольны собой.

Взгляните: вон тот, скорее всего, приказчик в галантерейной лавке, целый день достает с полок рулоны, кланяется

и тараторит: "Самый модный, метр – шиллинг восемьдесят, настоящий английский товар, прочный, ноский", – потом забрасывает рулон обратно наверх, достает второй, третий, потом еще какую-нибудь мелочь, а вечером возвращается домой в полной уверенности, что жить надо только так; другой, наверное, служит в сберегательной кассе или на таможне, целый день считает цифры, цифры, сотни тысяч, миллионы цифр, проценты, проценты на проценты, дебет, кредит, понятия не имеет, кому принадлежат счета, кто получает, а кто вносит, кто должен, кому и за что, ничего не знает, а вечером идет домой, уверенный, что это и есть жизнь; третий – не знаю, где служит, возможно в магистрате или где-нибудь еще, но по его рубашке вижу, что и он целый день пишет бумаги, бумаги, бумаги, на одном и том же деревянном столе, той же рукой. Но сегодня по случаю воскресенья у них напояжены волосы и сияют лица. Они побывали на футболе, на бегах или у девочек, а теперь рассказывают друг другу, и каждый выхваляется, какой он умный, ловкий и деловой... Вы только послушайте, как они самодовольно гогочут, эти машины на воскресном отдыхе, рабы по найму, нет, вы послушайте их, какой у них смех, взмыленный, жирный, несчастные, разок их пустили без поводка, так они вообразили, что и ресторан, и весь мир принадлежат им. Дал бы им по морде... – Он переводит дух. – Глупости, опять я не то говорю, не на тех нападаю. Конечно, они несчастные и вовсе не болваны, и поступают они разумнее всего – довольствуются

ся тем, что есть. Они согласны мертветь заживо, тогда ведь становишься нечувствительным, но меня, дурака, все время подмывает поиздеваться над каждым таким мелким удачником, вывернуть его наизнанку... а почему? Наверное потому, что надоело быть одному, тянет в стаю. Понимаю, что это глупо, что тем самым действую себе во вред, но иначе не могу, за эти одиннадцать лет я весь пропитался злостью как ядом, чуть что – и она брызжет из меня, спасаюсь тем, что удираю домой или в Народную библиотеку. Только вот книги, теперешние романы, меня больше не радуют. От рассказиков, как Ханс женится на Грете, а Грета выходит за Ханса и как Паула изменяет Иоганну, а Иоганн – Пауле, меня тошнит... книги о войне – о ней мне тем более рассказывать не надо... Настоящей охоты учиться тоже нет, ведь знаю, что ничего не поможет, пока не получу диплом, без этого ярлыка не продвинешься, но для него у меня нет денег... вот и получается: без денег деньги не заработаешь... Такое зло берет, что поневоле залезаешь в конуру, чтобы не кусаться. И больше всего бесит, что ты бессилен, ведь против тебя что-то недоступное, чего не схватишь руками, и исходит это что-то от людей вообще, а не от отдельного человека, которому можно вцепиться в глотку. Франц – тот знает, и что это такое. Наверняка помнит, как мы иногда ночами, забравшись на чердак сибирского барака, чуть не выли от бессильной ярости, даже думали убить киркой нашего охранника Николая, хотя этот тихий, добродушный парень по-дружески от-

носился к нам... а все потому, что он был единственным доступным из тех, кто держал нас взаперти, только поэтому... Думаю, теперь вам ясно, почему меня взбудоражила встреча с Францем. Ведь я уж и забыл, что существует человек, который способен меня понять, а тут сразу стало ясно – он меня понял... Ну и вы.

Подняв глаза, она почувствовала, что растворяется в его взгляде.

Фердинанд ту же смутился.

– Извините, – говорит он другим голосом, мягким, робким, так удивительно контрастирующим с только что звучавшим, твердым и вызывающим, – извините, я все о себе да о себе, понимаю, это невежливо. Но я, наверное, за целый месяц так много не разговаривал, сколько с вами.

Кристина смотрит на чуть дрожащий огонек свечи. От порыва холодного ветра синяя сердцевина пламени вдруг вытянулась кверху.

– Я тоже, – отвечает она после паузы.

Некоторое время они молчат, мучительно напряженный разговор утомил обоих. Рядом в "ложах" уже погашены свечи, в окнах домов темно, граммофон умолк. Официант демонстративно убирает с соседних столиков. Кристина спохватывается.

– Мне кажется, пора идти, в десять двадцать последний поезд, сколько сейчас времени?

Он смотрит на нее сердито – но лишь мгновение – и улы-

бается.

– Вот видите, я уже исправляюсь, – говорит он почти весело, – если б вы спросили меня об этом час назад, я бы огрызнулся, но теперь могу вам признаться по-товарищески, как Францу: свои часы я заложил. Не столько ради денег – часы очень красивые, золотые с бриллиантами. Отец получил их однажды на охоте, в которой участвовал эрцгерцог, причем мой родитель, к их высочайшему убогаторению, обеспечил всю жратву и даже сам руководил кухней... Сверкать такими часами на стройке – все равно что негру щеголять во фраке. Вы меня поймете, вы все понимаете... Вдобавок там, где я живу, не очень безопасно держать при себе золото с бриллиантами. Но продавать я их не стал, это мой, так сказать, неприкосновенный запас. Короче, заложил.

Он улыбнулся с видом человека, довольного совершенной работой.

– Вот видите, я делаю успехи, рассказал вам об этом с полным спокойствием.

Напряжение прошло, наступили ясность и успокоение. Они больше не смотрят друг на друга настороженно, с опаской, между ними возникло доверие и даже нечто вроде нежной дружбы. Они направляют к вокзалу. Сейчас хорошо идти, темнота скрывает от любопытных взоров глазниц-окон; нагретые днем камни вновь дышат прохладой. Но по мере того как они приближаются к цели, шаг их становится резче и торопливее: над только что сплетенными душевными

узами навис сверкающий меч разлуки.

Она купила билет и, обернувшись, посмотрела ему в лицо. Оно опять переменялось, брови нахмурены, глаза, излучавшие благодарность, погасли; не замечая ее пристального взгляда, он зябким движением стягивает на груди плащ. Кристину охватывает жалость.

– Я скоро опять приеду, – говорит она, – наверное, в следующее воскресенье. И если у вас будет время...

– У меня всегда есть время. Это, пожалуй, единственное, чем я располагаю, притом в избытке. Но мне не хотелось бы... – Он запнулся.

– Что не хотелось?

– Что... чтобы вы из-за меня беспокоились... Вы были так добры ко мне... понимаю, общаться со мной – невелика радость... и, возможно, сегодня в поезде или завтра вы спросите себя: к чему мне еще чужие горести... По себе знаю, когда человек рассказывает мне о своей беде, я сочувствую, переживаю, но потом, когда он уйдет, я говорю себе: да черт с ним, чего он взваливает на меня свои заботы, каждому собственных хватает... Так что не принуждайте себя, не думайте: мол, ему надо помочь... Уж я сам справлюсь...

Кристина отвернулась. Ей мучительно смотреть, когда он терзает самого себя. Но Фердинанд превратно истолковал ее движение, решив, что она обиделась. И сразу сердитый голос сменился тихим голоском робкого мальчика:

– Нет, разумеется... мне будет очень приятно... я только

подумал, что если...

Он бормочет, запинаясь, смотрит на нее как провинившийся ребенок, словно моля о прощении. И она понимает его лепет, понимает, что этот суровый, страстный человек хочет, чтобы она приехала, но стесняется, не смеет просить ее об этом.

Ею овладевает чувство материнской теплоты и жалости, потребность утешить каким-нибудь словом, жестом, не оскорбив его гордости. Ей хочется погладить его по голове и сказать: "Глупенький!" – но она боится обидеть его, ведь он такой ранимый. И в замешательстве она говорит:

– Как ни жаль, а мне пора на поезд.

– Вам... вам действительно жаль? – спрашивает он, в ожидании глядя на нее.

Но во всем его облике уже чувствуется беспомощность, отчаяние покинутого, она уже видит, как он будет стоять на перроне один, с тоской смотря вслед поезду, увозящему ее, один-одинешенек в этом городе, на всем свете, и она чувствует, что он всей душой привязался к ней. Кристина в смятении. Чутье безошибочно подсказывает ей, что она нужна ему, нужна как женщина и как человек, что она опять желанна, и притом гораздо сильнее, чем когда-либо прежде, жизнь снова обрела для нее смысл, наконец-то. До чего же чудесно, когда тебя любят!

Внезапно в ней вспыхнуло ответное чувство. Этот порыв возник молниеносно, опередив мысль. Вдруг, разом. Она по-

дошла к нему и сказала как бы в раздумье (хотя подсознательно все уже было решено):

– Собственно... я могу еще побыть с вами и уехать утренним поездом, в пять тридцать, я успею на свою ненаглядную почту.

Она даже не подозревала, что глаза могут так мгновенно загореться.

Словно в темной комнате вспыхнула спичка, так засветилось и ожило его лицо.

Он понял, все понял прозорливым чувством. Осмелев, он берет ее под руку.

– Да, – говорит он, сияя, – останьтесь, останьтесь...

Кристина не против, что он взял ее под руку и уводит. Рука у него теплая, сильная, она дрожит от радости, и эта дрожь передается Кристине. Она не спрашивает, куда они идут, за чем спрашивать, ей теперь все равно, она решила. Она отдала свою волю, сама, и наслаждалась ощущением радостной покорности. В ней все расслаблено, будто выключено – воля, мысли, она не рассуждает, любит ли этого человека, с которым едва познакомилась, хочет ли его как мужчину, она лишь наслаждается полным отрешением от собственной воли и неосознанностью чувства.

Ее не заботит, что будет впереди, она только ощущает рук, которая ее ведет, отдается этой руке бездумно, словно несомая потоком щепка, которая на бурных перекатах испытывает головокружительную радость падения. Порой Кристина

зажмуривается, чтобы полнее проникнуться этим чувством, когда ты безвольна и желанна.

Но вот еще один напряженный момент. Остановившись, Фердинанд смущенно говорит:

– Я с большим удовольствием пригласил бы вас к себе, но... это невозможно... я живу не один... там проходная комната... может, пойдем в какой-нибудь отель... не в тот, где вы вчера... в другой...

– Хорошо, – соглашается она не задумываясь.

Слово "отель" вызывает у нее не страх, а какое-то радужное видение.

Будто в тумане всплывает сверкающая комната, блестящая мебель, оглушительная тишина ночи и могучее дыхание Энгадина.

– Хорошо, – повторяет она мечтательно.

Они идут дальше. Улочки становятся все уже, Фердинанд не очень уверенно вглядывается в дома. Наконец он останавливается у какого-то задремавшего в полумрак здания со светящейся вывеской. Кристина послушно входит вместе с ним в подъезд, словно в темное ущелье.

Они вступают в коридор, освещенный – вероятно, с умыслом – одной-единственной тусклой лампочкой. Навстречу из-за стеклянной двери выходит портье, неопрятного вида, без пиджака. Он перешептывается с Фердинандом, будто договаривается о какой-то запретной сделке. Что-то тихо звякает – деньги или ключ. Кристина тем временем ждет в полу-

темном коридоре, уставившись в облезлую стену, невыразимо разочарованная этой убогой дырой. И невольно – она об этом и не думает – ей вспоминается холл того, другого отеля, зеркальные стекла, потоки света, богатство и комфорт.

– Девятый номер, – трубно объявил портье и столь же громко, будто хотел, чтобы его слышали во всем доме, добавил:

– На втором этаже.

Фердинанд подходит к Кристине, та умоляюще смотрит на него.

– А нельзя... – Она не знает, что сказать еще.

Но он видит в ее глазах отвращение и желание убежать.

– Нет, они все такие... другого не знаю... не знаю.

Он поднимается с ней по ступенькам, крепко держа ее под руку. Кристина чувствует, что у нее подгибаются колени, она еле переставляет ноги.

Дверь в номер распахнута. Там стоит неряшливая служанка с заспанным лицом.

– Минутку, сейчас принесу свежие полотенца.

Они все-таки входят, спешно прикрывая за собой дверь. Узкая прямоугольная конура с одним окном, единственный стул, вешалка, умывальник и еще, как бы нахально демонстрируя, что она здесь единственно важный предмет мебелировки, – широкая постеленная кровать. К невыразимым бесстыдством подчеркивая свою целесообразность, она заполняет почти все помещение. Ее нельзя не заметить, нельзя из-

бежать, она неминуема. Воздух спертый, пахнет табачным дымом, скверным мылом и еще какой-то кислятиной. Кристина невольно сжимает губы, чтобы не вдыхать эту затхлость. Боясь, что от омерзения упадет в обморок, она делает шаг к окну, распахивает створки и с жадностью, словно отравленная газом, глотает свежую ночную прохладу.

Тихий стук в дверь. Кристина вздрагивает. Входит служанка и кладет чистые полотенца на умывальник. Заметив, что окно в освещенной комнате открыто, она с некоторой опаской предупреждает:

– Прошу тогда опустить шторы. – И вежливо выходит.

Кристина по-прежнему смотрит в окно. Слово "тогда" задело ее – так вот для чего заходят сюда, в эти вонючие трущобы, вот для чего. И у нее мелькает страшная мысль: а вдруг он подумал, что она тоже пришла ради этого, только ради этого.

Хотя ему и не видно ее лица, вся ее сжавшаяся фигура, вздрагивающие плечи говорят о том, что она сейчас переживает. Он подходит к ней и молча, боясь каким-нибудь словом обидеть, нежно проводит ладонью по ее руке от плеча до холодных дрожащих пальцев. Кристина чувствует, что он хочет ее успокоить.

– Извините, – говорит она, не оборачиваясь, – у меня вдруг закружилась голова. Сейчас пройдет. Только отдышусь немного... это оттого, что...

Она чуть было не сказала: оттого, что я впервые в таком

доме, в такой комнате, но прикусила язык – зачем ему это знать. Закрыв окно, она оборачивается и приказывает:

– Погасите свет.

Он поворачивает выключатель, наступает ночь, стирая очертания всех предметов. Самое страшное исчезло, постель уже не бросается так нагло в глаза, а лишь смутно белее в пространстве. Но страх остается. Тишина неожиданно наполняется звуками: смех, вздохи, скрип, шорохи, чуть слышный топот босых ног и журчание воды. Кристина чувствует, что вокруг вершится распутство, что дом предназначен исключительно для спаривания. Страх легким ознобом постепенно пронизал все ее тело; сначала дрожь пробежала по коже, потом захватила суставы и обездвижила их и вот сейчас, должно быть, уже подбирается к мозгу, к сердцу, ибо она ощущает, что ни о чем не в силах больше думать, ничего больше не чувствует, все ей безразлично, бессмысленно и чуждо, даже человек, который дышит рядом с ней, и тот кажется чужим. К счастью, он деликатен и не торопит ее, он только бережно усаживает ее на край постели и садится сам. Оба сидят молча, не раздеваясь, он лишь нежно поглаживает край ее рукава и пальцы. Он терпеливо ждет, пока у нее не пройдет страх, не растает сковавший ее лед отчуждения. Его смирение и покорность трогают Кристину. И когда он наконец обнимает ее, она не сопротивляется.

Но его горячее, страстное объятие не сумело полностью вытеснить ее брезгливый ужас. Слишком глубоко он засел. Что-то в ней не оттаивает, что-то не поддается опьянению, сопротивляется, даже когда он снял с нее одежду, она ощутила не только его обнаженное, сильное, жаркое тело, но и прикосновение влажной гостиничной простыни, словно мокрой губки. Даже отдаваясь его ласкам, она не может забыть жалкого, убогого пристанища, которое оскверняет их. Нервы ее натянуты, и, когда он привлекает ее к себе, она испытывает желание убежать – не от него, не от пылающего страстью мужчины, а из этого дома, где люди за деньги спариваются, как животные, – скорее, скорее, следующий, следующий, – где бедные продают себя как почтовые марки, как газеты, которые потом выбрасываются. Она задыхается в этом спертом, влажном воздухе, пропитанном запахами кожи, дыхания и похоти множества людей. И ей стыдно, но не потому, что она отдается, а потому, что это торжество происходит здесь, где все противно и позорно. Она больше не выдерживает нервного напряжения. Горечь и разочарование разряжаются внезапным стоном, заглушенным плачем. Всхлипывая, она прижимается к лежащему рядом Фердинанду.

Он чувствует себя виноватым и, чтоб успокоить ее, гладит по плечу, не осмеливаясь произнести ни слова. Кристина ви-

дит его растерянность.

– Не обращай на меня внимания, – говорит она, – просто я немного расклеилась, сейчас пройдет, это потому... что... – и, помолчав, добавляет: – Не упрекай себя, ты тут дни при чем.

Он молчит, он понимает все. Понимает ее разочарование, понимает отчаяние, сковавшее ее душу и тело. Но ему стыдно признаться, что он не искал отеля получше и не взял лучшего номера потому, что у него было с собой не более восьми шиллингов, и он даже думал отдать портье в залог свое кольцо, если бы комната стоила дороже. Но он не может и не хочет говорить о деньгах и потому предпочитает молчать; он ждет, ждет терпеливо и смиренно, пока она успокоится.

До обостренного слуха Кристины все время доносятся всевозможные звуки – слева и справа, сверху и снизу, из коридора – шаги, смех, кашель, стоны.

Рядом, за стеной, вероятно, подвыпивший клиент, он то и дело горланит, слышатся шлепки по голому телу и грубовато-игривый женский голос. Это невыносимо, и оттого что единственно близкий ей человек продолжает молчать, эти звуки становятся громче.

Не выдержав, она толкает его:

– Пожалуйста, говори! Расскажи что-нибудь. Не могу больше слушать этого за стеной, господи, как здесь омерзительно. Какой ужасный дом, просто жуть берет, ну, пожалуйста, говори что-нибудь, рассказывай, чтобы я этого не... что-

бы слышала только тебя... Господи, какой ужас!

– Да, – он глубоко вздохнул, – ужас, мне стыдно, что я привел тебя сюда. Не надо было этого делать... но я сам не знал.

Он нежно гладит ее тело, ей становится теплее, уютнее, но дрожь не проходит. Кристина мучается, старается унять ее, побороть чувство брезгливости от сырой постели, от похотливой болтовни за стеной, от всего мерзкого дома, но ничего не получается. Озноб волнами пробегает по телу.

– Понимаю, как тебе должно быть противно, – говорит Фердинанд, – сам однажды пережил такое... когда в первый раз был с женщиной... это не забывается... До армии я еще не знал женщин, ну а на фронте сразу попал в плен... все потешались надо мной, твой зять тоже, называли девицей, не знаю – со злости или от отчаяния, – но мне все время об этом говорили. Да ни о чем другом они не могли разговаривать, день и ночь только о бабах, как это было с одной, как с другой, как с третьей, и каждый рассказывал про это сто раз, все уже наизусть знали. Картинки показывали, а то и рисовали всякую похабщину, как арестант в тюрьме на стенах малюют. Конечно, слушать было противно, но ведь мне исполнилось уже девятнадцать, ведь об этом думаешь, к этому тянет. Потом началась революция нас отвезли еще глубже в Сибирь, твой зять уже уехал, а нас гоняли туда-сюда как стадо баранов... И вот однажды вечером ко мне подсел солдат... Он, собственно, охранял нас, но куда там убежишь?..

Вообще-то Сергей – его так звали – хорошо к нам относился, заботливый был... как сейчас вижу его лицо: широкие скулы, нос картошкой, большой рот, добродушная улыбка... О чем я начал?... Да, так вот однажды вечером он подсел ко мне и по-дружески спрашивает, давно ли у меня не было женщины... Я, конечно, постеснялся сказать: "Еще ни разу"... Любой мужчина стыдится в этом признаться (женщина тоже, подумала она), ну и ответил: "Года два". "Боже мой", – говорит он и даже рот разинул с испугу... Придвинулся ближе и потрепал меня по плечу: "Бедняга ты, бедняга... так и заболеть недолго..." Треплет меня по плечу, а сам думает, напряженно думает, даже лицом потемнел, видно, тяжкая для него работа – думать. Наконец говорит:

"Погоди, браток, я устрою, найду тебе бабу. В деревне их много, солдатки, вдовы, свожу тебя к одной вечерком. Знаю, сбежать ты не сбежишь". Я не сказал ему ни да, ни нет, особого желания не было... ну кого он мог найти, какую-нибудь простую грубую крестьянку... да вот только хотелось человеческого тепла, чтобы тебя кто-то приласкал... одиночество до того уже измучило... Понимаешь ли ты это?

– Да, – вздохнула она, – понимаю.

– И в самом деле, вечером он пришел к нашему бараку. Тихо свистнул, как мы условились, я вышел. В темноте рядом с ним стояла женщина, низенькая, плотная, на голове цветной платок, волосы сальные. "Вот он, – говорит ей Сергей, – нравится?" Женщина пристально посмотрела на меня

чуть раскосыми глазами и сказала: "Да". Мы пошли втроем, Сергей немного проводил нас.

"Далеко же вы затащили его, беднягу, – сказала она Сергею. – И ни одной женщины, все время среди мужиков, ох, ох..." Голос у нее был теплый, грудной приятно было слушать. Я понимал, что она позвала меня к себе из жалости, а не по любви. "Мужа моего убили, – сказала она потом, – ростом был под потолок, сильный, как молодой медведь. Не пил, ни разу руки на меня не поднял, лучше его во всей деревне не было. Живу теперь одна с детишками да со свекровью, не пожалел нас господь бог". Подошли к ее дому... крытая соломой изба с крохотными окошками. Она взяла меня за руку, и мы вошли.

Глаза заслезились, духота, жара, как в котельной. Она потянула меня дальше, постель была на печке, туда мне предстояло залезть. Вдруг что-то шевельнулось, я вздрогнул. "Это дети", – успокоила она. Только теперь я услышал, что здесь дышат несколько человек. Потом раздался кашель, и я опять вздрогнул. "Это бабушка, – объяснила она, – хворающая, грудью чахнет". Не знаю, сколько человек тут было: пять или шесть, в общем, от их присутствия и от жуткой духоты я словно окаменел. Я чувствовал, что не смогу обнять женщину, когда, когда тут же в комнате дети, старуха-мать – ее или мужа, ну просто не смогу. Она, не поняв, отчего я медлю, стала передо мной на коленки, стащила с меня башмаки, затем френч и все гладила меня как ребенка, так ласко-

во... потом медленно, но со страстью притянула меня к себе. Груды у нее были мягкие, теплые и пышные, как свежие булки... губы очень нежные, она тихо целовала меня и так покорно прижималась... Очень трогательная женщина, мне было с ней хорошо, я был ей благодарен, но все время прислушивался, был настороже – то ребенок повернулся во сне, то старуха застонала... когда едва начало светать, я ушел... Я страшно боялся увидеть глаза больной старухи, детей... для нее было вполне естественно, что мужчина лежал рядом с женщиной, а я... я больше не мог и ушел. Она проводила меня к воротам, смиренная как овечка, милыми движениями изобразила, что отныне она моя, завела еще в хлев, надоила молока, дала хлеба и курительную трубку, возможно оставшуюся от мужа, а потом спросила, нет, вернее, покорно и почтительно попросила: "Придешь сегодня вечером, а?.." Но я больше не пришел, не мог себя превозмочь, перед глазами все время была душная изба, дети, старуха, тараканы, бегущие по полу... А ведь я был благодарен ей, даже теперь думаю о ней с каким-то нежным чувством... вспоминаю, как она доила корову, как дала мне хлеба, как отдала свое тело... Сознаю, я обидел ее тем, что не пришел... А другие... другие этого не поняли... Все мне завидовали, такие они были несчастные, заброшенные, что даже в этом завидовали. Каждый день я собирался пойти к ней, и всякий раз...

– Господи, ну что там еще! – воскликнула Кристина, рывком села и прислушалась.

"Ничего", – хотел было сказать он, но тоже насторожился. Где-то за стеной вдруг раздались громкие голоса, шум, началась суматоха, кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то приказывал. Что-то случилось.

– Подожди. – Фердинанд спрыгнул с кровати. Мгновенно одевшись, подошел к двери и прислушался. – Сейчас узнаю, что там.

Что-то случилось. Подобно тому, как человек со стоном и криком просыпается в испуге от кошмарного сна, так и в тихо урчавшем пока что гостиничном притоне вдруг раздались глухие раскаты и началось непонятное клокотание. Шум, беготня по лестнице, дребезжание окон, телефонные звонки, топот в коридорах. Громкие разговоры, крики, требовательный стук в дверь и резкие голоса, явно не принадлежавшие клиентам этого дома, твердые шаги, не похожие на шлепанье босых ног. Что-то случилось. Взвизгнула женщина, шумно засорили мужчины, что-то опрокинулось, наверное стул, на улице тархтела автомашина. Весь дом взбудоражен. Наверху кто-то пробежал по комнате, за стеной подвыпивший клиент что-то испуганно говорит своей приятельнице, справа и слева двигают стулья, скребут ключом в замке, весь дом гудит от подвала до чердака, каждая ячейка этого человеческого улья.

Фердинанд возвращается от двери. Он побледнел, нервничает, у рта обозначились две глубокие складки.

– Ну что? – спрашивает Кристина, все еще сидя в кровати.

Когда он включает свет, она испуганно прикрывается одеялом.

– Ничего, – цедит он сквозь зубы. – Патруль, очередная проверка отеля.

– Кто?

– Полиция!

– К нам тоже зайдут?

– Вероятно. Ты не бойся.

– Нам что-нибудь будет за это?.. За то, что я с тобой?..

– Нет, не бойся. Документы у меня при себе, у портъе я записал свою фамилию, не волнуйся, я все улажу. В мужском общежитии в Фаворитене, где я жил, такие проверки бывали, обычная формальность... Правда... – лицо его помрачнело, – эти формальности всегда касаются только нас. Только нашего брата они поднимают среди ночи, только за нами гоняются как собаки... Но ты не бойся, я все улажу... а сейчас оденься, пожалуй...

– Потуши свет.

Она все еще стесняется его. Руки у не будто свинцовые, ей стоит немалых усилий натянуть на себя белье и платье. В изнеможении она опять садится на постель. С первой же секунды в этом ужасном доме чувство страха не покидало ее, и вот теперь оно стало паническим.

На первом этаже продолжают стучаться в двери. Слышно, как там ходят от комнаты к комнате. И каждый стук отдается ударом в перепуганном сердце Кристины. Фердинанд подсаживается к ней, гладит ее руки.

– Я виноват, прости. Я должен был предвидеть, но... я не знал ничего другого, а мне хотелось... мне так хотелось побыть с тобой. Прости.

Он гладит ее руки, по-прежнему холодные и дрожащие.

– Не бойся, – успокаивает он, – тебе ничего не сделают. А если... хоть один из проклятых псов обнаглеет, я им покажу. Со мной у них не выйдет, не для того я четыре года валялся в грязи, чтобы позволить каким-то ночным сторожам в мундирах измываться над собой, нет уж, они у меня попляшут.

– Не надо! – испугалась Кристина, увидев, как он нащупывает в кармане револьвер. – Умоляю тебя, не горячись! Если ты хоть немножко любишь меня, веди себя спокойно, лучше я... – Она не договаривает.

Теперь слышно, как шаги поднимаются по лестнице. Кажется, будто совсем рядом. Их комната третья, в первую уже стучат. Оба затаили дыхание, сквозь тонкую дверь слышен каждый звук. С первой комнатой разделались быстро, вот и вторая. Тук-тук-тук, трижды по дереву, потом распахивается дверь, и чей-то пьяный голос кричит:

– Вам больше делать, как приставать к порядочным людям по ночам? Ловили бы лучше бандитов!

– Ваши документы! – звучит в ответ строгий бас. Затем,

чуть тише, что-то добавляет.

– Моя невеста, да-да, невеста, – громко и с вызовом говорит пьяный голос, – могу доказать. Мы уже два года встречаемся.

По-видимому, этого достаточно, дверь с шумом захлопывается.

Сейчас их черед. От соседнего порога четыре-пять шагов. Вот они: топ, топ, топ... У Кристины замерло сердце. Стучат. Фердинанд спокойно идет навстречу полицейскому инспектору, который тактично стоит в дверях. У него круглое, вполне добродушное лицо с кокетливыми усиками, только вот воротник мундира, наверное, ему давит, и приятное в общем-то лицо побагровело.

Нетрудно представить себе, как он выглядит в штатском костюме или без пиджака, как приглашает на танец, качнув чуть захмелевшей головой... Но сейчас он, нахмутив брови, спрашивает:

– Документы при вас?

Фердинанд останавливается перед ним.

– Вот. Если угодно, могу предъявить и военные, они всегда при мне, мы, фронтовики, привыкли, что к нам из-за всякой чепухи придираются.

Инспектор, не обращая внимания на резкий тон, сличает удостоверение с регистрационным бланком, потом мельком оглядывает Кристину, которая, отвернувшись, сидит на стуле, будто на скамье подсудимых. Еще раз взглянув на Кри-

стину, уже мягче инспектор спрашивает:

– Вы знаете даму лично... то есть... давно знакомы с ней? – Он явно хочет проявить снисходительность.

– Да, – отвечает Фердинанд.

Козырнув, инспектор поворачивается к двери. Взглянув на Кристину, униженную, вырученную лишь его словом, Фердинанд в ярости делает шаг к полицейскому.

– Позвольте спросить... вот такие ночные налеты устраивают также в отеле "Бристоль" и других отелях на Ринге или только здесь?

Инспектор, с подчеркнута служебной миной, пренебрежительно отвечает:

– Я не обязан девать вам справки, я лишь исполняю приказ. Скажите спасибо, что я не очень придираюсь, ведь может оказаться, что данные о вашей даме в регистрационном бланке не столь уж, – он подчеркнул это слово, – основательны.

Фердинанд сжимает кулаки, его душит злоба, он прячет руки за спиной, чтобы не ударить по физиономии посланца государства; однако инспектор, судя по всему, привык к подобным вспышкам и, не удостоив его взглядом, спокойно закрывает за собой дверь. Разъяренный Фердинанд даже не сразу вспоминает о Кристине, которая не сидит, а скорее лежит бездыханным трупом на стуле. Он ласково гладит ее по плечу.

– Видишь, он даже не спросил твоей фамилии... Обыч-

ная формальность... вот только этими формальностями они отравляют жизнь и доводят людей до отчаяния. Неделю назад я читал, что... да, вспомнил... одна девушка выбросилась из окна, испугалась, что ее отведут в полицию, будут проверять на венерические заболевания... сообщат матери... И она предпочла броситься с третьего этажа... Я прочитал об этом в газет, две строчки, всего две строчки... Действительно, мелкое происшествие, мы ведь люди избалованные... по крайней мере похоронят в отдельной могиле, а не в общей, как прежде... да, дело привычное... в день умирает десяток тысяч, чего уж там один человек, тем более такой, как мы, с которыми все дозволено.

Да, в хороших отелях государство щелкает каблуками и держит детективов, только чтобы у дам не украли драгоценности, там никто не выслеживает ночью так называемого гражданина... А меня стесняться нечего.

Кристина еще ниже опускает голову. Ей вдруг вспомнились слова немочки из Мангейма: "... ночью тут только и ходят из номера в номер". И еще вспомнилось: белоснежные широкие постели и утренний свет, двери, которые закрываются легко и бесшумно, будто резиновые, мягкие ковры ваза с цветами у кровати. Конечно, там все могло быть красиво, хорошо и легко, а здесь...

Ее передергивает от омерзения. Фердинанд, не зная, чем помочь, бессмысленно повторяет:

– Ну успокойся, успокойся. Все прошло.

Но застывшее тело не перестает вздрагивать под его ладонью. Что-то в ней оборвалась, нервы не выдержали чрезмерного напряжения и трепещут, как телеграфные провода на ветру. Она не слушает его, она только прислушивается к стуку, который продолжается от дверей к дверям, от человека к человеку.

Теперь они на верхнем этаже. Стук внезапно усиливается. Все громче и громче повторяется: "Откройте! Именем закона!" Наступает короткая пауза, Кристина и Фердинанд напряженно слушают. Опять барабанят в дверь, но уже не костяшками пальцев, а кулаками. "Откройте! Откройте!" – повелительно рявкает голос. Судя по всему, там отказываются подчиняться. Раздается свисток, топот множества ног вверх по лестнице, и – четыре, шесть, восемь кулаков начинают молотить по двери: "Немедленно откройте!" Затем следуют оглушительные удары, треск дерева и – женский крик, панический, душераздирающий, пронзивший весь дом насквозь. Грохочут упавшие стулья, кто-то кем-то борется, шмякаются на пол тела, будто мешки с камнями, женский крик переходит в глухой вой.

Кристина и Фердинанд переживают все так, словно это происходит с ними самими. Рассвирепевший мужчина борется там с полицейскими, полуодетую женщину схватили за руку заученным приемом, и она, извиваясь, кричит: "Не пойду, не пойду!" – кричит, как затравленный зверек. Звонит разбитое стекло, наверное, выдавили окно в схватке. А

теперь вдвоем или втроем тащат ее, волокут по полу... через все стены слышно, как она барахтается и как они пыхтят. И вот – ее тащат по коридору, по лестнице, все тише, все подавленное звучат вопли перепуганной жертвы: "Не пойду, не пойду! Пустите! На помощь!"

– пока совсем не замирают внизу. Заводится мотор автомашины. Все. Птичка в клетке.

Стало тихо, гораздо тише, чем раньше. Страх тучей окутал весь дом.

Фердинанд, подняв Кристину со стула, целует ее в холодный лоб. Она лежит в его объятиях вялая, неподвижная, словно утопленница. Он целует ее в губы, но они сухие, бесчувственные. Он сажает ее на постель, она валится навзничь, бессильная, опустошенная. Он гладит ее по голове. Наконец она открывает глаза.

– Пойдем! – шепчет она. – Уведи меня отсюда, больше не могу, я не выдержу здесь больше ни секунды. – И внезапно, в приступе отчаяния, бросается перед ним на колени. Уйдем, прошу тебя, уйдем из этого проклятого дома.

– Деточка, но куда... только начало четвертого, до поезда еще два с половиной часа. Куда мы пойдем, лучше отдохни немного.

– Нет, нет. – Она бросает безумный, полный отвращения взгляд на смятую постель. – Прочь, прочь отсюда! И больше никогда... вот так... никогда!

Внизу, у конторки портье, полицейский делал какие-то

пометки на регистрационных бланках. Подняв глаза, он кольнул быстрым зорким взглядом спустившуюся по лестнице парочку. Кристина покачнулась, Фердинанд поддержал ее, но полицейский опять склонился над бумагами. И в тот миг, когда Кристина, выйдя на улицу, почуяла свободу, она вздохнула с таким наслаждением, будто ей еще раз подарили жизнь.

До утра еще долго. Но фонари, кажется, уже устали гореть. Все, кажется, устало: переулки – от своей пустоты, дома – от погруженности во мрак, магазины – от запертости, а несколько блуждающих фигур устали нести самих себя. Тяжелой рысью, опустив головы, лошади везут к рынку длинные крестьянские повозки с овощами; встречного прохожего они обдают на миг влажным терпким запахом; потом по брусчатке гроыхают молочные фургоны, дребезжа оцинкованными бидонами, и снова все тихо, серо и мрачно. У редких прохожих – подручных пекарей, уборщиков каналов и еще каких-то рабочих – невыспавшиеся, сердитые лица, похожие на серые маски; глядя на них, Кристина и Фердинанд остро ощущают это предрассветное настроение – взаимную неприязнь сонного города и спешащих на работу людей. Молча шагают они в темноте к вокзалу. Там, в приюте для бесприютных, можно посидеть и отдохнуть.

В зале ожидания они присаживаются в углу. Вокруг на скамьях спят мужчины, женщины, обложившись сумками, пакетами, свертками, да и сами спящие напоминают смятые пакеты, заброшенные какими-то судьбами в пустоту. Снаружи время от времени слышится пыхтение, лязганье, стоны. Это перегоняют локомотивы, пробуют пар в котлах, сцепляют вагоны.

– Ну что ты все об этом думаешь, – говорит Фердинанд. – Забудь, в следующий раз постараюсь, чтобы такого не было. Вижу, что обиделась, но ведь моей вины тут нет.

– Да, конечно, – говорит она, глядя перед собой, – вина не твоя. Но чья же? Почему это всегда случается с нами, ведь мы никому не сделали ничего плохого... Стоит только ступить шаг, как на тебя накидываются... Никогда я много не требовала от жизни, один раз поехала в отпуск, хотела отдохнуть неделю-другую как люди, весело и легко, и вот беда с матерью... И один раз... – Она умолкла.

– Деточка, будь же разумной, ну что особенного стряслось... кого-то искали, проверяли документы, это же чистая случайность.

– Да, конечно. Всего лишь случайность. Но то, что произошло... тебе этого не понять, нет, Фердинанд, тебе не понять, для этого надо родиться женщиной. Ты не представляешь, что думает об этом женщина... ведь всякая девушка, даже девочка, еще ничего не понимая, мечтает, что когда-нибудь это произойдет: она останется наедине с мужчиной ко-

того любит... Все об этом думают... и ни одна не знает, не может вообразить, как это будет, сколько бы ни рассказывали ей подруги. Но каждая девушка, каждая женщина представляет себе это как праздник... как что-то, не могу точно сказать... ну что-то, для чего, собственно, и существуешь, что придает смысл жизни... Годы, годы мечтаешь об этом, рисуешь себе, нет, не рисуешь, тут ничего не придумаешь, немыслимо, можно только мечтать как о чем-то прекрасном, грезить – знаешь, так смутно, неясно... и вот... и вот теперь... ужас, мерзость... Нет, когда все рушится, это невообразимо, невозможно... ведь если все осквернили, замарали, этого уже ничем больше не поправить, никогда...

Он гладит ее руку, но Кристина, словно не замечая его, оцепенело смотрит на грязный пол.

– Подумать только, что это зависит исключительно от денег, от гнусных, презренных денег. Два-три банкнота – и можно было бы уехать за город на машине... Куда-нибудь, где за тобой никто не следит, где мы одни, свободны... Ах, как это было бы чудесно, полное приволье, блаженство... Да и ты бы чувствовал себя иначе, ничего бы тебя не смущало, не тяготило... Но мы как бездомные собаки – вынуждены забираться в чужой сарай, откуда нас выгоняют плеткой... Господи, если б я знала, что все получится так ужасно...

– Но, увидев его лицо, она быстро добавила:

– Нет, нет, ты не виноват, просто я не могу избавиться от ужаса, он еще сидит во мне... Теперь ты понимаешь, почему

у меня так мерзко на душе. Дай мне немного времени, это пройдет...

– Но ты приедешь... приедешь еще?

Тревога, прозвучавшая в его вопросе, была ей приятна как первый теплый отклик.

– Да, – говорит она. – Приеду, не сомневайся. В следующее воскресенье, только... Ну ты сам знаешь... только об этом прошу...

– Да, – вздыхает он, – понимаю, понимаю.

Она уехала. Фердинанд поплелся в буфет и выпил две рюмки водки.

Пересохшую глотку обожгло как огнем. Он снова обрел способность двигаться и вышел на улицу. Шагая все быстрее и быстрее, он энергично размахивал руками, будто сражался с невидимым противником. Прохожие удивленно оглядывались на него. На стройке тоже обратили внимание, что обычно скромный и сдержанный десятник был в тот день груб с подчиненными и раздражался по всякому поводу.

Кристина сидит на почте, как и прежде, молчаливая, подавленная, выжидающая.

И вспоминают они друг о друге не с любовью и страстью, а с некой жалостью и сочувствием. Так думают не о возлюбленном, а о товарище по несчастью.

После той первой встречи Кристина каждое воскресенье ездит в Вену. Это ее единственный выходной день, летний отпуск уже использован. Они хорошо понимают друг друга. Слишком усталые, слишком разочарованные, чтоб воспылать страстной, всепоглощающей и преисполненной надежды любовью, оба уже счастливы тем, что нашли, кому можно довериться. Всю неделю они копят на это воскресенье. Копят деньги, ибо этот единственный день хотят провести вместе, отказавшись от вечной экономии, зайти в ресторан, в кафе, в кино, не скупясь особенно на траты, не подсчитывая каждый шиллинг. И всю неделю они берегут слова и чувства, обдумывают, что расскажут друг другу, зная и радуясь заранее, что будут выслушаны с искренним сочувствием и пониманием. После долгих лишений уже одно это значит для них очень много, и этого маленького счастья они ждут, отсчитывая с нетерпением понедельник, вторник, среду и еще нетерпеливее четверг, пятницу и субботу. Между собой они соблюдают некоторую дистанцию. Они не произносят известных слов, которые обычно легко слетают с уст влюбленных, не говорят о свадьбе и о том, что навеки будут вместе, – все это так нереально и далеко, да, собственно, еще и не началось как следует.

Приезжает она обычно около девяти; ночевать с субботы

на воскресенье в Вене она не хочет, для одной номер в гостинице слишком дорого стоит, а вдвоем боится – еще не забылись те ужасные часы. Он встречает ее, они ходят по улицам, сидят на скамейках в парке, ездят на электричке за город, обедают, бродят по лесу. Им не надоедает смотреть друг на друга. Они счастливы прогуляться вдвоем по лужайке, счастливы самыми простыми вещами в жизни, которые принадлежат даже беднейшим из бедных, – голубым осенним небом и золотистым солнцем, букетиками цветов и свободным праздничным днем. Это для них уже много, и каждый раз они ожидают следующей встречи с долготерпением людей, умудренных жизнью и непритязательных.

В последнее воскресенье октября осень, утомившись от радушия к людям, задула сильным ветром и собрала на небе тучи. Дождь зарядил с самого утра, и они вдруг почувствовали себя лишними в мире. Нельзя же целый день слоняться по улицам в плаще и без зонтика; нет смысла, да и обидно сидеть в переполненных кафе, где мучительно ощущаешь, как уходит время, драгоценное время.

Оба знают, чего им недостает. До смешного малого: крохотной комнатухи, каких-нибудь трех метров уединенности, четырех стен, которые принадлежали бы им сегодня. Они сознают, как бессмысленно двум молодым телам, жаждущим друг друга, весь день таскаться в мокрой одежде по городу или сидеть в переполненном помещении, а еще разкупить на ночь такую комнатуху они не рискуют. Проще

всего Фердинанду было бы снять комнату для их свиданий. Но он получает лишь сто семьдесят шиллингов, а живет у старушки в смежной с ее комнатой каморке, от которой нельзя отказаться. В ту пору, когда он был безработным, добрая хозяйка, поверив ему в долг, не брала с него ни за жилье, ни за стол; он должен ей еще двести шиллингов, выплачивает ежемесячно и раньше чем через три месяца не расплатится. Обо всем этом он Кристине не говорит, даже ей, близкому человеку, он стесняется признаться в своей бедности и долгах. Кристина догадывается, что, вероятно, какие-то денежные обстоятельства мешают ему съехать оттуда и снять другую комнату. Она охотно предложила бы ему денег, но боится оскорбить его мужское самолюбие и потому не заикается об этом.

Так они и сидят безутешно в прокуренных залах, поглядывая в окна, не кончился ли дождь. Как никогда еще, оба чувствуют безграничную власть денег, могучих, когда они есть, и еще более могучих, когда их нет, чувствуют божественность свободы, которую деньги могут дать, и сатанинское коварство, с каким они вынуждают отказаться от этой свободы. Ожесточение охватывает обоих, когда в утренних сумерках они глядят на светящиеся окна, где за золотистыми гардинами сотни тысяч мужчин, и у каждого есть кров и желанная женщина, а они, бесприютные, должны бесцельно бродить под дождем – так жестоко в природе лишь море, в котором можно умереть от жажды.

В городе множество комнат, светлых, теплых, с мягкими кроватями, полное уединение и тишина, здесь десятки, сотни тысяч таких комнат, наверное, не счесть, сколько из них пусто, и лишь у них одних нет ничего, даже уголка, где можно хоть на секунду прижаться друг к другу в поцелуе, ничего, чтобы утолить иссушающую жажду и остынуть от бессмысленной злости на мир; ничего им не остается, кроме как обманывать себя, что вечно так продолжаться не может, и вот – оба начинают лгать. В кафе, читая объявления, он делает себе какие-то пометки и сообщает ей, между прочим, что у него блестящие шансы на великолепное место: друг-однополчанин обещал устроить его в секретариат большой строительной фирмы, получать он будет там столько, что сможет учиться дальше и стать наконец архитектором. Кристина в свою очередь рассказывает – и это не ложь, – что подала в почт-дирекцию прошение о переводе в Вену, а дядя, к которому она ходила, обещал помощь – у него там большие связи. через неделю-другую придет ответ, наверняка благоприятный. Но Кристина умолчала о том, как дядя встретил ее на самом деле. Однажды вечером в половине девятого она подошла к дому, где он жил: судя по шуму, доносившемуся из открытых окон его квартиры, семья была в сборе, и Кристина уверенно позвонила. Через некоторое время в переднюю вышел слегка раздраженный дядя: жаль, что она пришла сегодня, когда тетя и кузины в отъезде (Кристина видела на вешалке их пальто и поняла, что это не правда), а он пригласил

к ужину двух друзей, поэтому принять ее не может, но если у нее есть какая-нибудь просьба... Она изложила просьбу, дядя выслушал, сказал:

"Да, да, конечно", – и она ясно почувствовала: он боится, что племянница попросит денег, и хочет поскорее отделаться от нее. обо всем этом Кристина не стала рассказывать Фердинанду, к чему лишать надежды человека, который и без того пал духом. Не сказала она ему и по то, что купила лотерейный билет, от которого, как все бедняки, ждет чуда. Ей легче было солгать, что она написала тете – вдруг та поможет ей найти здесь приличное место или пригласит к себе в Америку, тогда он поедет вместе с ней и наверняка хорошо устроится, там нужны энергичные деловые люди, Фердинанд слушает и не верит, так же как не верит ему она. Пустые разговоры, радость словно смыло дождем, взгляд затемнен помрачневшим небом, ясна обоим лишь полная безвыходность.

Порой они заговаривают о рождестве, о национальном празднике, у нее два свободных дня, можно куда-нибудь съездить, но это еще кода будет – в конце ноября и в конце декабря, еще ждать и ждать, долго, без всякой надежды.

Они обманывают себя словами, но в глубине души не обманываются, оба понимают, как изнурительно сидеть в шумном помещении среди людей, когда хочется быть наедине, сочинять друг другу небылицы, когда душа и тело жаждут правды и полно близости.

– В следующее воскресенье наверняка будет хорошо, – говорит она, – не может же вечно лить дождь.

– Да, – отвечает он, – конечно, будет хорошо.

Но радости они не чувствуют: надвигается зима, враг бесприютных, так что лучше не будет. С воскресенья на воскресенье оба надеются на чудо, но чуда не происходит, они лишь по-прежнему гуляют, обедают и разговаривают, и эти свидания постепенно превращаются из удовольствия в муку. Иной раз они ссорятся, правда сознавая, что это не от досады друг на друга, а от злости на свою нелепую участь, и им делается стыдно; всю неделю они радостно предвкушают новую встречу, а расставаясь, еще острее ощущают, что в их жизни что-то не правильно и противно здравому смыслу. Бедность почти совсем остудила в них чувственный пыл, но неприязни между ними нет, хотя порой они едва лишь терпят друг друга.

Хмурый ноябрьский день тускло светится за плохо протертыми окнами почтовой конторы, Кристина у стола подсчитывает расходы. Жалованья хватает еле-еле, с тех пор как она каждое воскресенье стала ездить в Вену; поезд, кафе, трамвай, обед, разные мелочи – вот и набегает. Порвался зонтик, перчатку потеряла, наконец – она все-таки женщина – купила новую блузку и пару изящных туфель. В итоге недочет небольшой, всего лишь двенадцать шиллингов, и хотя они с избытком покрываются оставшимися швейцарскими франками, тем не менее возникает вопрос: удастся ли

продолжать ежевоскресные свидания, не прося аванса и не залезая в долги. Инстинктом, унаследованным от трех поколений бережливых предков, она боится и того и другого. Но где же тогда выход? В прошлую встречу, два дня назад, был такой ужасный дождь и ветер, они почти все время сидели в кафе и стояли под навесами, даже укрывались в церкви, она вернулась промокшая, страшно усталая и огорченная.

Фердинанд был каким-то необычайно растерянным, то ли у него неприятности на работе, то ли еще что, держался неласково, чуть ли не грубо. Был замкнут, неразговорчив, и ходили они молча, словно поссорившись. Что его так расстроило? Обиделся, что она не в силах превозмочь отвращение и еще раз пойти с ним в такой же омерзительный отель, или причина была в погоде, в надоевшем до отчаяния блуждании из одного кафе в другое, в проклятой бесприютности, лишаящей их встречи всякого смысла и радости? Что-то в их отношениях, она чувствует, начинает угасать: не дружба, не товарищество, нет, но какая-то сила в них обоих почти одновременно ослабевает – они больше не решаются обманывать друг друга надеждами. сначала они воображали, что тем самым помогут друг другу, поддержат друг в друге уверенность, что можно найти выход из тупика бедности, но теперь они в это больше не верят, а зима с ее промозглой сыростью надвигается, как беспощадный враг.

Кристина не знает, где еще взять надежду. В левом ящике ее стола лежит напечатанное на машинке письмо, оно при-

шло вчера из почт-дирекции Вены:

"В ответ на Ваше прошение от 17.9.1926 мы вынуждены, к сожалению, сообщить, что перевести Вас в почтовый округ Вены а настоящее время не представляется возможным, так как согласно постановлению министерство (номер, дата) увеличение количество штатных мест в венских почтовых отделениях не предусмотрено и в данный момент вакансий нет".

Иного она не ждала. Возможно, дядя ходатайствовал за нее, возможно, забыл – во всяком случае, он единственный мог ей помочь, больше некому.

Значит, придется оставаться здесь год, пять лет, а чего доброго, и всю жизнь. Как бестолково устроен мир.

Все еще с карандашом в руке, она раздумывает, казать ли об этом Фердинанду. Странно, он ни разу не спросил, как обстоит с ее прошением, скорее сего, не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Нет, лучше не говорить, он и так поймет, если она смолчит. Только лишнее огорчение для него. Нет смысла. Теперь ни в чем нет больше смысла, ни в чем.

Скрипнула дверь. Кристина распрямляет спину и наводит на столе порядок; это у нее получается уже как бы механически, когда кто-нибудь входит и надо от грез переключаться на работу. Но что-то ей сейчас показалось странным: дверь открывается не так, как обычно, когда входят крестьяне, – те распахивают ее, как дверь в сарай, и с треском захлопывают за собой. В этот раз она открывается осторожно, роб-

ко и очень медленно, будто от легкого ветерка, только чуть поскрипывают петли. Кристина с невольным любопытством поднимает глаза и вздрагивает от испуга. За стеклянной перегородкой стоит человек, которого она меньше всего ожидала здесь увидеть, – Фердинанд.

Кристина перепугалась не на шутку. Фердинанд не раз предлагал, чтобы она не моталась все время в Вену, лучше он будет приезжать сюда. Но она всегда возражала, стесняясь, наверное, предстать перед ним в этой убогой конторе и в самодельном рабочем халате, короче, из-за женского тщеславия и стыдливости. Вероятно, опасалась она и болтовни деревенских кумушек; что скажут хозяйка дома и соседка, если увидят ее с каким-то незнакомцем из Вены в лесу, а Фуксталер, тот просто обидится. И вот он все же приехал, это не к добру.

– Удивляешься, не ожидала? – Это должно было прозвучать весело, но в горле что-то мешает, и получается хриловато.

– Что?.. Что случилось? – спрашивает она в страхе.

– Ничего. В что должно случиться? Просто выпал свободный день, и я подумал: съезжу-ка разок. Ты не рада?

– Да, да, – лепечет она, – конечно.

Он оглядывает помещение.

– Значит, это твое царство. Гостиная в Шенбрунне красивее и шикарнее, но зато ты здесь одна и над тобой нет повелителя. А это уже немало!

Не отвечая, она думает только об одном: что ему надо?

– У тебя сейчас, кажется, обеденный перерыв? Я подумал: может, прогуляемся немного и поговорим?

Кристина смотрит на часы. Без четверти двенадцать.

– Еще нет, но скоро... Только вот... по-моему... будет лучше, если мы выйдем отсюда не вместе. Ты не представляешь, какой здесь народ; если увидят меня с кем-то, тут же пойдут расспросы, лавочник, бабы – все подряд начнут приставать: с кем это я да откуда он... а врать я не люблю. Лучше ступай вперед, иди сразу направо по Церковной улице, дойдешь до холма, а оттуда по дорожке наверх, нет, не заблудишься, к церкви святого Михаила, она на горе.

Возле леска стоит большое распятие, его сразу видно, как выйдешь из деревни, а перед ним скамейки, садись и жди меня. В полдень там никого нет, все обедают. Ну и... никто внимания не обратит на постороннего, там бывают только богомольцы. Жди, я приду вслед за тобой минут через пять, у нас будет время до двух часов.

– Ладно, говорит он. – Найду. Пока.

Он наполовину прикрывает за собой дверь. Резкий, лаконичный тон его ответов еще звучит у Кристины в ушах. Что-то случилось. Без причины он бы не приехал, у него же рабочий день. Да и поездка стоит денег... Шесть шиллингов сюда, шесть обратно. Наверняка есть причина.

Она опускает стекло, руки дрожат, с трудом поворачивают ключ в двери.

Ноги как свинцовые.

– Куда ж это собралась? – любопытствует идущая с поля крестьянка Хубер, видя как почтовая барышня в обеденное время направляется к лесу, чего за ней раньше не примечалось.

– Гулять, – отвечает она.

За каждый шаг надо оправдываться, ни на секунду с тебя не спускают глаз. Подгоняемая тревогой, она идет все быстрее и по конец почти бежит.

Фердинанд сидит на каменной скамье. Над ним распростертый Христос, в руки вколочены гвозди, голова в терновом венце с трагической покорностью свешивается набок. Силуэт Фердинанда на скамье под высоченным распятием кажется частью печальной скульптуры. Угрюмо склоненная на грудь голова и вся фигура словно окаменели в сосредоточенном, упорнейшем раздумье. Палка в его руке глубоко вонзилась в землю. Не услышав сначала ее шагов, она затем выпрямляется, выдергивает палку и, повернувшись, смотрит на Кристину. Без любопытства, без радости, без ласки в глазах.

– А-а, пришла, – говорит он. – Садись, здесь никого нет.

– Ну что, что случилось, скажи? – спрашивает она.

– Ничего. – Он смотрит прямо перед собой. – А что должно случиться?

– Не мучай меня. Я же по тебе вижу. Что-то наверняка случилось, раз ты сегодня свободен.

– Свободен... пожалуй, ты права. Я действительно свободен.

– Но почему... Ведь тебя не уволили?

Он желчно смеется:

– Уволили? Нет. Увольнением это, пожалуй, не назовешь.

Это лишь конец стройки.

– То есть как коне, что это значит, почему конец?

– Конец – это конец. Наша фирма разорилась, подрядчик исчез. Теперь его называют мошенником, аферистом, а еще позавчера перед ним лебезили. Я уже в субботу кое-что заметил: он долго названивал в разные места по телефону, пока не привезли жалованье для рабочих; нам выплатили только половину – ошибка, мол, в расчетах, сказал доверенный фирмы, выписали в банке меньше, чем надо, в понедельник доплатят. Ну а в понедельник ни гроша не привезли, и во вторник тоже, и в среду... Сегодня все прикрыли, подрядчик сбежал, строка временно прекращена, и вот можно хоть раз позволить себе роскошь – прогуляться.

Она неподвижно смотрит на него. Больше всего ее пугает, что он говорит об этом так спокойно и насмешливо.

– Но ведь в таком случае тебе обязаны по закону выплатить компенсацию?

– Да, кажется, в законах что-то похожее есть, ладно, поглядим. Пока им нечем платить даже за почтовые марки, от долгосрочного кредита остались рожки да ножи, пишушие машинки и те отданы в залог. Мы-то, конечно, может подо-

ждать, время у нас есть.

– Что же ты собираешься делать?

Он молча выковыривает палкой из земли мелкие камешки и неторопливо, один за другим, сгребает их в кучу. Кристине становится страшно.

– Ну говори же... что теперь будешь делать?

– Что буду делать? – Опять этот странный короткий смешок. – Ну что в таких случаях делают. Обращусь к своему банковскому счету, буду жит на "сбережения". Правда, еще не знаю как. Потом, через полтора месяца, будет, вероятно, дозволено воспользоваться благодатным установлением, именуемым пособием по безработице. Попытаюсь существовать на это, как существуют триста тысяч других в нашем благословенном придунайском государстве. А если доблестная попытка кончится неудачей, придется подышать.

– Чушь. – Его хладнокровие бесит Кристину. – Зачем принимать все так близко к сердцу. Тебе не найти места?.. Да такой человек, как ты, всегда устроится, сто мест взамен одного найдет. Неожиданно всплыв, он бьет палкой по земле.

– А я не желаю больше устраиваться! Сыт по горло! Само это слово приводит меня в бешенство, уже одиннадцать лет меня устраивают и пристраивают, и все на разные места, но ни разу я не попал на такое, которое устроило бы меня самого. Четыре года на бойне, а потом бог знает где еще. И всегда я исполнял чужую волю, никогда не действовал по своей собственной, всегда ждал свистка: вон! Хватит! На другое

место! Начинать заново, каждый раз сначала. Все, больше не могу. Не хочу, надоело.

Она порывается остановить его, но он продолжает:

– Не могу больше, Кристина, клянусь тебе, не могу. лучше подохнуть, чем снова в посредническую контору и снова часами, как нищий, стоять в очереди за одной бумажкой, за другой. А после таскаться вверх и вниз по этажам, писать письма, на которые никто не ответит, и рассылать предложения, которые по утрам выгребают из мусорных баков. Нет, мне больше не выдержать этой собачьей жизни: топчешься в приемной, пока тебя не соизволят впустить к какому-нибудь мелкому чинуше; и вот он важно оглядывает тебя с этакой заученной, холодной, равнодушной улыбкой, чтоб ты сразу понял: вас, мол, таких сотни, скажите спасибо, что вас вообще слушают. Потом с замиранием сердца – это повторяется каждый раз – ждешь, а он небрежно листает твои бумаги с таким видом, будто плевать на них хотел, и наконец изрекает: "Буду иметь вас в виду, загляните завтра". Заглядываешь и завтра, и послезавтра – все без толку; в конце концов куда-то себя ставят и опять выставляют. Нет, мне этого больше не вынести. Я многое выдержал: в рваных ботинках семь часов топал по русским проселкам, пил воду из луж, тащил на горбу три пулемета, попрошайничал в плену, закапывал трупы. Я чистил сапоги всей роте, продавал похабные фотографии только ради жратвы, я все делал и все выдерживал, так как верил, что когда-нибудь это кончится, когда-нибудь

найду себе место, одолею первую ступеньку, вторую. Но нашего брата все время сшибают. Я сейчас до того дошел, что скорее убью, пристрелю кого-либо, чем стану у него попрошайничать. Нет у меня больше сил шататься по приемным и выстаивать на бирже труда. Мне уже тридцать, не могу больше.

Она дотрагивается до его плеча. Ей бесконечно жалко его, и она не хочет, чтобы он это почувствовал. Но Фердинанд сейчас, словно окаменев, погруженный в собственные переживания, вовсе и не замечает Кристины.

– Ну вот, теперь ты знаешь все, но не думай, что я приехал плакаться.

Жалости мне не надо. Побереги ее для других, кому-нибудь пригодится. Мне уж ничего не поможет. я пришел проститься с тобой. Наши встречи не имеют больше смысла. Вводить тебя в расходы я себе не позволю, у меня еще есть гордость.

Лучше разойтись по-хорошему и не взваливать друг на друга свои заботы. Вот что я хотел тебе сказать. И еще – поблагодарить за все...

– Фердинанд! – Она в отчаянии обнимает его, прижимается со всей силой.

– Фердинанд, Фердинанд, – только и повторяет она, не находя другого слова, охваченная безумным страхом.

– Ну скажи честно, како смысл? Разве тебе самой не горько, когда мы топаем по грязным улицам, торчим в кафе и,

не находя выхода, врем друг другу? Сколько еще может так продолжаться, чего нам ждать? Мне тридцать, но с каждым месяцем я чувствую, что постарел еще на год. Я не видел мир, жил только мечтой, верил, что придет наконец мой час и жизнь начнется. Но теперь знаю: ничего больше не придет, ничего хорошего. Я выдохся, мне уже не подняться. С таким связываться не стоит... Твоя сестра это сразу почуяла и встала между мной и Францем, чтобы я его не трогал и не увлекал. И тебя я только увлеку, и зря. Так что давай кончим по-хорошему, по-человечески.

– Да, но... как же ты будешь дальше?

Фердинанд молча, сосредоточенно ковыряет палкой землю. Взглянув вниз, Кристина цепенеет от страшной догадки. Он пробуравил в земле дырку и заворуженно смотрит на нее, будто собрался туда провалиться. Кристина все поняла.

– Неужели ты...

– Да, – спокойно отвечает он. – Это единственно разумный выход.

Начинать опять сначала у меня нет охоты, но подвести черту я еще в силах. Я знавал четверых, которые это сделали. Одно мгновение... Видел их лица.

После. Добрые, довольные, ясные. Это не трудно. Легче, чем так жить.

Она по-прежнему обнимает его, но вдруг ее руки слабеют и опускаются.

– Тебе непонятно? – спрашивает он, спокойно глядя на

нее. – Ты всегда была со мной откровенна.

Помолчав, она признается:

– Часто я думала о том же. Только боялась выказать себе все четко и ясно, как ты. Ты прав, жить так дальше нет смысла. Он с сомнением смотрит на нее и спрашивает тоном, в котором слышится отчаяние и какой-то соблазн:

– Ты решилась бы?..

– Да, с тобой. – Она произносит это совершенно спокойно и твердо, словно речь идет по прогулке. – Одной мне не хватит мужества, не знаю... я не задумывалась о том, как это делается, иначе давно бы, наверное, сделала.

– Ты со мной... – Блаженно бормочет он и берет ее руки.

– Да, – по-прежнему спокойно отвечает она, – когда захочешь, но вместе.

Не хочу больше тебя обманывать. Перевод в Вену не разрешили, а здесь, в деревне, я пропаду. Так лучше сразу, чем медленно. А в Америку я не писала.

Они мне не помогут, ну пришлют десять-двадцать долларов – что это даст?

Лучше уж сразу, чем мучиться, ты прав!

Он долго разглядывает ее. Никогда еще он не смотрел на нее с такой нежностью. Жесткие черты его лица разладились, суровые глаза светятся ласковой улыбкой.

– Мне и в голову не приходило, что ты... согласишься сопровождать меня в такую даль. Теперь мне вдвое легче, ведь я за тебя тревожился.

Они сидят, взявшись за руки. Глядя на них, можно подумать, что это любовная парочка, только что обручились и взошли по тропинке сюда, чтобы скрепить помолвку перед распятием. Никогда они не чувствовали себя так беззаботно и так уверенно. И впервые у них появилась уверенность друг в друге и в будущем. Они долго сидят, сплетя руки, глаза в глаза, и лица у них добрые, довольные и ясные. Потом она тих спрашивает:

– А как ты это... сделаешь?

Он достает из заднего кармана револьвер. Гладкий блестит в лучах ноябрьского солнца. Оружие кажется ей совсем не страшным.

– В висок, – говорит он. Не бойся, рука у меня твердая, не дрогнет...

Потом себя в сердце. Это армейский револьвер самого крупного калибра, вполне надежный. Раньше, чем в деревне услышат два выстрела, все будет кончено.

Бояться не надо.

Она без всякого волнения, с деловитым любопытством рассматривает револьвер. Потом переводит взгляд на возвышающийся в нескольких метрах от скамейки огромный крест из темного дерева, на котором распятый Христос мучился три дня.

– Не здесь, – поспешно говорит она. – Не здесь и не сейчас.

Понимаешь... – Она смотрит на него и нежно сжимает его пальцы. – Прежде я хочу еще раз побыть с тобой... по-

настоящему, без страха, без всяких ужасов... Целую ночь... нам надо, наверное, еще многое сказать друг другу... последствий... то, чего в жизни обычно никогда не говорят... Хочу побыть с тобой, целую ночь с тобой... А утром пусть нас найдут.

– Хорошо, – соглашается он. – Ты права, надо взять лучшее от жизни, прежде чем покончить с ней. Прости, об этом я не подумал.

Опять они сидят молча. Легкий ветерок овеивает их. Даже чуть пригревает солнце. На душе у них хорошо и поразительно безмятежно. Но тут с колокольни доносятся три удара. Кристина спохватывается:

– Без четверти два!

Фердинанд звонко смеется:

– Вот видишь, каковы мы. У тебя хватает храбрости умереть, но опоздать на службу боишься. Как же глубоко засело в нас рабство. В самом деле, пора освободиться от всей этой чепухи. Неужели ты собираешься идти туда?

– Да, – говорит она. – Так лучше. Хочу все привести в порядок. Глупо, но... понимаешь, мне будет легче, если я все приберу, надо еще письма написать. К тому же... если я буду сидеть там до шести часов, меня никто не хватится. А вечером поедем в Кремс, или в Санкт-Пельтен, или в Вену. У меня есть еще деньги на приличный номер и ужин, проживем разок так, как хочется... только пусть все будет хорошо, красиво... а завтра утром, когда нас найдут, нам уже будет

безразлично... В шесть часов зайди за мной, теперь мне все равно, пусть смотрят, пусть говорят и думают что угодно. В шесть я запру дверь и освобожусь от всего, от всех... стану по-настоящему свободна... мы оба станем свободны.

Он не спускает с нее глаз, ее неожиданная стойкость нравится ему.

– Ладно, – говорит он. – Приду к шести. А пока погуляю, погляжу еще раз на мир. До свидания.

Весело и проворно она сбегает по дорожке и внизу оборачивается. Он стоит наверху, глядя ей вслед, потом вынимает носовой платок и машет.

– До свидания! До свидания!

Кристина вошла в контору. Неожиданно все стало легко. Без всякой враждебности встречают ее письменный стол, конторка, стул, весы, телефон и груды бумаг. Они теперь не издеваются и не злорадствуют втихомолку: "Тысячу раз, тысячу аз, тысячу раз", ибо она знает, что дверь открыта, один шаг – и перед ней свобода.

Она вдруг обрела удивительный покой, тот светлый покой, которым дышит луг, когда на него опускаются первые вечерние тени. Все у нее получается легко, словно играючи. Она пишет несколько прощальных писем – сестре, почтовому ведомству, Фуксталеру – и сама удивляется, какой у

нее каллиграфический почерк, как ровно ложатся строчки и точно одинаковы пробелы между словами. Так же чисто и аккуратно, как в домашних заданиях, которые она писала в школьные годы, не вникая в смысл. Одновременно она обслуживает посетителей, ей сдают письма, посылки, вносят деньги, заказывают телефонные разговоры. И каждого она обслуживает необычайно старательно и вежливо. У нее появилось неосознанное желание оставить о себе этим чужим, посторонним людям – Томасу, крестьянке Хубер, помощнику лесничего, ученику из мелочной лавки, жене мясника – приятное воспоминание, это ее последняя маленькая дань женскому тщеславию. Она непринужденно улыбается, когда ей говорят: "До свидания", и отвечает еще сердечнее: "До свидания", потому что все в ней дышит уже другим воздухом, воздухом избавления.

Потом она доделывает невыполненную работу, подсчитывает задолженности, выписывает счета, сортирует. Никогда еще на ее столе не было такого порядка, она даже стерла чернильные пятна и поправила висевший криво календарь – ее преемнице не придется жаловаться. Никому не придется жаловаться теперь, когда она счастлива. Наводя порядок в своей жизни, она и здесь должна все упорядочить.

Увлечшись работой, она забыла о времени и была немало удивлена, когда на пороге появился Фердинанд.

– Уже шесть? Господи, а я и не заметила. еще минут десять – двадцать, и я готова, понимаешь, хочется все оставить

так, чтобы ни к чему не придрались. Мне только подвести баланс, подсчитать кассу, и я в твоём распоряжении.

Он говорит, что подождет на улице.

– Нет, нет, посиди здесь, я опущу жалюзи. А если кто и увидит, что мы вышли отсюда вместе, теперь это неважно, завтра они больше удивятся.

– Завтра, – улыбается он. – Я рад, что завтра не будет. По крайней мере для нас... Чудесно прогуляться, небо, краски, лес... гм, а он был неплохим архитектором, милый боженька, немного старомодным, но все-таки лучше, чем мог бы стать я.

Она впускает его в священную служебную зону за стеклянной перегородкой, куда ни разу не ступал ни один посторонний.

– Стула предложить тебе не могу, наша республика не настолько щедра, садить на подоконник и покури, через десять минут я разделаюсь, – она облегченно вздыхает, – разделаюсь со всем.

Кристина быстро суммирует цифры, колонку за колонкой. Потом достает из несгораемого шкафа черную сумку, похожую на волынку, и начинает считать деньги. Она складывает их отдельными стопками – пятерки, десятки, сотенные, тысячные – и, смачивая палец о губку, с профессиональной сноровкой пересчитывает синие бумажки, помечая карандашом общее число банкнотов в каждой стопке, торопясь сверить наличность с кассовой книгой и подвести черту, по-

следную, избавительную.

Неожиданно она услышала за спиной стесненное дыхание и обернулась.

Оказывается, Фердинанд слез с подоконника, тихо подошел к столу и вот – заглядывает ей через плечо.

– Ты что?

– Разреши, – сдавленным голосом говорит он, – я возьму на минуту одну бумажку. Давно не держал тысячу и вообще никогда не видел столько денег сразу.

Он осторожно, как нечто хрупкое, берет купюру, и Кристина замечает, что его рука дрожит. Что с ним? Он так странно уставился на синюю бумажку, ноздри трепещут, в глазах непонятный блеск.

– Сколько денег... У тебя здесь всегда столько?

– Конечно, сегодня даже мало, одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят шиллингов. Но к концу квартала, когда виноградари вносят налоги или фабрика перечисляет заработную плату, набирается сорок, пятьдесят, шестьдесят тысяч, а один раз было даже восемьдесят.

Взгляд его прикован к столу. Словно испугавшись, он убирает руки за спину.

– И ты... не боишься держать здесь такую сумму?

– А чего бояться? Ока зарешечены, смотри, какие толстые прутья, на втором этаже живут Вайденхофы, рядом мелочная лавка, наверняка услышат, если кто полезет. А на ночь запирая сумку в шкаф.

- Я бы боялся.
- Ерунда, чего?
- Самого себя.

Он отвел глаза от ее недоуменного взгляда и стал ходить взад-вперед по комнате.

– Я бы не выдержал, ни одного часа, дышать бы не мог рядом с такой кучей денег. Все время считал бы: вот тысяча, бумажка как бумажка, но если я прикарманю ее, то смогу привольно жить три месяца, полгода, год и делать что хочу... а на все эти – сколько ты сказала? – одиннадцать с половиной тысяч мы смогли бы жить два-три года, посмотреть мир, пожить настоящей жизнью, так, как хочется, как человеку положено жить от рождения, ничем не стесненному, не скованному. Только протянуть руку – и полная свобода... нет, я бы не выдержал, сошел с ума, все время смотреть на них, трогать, нюхать и знать, что принадлежат тому дурацкому пугалу, государству, которое не дышит, не живет, ничего не хочет и не понимает, этому глупейшему изобретению человечества, которое измалывает людей. Я бы сошел с ума... я бы привязывал себя на ночь от соблазна взять ключ и отпереть шкаф... И ты могла спокойно жить рядом! Неужели ни разу не подумала об этом?

– Нет, – говорит она испуганно, – ни разу не думала.

– Значит, государству повезло. Негодяям всегда везет. ну ладно, собирайся, – говорит он чуть ли не с яростью, – убери деньги. Видеть их больше не могу.

Она быстро запирает контору. Теперь и у нее вдруг задрожали руки. Оба направляются к станции. Уже стемнело, в освещенные окна видно, как люди сидят за ужином; а когда они проходят мимо последнего дома, до них доносится тихое ритмичное бормотание – вечерняя молитва. Оба шагают молча, будто идут не вдвоем. Одна и та же мысль следует за ними как тень. Они чувствуют ее в себе, вокруг себя, и, когда, сворачивая с деревенской улицы, невольно ускоряют шаг, она не отстает от них.

За последними домами они внезапно оказались в полной темноте. Небо светлее земли, на его прозрачном фоне аллея прорисовывается силуэтами оголенных деревьев. Черные суцья, словно обожженные пальцы, хватают недвижный воздух. По дороге встречаются редкие прохожие и повозки, но их почти не видно, слышен только шум колес и шаги.

– Есть тут еще дорога на станцию? Какая-нибудь тропинка, где нет ни души?

– Есть, – отвечает Кристина, – вот, направо. Ей стало немного легче оттого, что он заговорил. Можно хоть на минуту отвлечься от мысли, которая грозной тенью преследует

ее от самой конторы, неслышно, упорно, шаг за шагом.

Некоторое время Фердинанд идет молча, будто забыв о ней, даже не касается рукой. И вдруг, точно свалившийся с неба камень, звучит вопрос:

– Ты полагаешь, к концу месяца может набраться тысяч тридцать?

Она сразу поняла, о чем он думает, и, чтобы не обнаружить своего волнения, постаралась ответить твердым голосом:

– Да, пожалуй.

– А если задержать перечисления... Если ты придержишь на несколько дней налоги или что там еще, я ведь знаю нашу Австрию, проверяют не так уж строго, сколько наберется тогда?

Она задумывается.

– Тысяч сорок наверняка. Возможно, и пятьдесят... Но зачем?..

– Сама понимаешь зачем, – отвечает он почти сурово.

Она не решается возражать. Он прав, она понимает зачем. Они молча идут дальше. Где-то рядом в пруду как сумасшедшие расквакались лягушки, от этой какофонии даже больно ушам. Внезапно Фердинанд останавливается.

– Кристина, нам незачем притворяться друг перед другом. Положение у нас чертовски серьезное, и мы должны быть откровенными до конца. Давай подумаем вместе, спокойно и ясно.

Он закуривает сигарету. На мгновение пламя спички освещает его напряженное лицо.

– Итак, поразмыслим. Сегодня мы решили покончить с собой, или, как красиво пишется в газетах, "уйти из жизни". Это неверно. Мы вовсе не собирались уходить из жизни, ни ты, ни я. Мы лишь хотели выбраться наконец из нашего жалкого прозябания, и другого выхода не бело. Не из жизни мы решили уйти, а из нашей бедности, из этой отупляющей, невыносимой, неизбежной бедности. И только. Мы были уверены, что револьвер – последний, единственный путь. Но мы ошибались. Теперь мы оба знаем, что в крайнем случае есть еще один путь, предпоследний. Вопрос теперь вот в чем: хватит ли у нас мужество ступить на этот путь и как мы его пройдем. – Он помолчал, затягиваясь сигаретой. – Нужно спокойно, по-деловому все взвесить и продумать, как арифметическую задачу... Разумеется, я не хочу вводить тебя в заблуждение. Говорю честно: второй путь потребует, вероятно, больше мужества, чем первый. Там дело просто: нажал пальцем, выстрел – все. Второй путь тяжелее, потому что куда длиннее. Тут надо напрячься не на секунду, а на недели, на месяцы, и придется постоянно укрываться, прятаться. Выдержать неизвестность всегда труднее, чем определенность, кратковременный сильный страх легче долгого, нескончаемого. Необходимо заранее взвесить, хватит ли сил выдержать это напряжение и стоит ли оно того. Стоит ли быстро покончить с жизнью или еще раз попробовать все

сначала. Вот мои соображения.

Он шагает дальше, Кристина машинально следует за ним. Ее ноги передвигаются сами по себе, рассудок молчит, она лишь безвольно ждет, что он скажет, ловит каждое его слово. Перепуганная насмерть, она бессильна что-либо соображать.

Фердинанд снова останавливается.

– Пойми меня правильно. Я не испытываю ни малейших нравственных угрызений перед нашим государством, чувствую себя совершенно независимым от него. Оно совершило такие чудовищные преступления перед нами, перед нашим поколением, что мы имеет право на все. Сколько бы мы ему ни вредили, все равно это будет лишь возмещением ущерба за нашу погубленную молодость. Если я краду, то кто побудил и научил меня этому, как не государство? На войне это называли реквизицией и экспроприацией, в мирном договоре – регрессом.

Если мошенничаем, то кому мы обязаны этим искусством? Только ему, нашему наставнику. Государство показало, как накопленные тремя поколениями деньги можно за две недели превратить в дерьмо, как ловком можно выманить у семейства принадлежавшие ему лет сто дома, луга и поля. Даже если я кого-нибудь убью, кто меня на это натаскал и вымуштровал? Шесть месяцев в казарме и годы на фронте! Клянусь богом, наш процесс против государства идет отлично, мы выиграем его во всех инстанциях, государ-

ству никогда не погасить своего огромного долга, не вернуть того, что отнято у нас. Совесть по отношению к государству была хороша в давние времена, когда оно выступало добрым опекуном, порядочным, бережливым, корректным. Теперь же, когда оно обошлось с нами подло, каждый из нас имеет право быть подлецом. Ты понимаешь?.. У меня нет ни малейших сомнений – и у тебя их тоже не должно быть, – что мы вправе взять реванш. Я заберу наконец свою пенсию по инвалидности, которая положена мне на законном основании и в которой мне отказало высокочтимое казначейство, возьмем деньги, украденные у твоего отца и у моего, вернем себе естественные человеческие права, которые отняли у нас, живых. Клянусь тебе, моя совесть будет спокойна, ведь и государству безразлично, живы мы или подохли, и бедняков не прибавится, сколько бы мы ни взяли – сто, тысячу или десять тысяч синих бумажек, для государства это не более ощутимо, чем для лужайки, где корова съест несколько лишних травинок.

Меня это совершенно не тревожит, и если б я украл десять миллионов, то спал бы так же безмятежно, как директор банка или генерал, проигравший три десятка сражений. я думаю лишь о нас, о нас с тобой. Нельзя только действовать безрассудно, как какой-нибудь пятнадцатилетний мальчишка-приказчик, который, стянув десять шиллингов из хозяйской кассы, промотает их через час, не зная, зачем это сделал. Для подобных экспериментов мы староваты. У нас лишь

две карты в руках, ставим либо на одну, либо на другую. И выбор надо хорошенько обдумать.

Отведя душу, он идет дальше. Кристина чувствует, как напряженно работает его мозг, ей даже не по себе от его спокойных логичных рассуждений, от острого сознания его превосходства и своей покорности.

– Итак, не торопясь, шаг за шагом. Никаких скачков. Никаких надежд и фантазий. Давай рассуждать. Если мы сегодня покончим с собой, то сразу отделаемся от всего. Одно движение – и жизнь позади... вообще говоря, мысль любопытная, я всегда вспоминаю нашего учителя в гимназии, он часто повторял: единственное превосходство человека над животным состоит в том, что он может умереть, когда хочет, а не когда должен. Наверное, это единственная свобода, которой располагаешь всю жизнь, – свобода расстаться с жизнью. Но мы оба еще молоды и, собственно, толком не понимаем, с чем расстаемся. В сущности, мы хотим расстаться лишь с той жизнью, которую не приемлем, отвергаем, но ведь, возможно, есть и такая, что нам понравится. С деньгами жизнь иная, так я по крайней мере думаю, да и ты тоже. Но раз уж мы еще о чем-то думаем – понимаешь, что я имею в виду? – значит, наш отказ от жизни преждевременен, значит, мы покушаемся на то, на что у нас нет права, другими словами, на зародыш непрожитой жизни, на какую-то новую и, вероятно, замечательную возможность. Как знать, может, благодаря деньгам из меня еще что-нибудь получит-

ся, может, во мне кое-что заложено, но еще не проявилось и погибает, как вот эта травинка, которую я сорвал, сорвал, не дав ей вырасти. Ведь что-то во мне смогло бы еще развиться, да и в тебе... Ты, например, могла бы иметь детей, могла... кто бы знал... Удивительное именно в том, что никто не знает... Понимаешь, я хочу сказать, что... ну, образ жизни, который мы вели, не стоит того, чтоб его продолжать, это жалкое прозябание от воскресенья до воскресенья, от отпуска до отпуска. Но как знать, вдруг нам удастся все изменить, для этого надо только мужество, и мужества побольше, чем для мгновенной смерти. В конце концов, если дело сорвется, револьвер всегда при мне. Так как ты думаешь, раз деньги, что называется, сами плывут в руки, стоит их взять?

– Да, но... куда мы с ними денемся?

– За границу. Я зная языки, говорю по-французски, даже очень хорошо, свободно говорю по-русски, немного по-английски, остальное приложится.

– Да, но... будут же разыскивать... Тебе не кажется, что они могут найти нас?

– Не знаю, и никто не может знать этого. Возможно, даже вероятно, найдут, а возможно, и нет. Думаю, это в первую очередь зависит от нас сами: сумеем ли выдержать, будем ли действовать с умом, осторожно, все ли верно рассчитаем. Конечно, потребуется неимоверное напряжение. Спокойной жизни, видимо, не ожидается, будет вечное бегство, уход от погони. Тут я тебе ничего не могу сказать, решай сама, хва-

тит ли у тебя мужества.

Кристина задумывается. Так трудно все вдруг обдумать.

– Одна я ни на что ре решусь. Я женщина, ради самой себя я не осмелюсь – только ради другого, вместе с этим другим. Для двоих, для тебя я смогу все. Стало быть, если ты хочешь...

Он убыстряет шаг.

– Вот то-то и оно, что я не знаю, хочу ли. Ты говоришь: вдвоем тебе легче. А мне было бы легче сделать то одному. Я бы знал, чем рискую – исковерканной, пропащей жизнью, – и черт с ней. Но я боюсь увлечь с собой тебя, ведь все это задумал я, а не ты. Я не хочу ни подбивать тебя, ни втягивать, и если ты что-то решишь, то должна сделать это по своей воле, а не по моей.

За деревьями мелькают огоньки. Тропинка кончается, скоро станция.

Кристина идет будто оглушенная.

– Но... как ты собираешься все это сделать? – спрашивает она. – Не представляю, куда мы денемся, судя по газетам, всех всегда ловят. Что ты предлагаешь?

– Да я вовсе и не думал еще об этом. Ты меня переоцениваешь. Идея рождается в секунду, но только дураки спешат ее осуществить. Потому их всегда и ловят. Есть два вида правонарушений – или преступлений, как обычно говорят, – одни совершаются в азарте, со страстью, другие расчетливо, продуманно. Азартные, пожалуй, красивее, но они-то в ос-

новном не удаются.

Так поступают мелкие воришки, хватают в хозяйской каске десятку и бегут на ипподром, надеясь на выигрыш или на то, что шеф не заметит пропажи, – все они верят в чудо. А я в чудеса не верю, я знаю, нас двое, а против нас гигантская организация, которая создавалась веками и вобрала в себя ум и опыт тысяч сыщиков; я знаю, что каждый сыщик в отдельности болван, что я в сто раз умнее и хитрее его, но за ними стоит опыт, система. Если мы – видишь, я еще говорю "мы" – все-таки решимся на это, необходимо полностью исключить любое мальчишество. Поспешить – людей насмешить. План операции надо продумать до мелочей, рассчитать любую возможность. Это как в математике, исчисление вероятностей. Так что давай сначала все хорошенько обдумаем, а в воскресенье приезжай в Вену, и тогда уж решим. Не сегодня.

Фердинанд останавливается. Его голос вдруг опять звучит звонко, по-детски чисто, что так нравится Кристине.

– Вот ведь странное дело. Днем, когда ты пошла в контору, я отправился гулять. Глядел на мир и думал: вижу его в последний раз. Светлый, солнечный, полный горячей жизни, прекрасный мир – вот он, и вот я – довольно молодой, еще живой, здоровый. Подвел я итоги и спросил себя: а что ты, собственно, сделал в жизни? Ответ был горьким. Грустно, что сам я, в сущности, ничего не сделал и не придумал. В школе за меня думали учителя, учили тому, что считали нужным. на войне каждый шаг делал по команде, в плену

была только безумная мечта: скорей бы на свободу! – и мучительная бездеятельность. А после я все время вкалывал на других, без цели, без смысла, только ради куска хлеба и чтоб заплатить за воздух, которым душишь. И вот теперь я впервые буду целых три дня, до воскресенья, думать о том, что касается только меня, меня и тебя; признаться, я даже рад. Знаешь, хочется сконструировать все так, как строят мост, где каждый болт, каждая заклепка должны быть на своем месте и ошибка на миллиметр может нарушить законы статики. Хочется построить все на годы. Понимаю, ответственность большая, но впервые в жизни я отвечаю за себя и за тебя. Справимся мы или нет, будет видно, но уже то, что есть идея и над ее продумать, предусмотреть все возможные последствия и комбинации, доставляет мне такое удовольствие, о котором я и не мечтал. Хорошо, что я приехал к тебе сегодня.

Станция совсем близко уже, видны отдельные фонари. Они останавливаются.

– Дальше тебе не стоит идти, – говорит он. – еще полчаса назад было все равно, увидят нас вместе или нет. А теперь никто не должен видеть тебя со мной, этого требует, – он засмеялся, – наш великий план. Никто не должен догадываться, что у тебя есть помощник, знать приметы моей персоны нежелательно. Да, Кристина, теперь нам придется учитывать все, будет нелегко, я тебе сразу сказал... Правда, с другой стороны, я еще... мы еще понятия не имеем, что такое насто-

ящая жизнь. Я никогда не видел моря, за границей был только пленным, не знаю, что значит жить, не думал на каждом шагу: а сколько это стоит? Словом, мы никогда не были свободны. Может быть, совершив это, мы только и узнаем цену тому, что называется жизнью. Жди спокойно, не терзайся, я все разработаю до мельчайших деталей, даже в письменном виде, потом мы вместе изучит пункт за пунктом, взвесим все за и против и уж тогда примем решение. Согласна?

– Да, твердо отвечает она.

Дни, оставшиеся до воскресенья, тянулись для Кристины невыносимо. У нее впервые появился страх перед самой собой, перед людьми, перед вещами.

Отпирать по утрам шкаф с кассой, прикасаться к деньгам было для нее мукой.

Кому они принадлежат – ей? государству? В целости ли они еще? Снова и снова она пересчитывает синие бумажки, но каждый раз сбивается со счета. то рука дрожит, то пропускает какую-нибудь цифру. Она утратила всякую уверенность в себе, а заодно и всякую непринужденность в поведении. Ей кажется, будто все вокруг догадываются о ее замысле, о сомнениях, подглядывают, выслеживают.

Тщетно рассудок твердит: все это бред. Я же ничего не сделала. Мы ничего еще не сделали. Все в порядке, деньги в

шкафу, счет сходится грош в грош, никакая ревизия не подкапается. И тем не менее она не выдерживает внимательных взглядов, вздрагивает, когда звонит телефон, ей стоит больших усилий поднести трубку к уху. А когда в пятницу утром в контору неожиданно вошел жандарм, топя сапогами, звякая штыком, у Кристины потемнело в глазах, и она обеими руками вцепилась в стол, словно испугалась, что ее оторвут от него. Но жандарм, пожевывая сигару, хочет всего-навсего отправить денежный перевод, алименты одной девице, у которой от него внебрачный ребенок; он добродушно посмеивается по поводу своего долгосрочного обязательства за столь кратковременное удовольствие. Но Кристине не до смеха, цифры пляшут на бланке, который она заполняет. Лишь после того, как за ним с терском захлопывается дверь, она переводит ух и, выдвинув ящик стола, убеждается, что деньги на месте, все тридцать две тысячи семьсот двенадцать шиллингов и сорок грошей, точно по кассовой книге. Ночью к ней подолгу не идет сон, а когда она засыпает, ей мерещатся кошмары, ибо намерение всегда кажется страшнее поступка, еще не свершившееся волнует сильнее, чем уже свершенное.

В воскресенье утром Фердинанд встречает ее на вокзале. Он пытливо всматривается в ее лицо.

– Бедняжка! Ты плохо выглядишь, совсем замученная, Небось страху натерпелась? Да, зря я тебя напугал заранее. Ничего, скоро все пройдет, сегодня мы решим – да или нет!

Она искоса взглянула на него: ясные глаза, необычно бодрый вид – и у нее полегчало на душе. Он заметил ее взгляд.

– Да, настроение у меня хорошее. Давно себя не чувствовал так прекрасно, как эти три дня. В сущности, я только сейчас понял, до чего же здорово, когда можешь придумать и делать что-то свое, по своему разумению, для себя. Не кусочек целого, которое ничуть тебя не трогает, а все здание, от фундамента до крыши, сам и для себя. Хотя бы и воздушный замок, который через час рухнет. Может, ты его сдунешь одним словом, а может, мы его вместе развалим. Но в любом случае работа была по мне. Было чертовски увлекательно разрабатывать план такой кампании против полиции, государства, прессы, против сильных мира сего; поломал я себе голову, и сейчас мне охота объявить настоящую войну. В худшем случае нас победят, а мы ведь и так уже давно побежденные. Пойдем, сейчас все увидишь!

Они выходят с вокзала. Туман окутал дома серым холодом, с тусклыми лицами стоят в ожидании носильщики. Все дышит сыростью, с каждым словом изо рта вылетает струйка пара. Мир без тепла. Он берет ее под руку, чтобы перевести через улицу, и чувствует, как она вздрогнула от его прикосновения.

– Что с тобой?

– Ничего, – говорит она. – Просто мне было очень страшно в эти дни.

Решила, что все наблюдают за мной, что каждый догады-

вается, о чем я думаю.

Понимаю, это глупые страхи, но мне казалось, что все написано у меня на лице, что вся деревня уже знает. На станции встретила помощника лесничего, он спросил: "Чего это вы собрались в Вену?" – и я так смутилась, что он захохотал. А я обрадовалась: пусть лучше об этом думает, чем о другом...

Скажи, Фердинанд, – она внезапно прижалась к нему, – неужели так будет всегда потом... после того, как мы это сделаем? Я уже чувствую, что не выдержу. У меня не хватит сил все время жить в страхе, бояться каждого, не спать, ожидая стука в дверь... Скажи, так не будет продолжаться вечно?

– Нет, – отвечает он, – думаю, что нет. Это страхи временные, пока ты живешь здесь, прежней жизнью. Как только ты окажешься в другом мире, в другой одежде, под другой фамилией, то сразу забудешь, какой была... Сама же рассказывала, как однажды стала совсем другой. Опасность только вот в чем: если ты сделаешь то, что мы задумали, с нечистой совестью. Если ты чувствуешь, что поступаешь несправедливо, обкрадывая самого главного грабителя, то есть государство, тогда, конечно, дело плохо, тогда я воздержусь. Что до меня, то я считаю себя абсолютно правым. Я знаю, что со мной обошлись несправедливо, и рискую головой за мое собственное дело, а не за дохлую идею вроде реставрации Габсбургов, или за Соединенные штаты Европы, или еще за какое-нибудь политическое устройство, на которое мне начхать... Однако у нас ничего пока не решено, мы пока толь-

ко играем с идеей, а в игре унывать нельзя. Выше голову, я же знаю, ты умеешь быть храброй.

Кристина глубоко вздыхает.

– Ты прав, кое-что, пожалуй, могу выдержать, я ведь понимаю, что терять нам нечего. В жизни мне пришлось немало вынести, но вот что трудно, так это неизвестность. А после того как все будет сделано, можешь на меня наверняка рассчитывать. Куда мы идем? – спросила она.

– Странная штука, – улыбнулся он. – Составить план было совсем нетрудно, и я с удовольствием прикидывал разные варианты, как и куда мы скроемся, кажется, учел все детали. Рассчитал чуть ли не каждый шаг в нашей жизни, когда у нас будут деньги, и это тоже было просто, но вот одного я не сумел: найти комнату, где бы мы могли сейчас спокойно все обсудить. Я лишний раз убедился, что гораздо легче прожить десять лет с деньгами, чем один-единственный день без них, да, да, Кристина, – он почти с гордостью улыбнулся ей, – найти четыре стены, в которых нас никто бы не слышал и не видел, оказалось сложнее всей нашей авантюры. Ехать за город – холодно, в гостинице могут подслушать, да и тебе там будет опять беспокойно; в ресторане, если пусто, ты все время на виду у официантов, в парке сейчас тоже не посидишь, вот видишь, Кристина, как трудно, не имея денег, уединиться в городе с миллионным населением. Чего я только не придумывал, была даже абсурдная идея подняться на колокольню собора святого Стефана, в такую погоду там ни

души... В конце концов я подъехал к знакомому сторожу, который присматривает за нашей обанкротившейся стройкой. Дежурит он в дощатой будке с чугунной печкой, есть стол и, кажется, один стул. Сочинил историю, будто мне надо повидать одну знатную польскую даму, с которой я познакомился на войне, сейчас она с мужем живет в отеле "Захе", ее здесь многие знают, и потому ей неловко показываться со мной на улице.

Представляешь, как был изумлен этот дурень! И он, разумеется, счел за честь оказать мне услугу. Мы с ним давно знакомы, раза два я выручал его. Он сказал, что оставит мне на всякий случай свое удостоверение, положит в условленное место ключ и с утра затопит печку. Комфорта там нет, но ради лучшей жизни стоит часа на два забраться в эту коуру. Мы будем одни, никто нас не увидит и не услышит.

Строительная площадка на окраине Флоридсдорфа была безлюдна, заброшенное кирпичное здание тупо глазело сотнями пустых оконных проемов.

Бочки с гудроном, тачки, груды кирпича и кучи цемента в диком беспорядке лежали на мокрой земле; казалось, какое-то стихийное бедствие прервало рабочую суету и здесь воцарилась неестественная для стройки тишина.

Ключ был на месте, туман надежно скрывал их от посто-

ронних взглядов.

Фердинанд отпер будку – печка в самом деле горит, тепло, приятно пахнет свежим деревом. Он закрыл за собой дверь и подбросил в печку поленьев.

– Если кто войдет, я успею кинуть бумаги в огонь. Не бойся, ничего не случится, да и некому сюда заходить, никто нас не услышит.

Кристина растерянно оглядывается, все здесь кажется ей не правдоподобным, единственно реальное – Фердинанд. Он вынимает из кармана несколько слоенных листов бумаги и разворачивает их.

– Сядь, пожалуйста, Кристина, и слушай хорошенько. Это план всей операции, я тщательно разработал его, раз пять переписала, думаю, теперь он вполне ясен. прошу тебя, почитай самым внимательным образом, пункт за пунктом, если возникнут сомнения или опросы, запиши на полях, потом обсудим.

Дело очень серьезное, импровизация исключена. Но сначала поговорим о том, что в плане не записано. О тебе и обо мне. Мы совершаем это дело вместе и, следовательно, будем виновны одинаково, хотя боюсь, что по закону прямой виновницей считаешься ты. Ты ответственная как должностное лицо, разыскивать и преследовать будут тебя; тебя будут считать преступницей твоя родня и все прочие, и пока нас не схватят, обо мне, как зачинщике и сообщнике, никто знать не будет. так что твоя ставка больше моей. У тебя есть

должность, которая обеспечивает тебе средство к жизни и пенсию, у меня нет ничего.

Стало быть, я рискую гораздо меньше перед законом и... как бы это выразиться... и перед богом. Наши доли участия неравны. Ты подвергаешься большей опасности, и мой долг предупредить тебя об этом. Он замечает, что она опустила глаза. – Я обязан сказать это со всей суровостью, не буду утаивать от тебя опасностей и впредь. Во-первых, то, что ты делаешь, что мы сделаем, непоправимо. Пути назад нет. Даже если мы с этими деньгами наживем миллионы и в пятикратном размере возместим ущерб, тебе не вернуться обратно и никто тебя не простит. Мы навсегда изгнаны из рядов благонадежных граждан, нам всю жизнь будет грозить опасность. Это ты должна помнить. И как бы мы ни были осторожны, случай, непредвиденный, непредсказуемый случай, всегда может вырвать нас из пленительной беспечности, бросить в тюрьму и заклеить, что называется, позором. Гарантии при таком риске не существует, мы не застрахованы ни здесь, ни там, за границей, ни сегодня, ни завтра, никогда.

Ты должна смотреть этому в лицо, как дуэлянт смотрит на пистолет противника.

Он может промазать, может попасть, но ты под прицелом.

Умолкнув, он пытается поймать ее взгляд. Глаза Кристины опущены, но Фердинанд замечает, что ее рука, лежащая на столе, не дрожит.

– Итак, повторяю: я не хочу зря тебя обнадеживать. Не

могу дать никаких гарантий ни тебе, ни себе. Если мы вместе пойдем на риск, это не значит, что мы будем связаны пожизненно. Мы идем на это дело ради свободной жизни и, кто знает, может, однажды захотим освободиться друг от друга. Возможно, даже вскоре. Ручаться за себя не могу, я себя не знаю, и тем более не знаю, каким стану, когда вдохну свободу. Что-то во мне сидит и не дает покоя, угомонюсь я или, может, еще больше взбунтуюсь, не берусь предсказывать. Мы пока не так уж хорошо знаем друг друга, ну сколько мы бывали вместе – полдня, день, и было бы самообманом утверждать, что мы может и хотим вечно жить бок о бок.

Могу тебе лишь обещать, что буду хорошим товарищем, то есть никогда тебя не предаю и никогда не попытаюсь принуждать к тому, чего ты сама не захочешь.

Пожелаешь уйти от меня – удерживать не буду. Но и я не обещаю, что останусь с тобой. Ничего не могу обещать: ни того, что нас ждет удача, ни того, что ты будешь потом счастливой и беззаботной, ни того, что мы не расстанемся, ничего. Как видишь, я тебя не уговариваю, наоборот, предостерегаю, ибо твое положение невыгоднее, ты главная преступница, а кроме того, женщина. ты рискуешь многим, страшно многим, и мне не хочется тебя подстрекать...

Прочти, пожалуйста, план, думай и решай, но помни: решение должно быть окончательным и бесповоротным. – Он кладет перед ней листки. – Когда будешь читать, отнесись ко всему с крайним недоверием, с чрезвычайной насторожен-

ностью, как если бы кто-то предлагал тебе скверное дело и опасный контракт. Я выйду, погляжу на стройку, чтобы своим присутствием не оказывать на тебя давления.

Он поднимается и, не оглянувшись на нее, выходит. Перед Кристиной лежат листки канцелярского формата, исписанные аккуратным почерком и сложенные вдвое. Выждав, когда успокоится заколотившееся вдруг сердце, она приступает к чтению.

Рукопись напоминает деловую бумагу прошлого века. Названия глав подчеркнуты красным карандашом.

I. Проведение операции.

II. Заметание следов.

III. Поведение за границей и дальнейшие планы.

IV. Поведение в случае неудачи или разоблачения.

V. Заключение.

Каждая глава разделена на пункты – а, б, в и т. д.

I. Проведение операции.

А) Срок исполнения. Проводить операцию следует только накануне воскресенья или какого-нибудь праздника. Это задержит обнаружение недостачи минимум на сутки и даст необходимый выигрыш во времени для бегства.

Поскольку контора закрывается в шесть часов, есть возможность еще успеть на ночной экспресс, следующий во Францию или в Швейцарию. Самый удобный месяц – но-

ябрь. Во-первых, рано темнеет, во-вторых, в ноябре наименьший поток пассажиров на железных дорогах и можно почти наверняка ожидать, что ночью, проезжая по территории Австрии, мы будем в купе одни; таким образом, маловероятно, что окажутся свидетели, которые сообщат о встрече с нами, узнав из газетных сообщений о наших приметах. Особенно благоприятный срок – десятое ноября, канун национального праздника (почта не работает), так как в этом случае мы прибываем за границу в будний день, что позволит нам, не привлекая особого внимания, сразу же приобрести необходимые вещи для маскировки. Надо постараться (под благовидным предлогом) затянуть сдачу поступившей наличности в банк, чтобы к этой дате набралась как можно большая сумма. б) Отъезд. Выезжаем, разумеется, врозь. Билеты берем поэтапно на короткие перегоны: до Линца, от Линца до Инсбрука или до границы и от границы до Цюриха. Желательно, чтобы ты приобрела билет до Линца за несколько дней, или лучше его куплю я, чтобы кассир на твоей станции, который тебя, несомненно, знает, не смог сообщить об истинном маршруте.

Другие меры по запутыванию и заметанию следов см. в главе II. Я сажусь на поезд в Вене, ты в Санкт-Пельтене, во время пути по Австрии друг с другом не разговариваем. Это важно вот почему: никто не должен знать или догадываться, что у тебя есть сообщник; ведь розыск будет направлен только по следам женщины с твоей фамилией и твоими при-

метами, а не по следам супружеской пары, в качестве которой мы появимся за границей. Ни проводники, ни другие железнодорожные служащие в Австрии не должны и заподозрить, что мы едем вместе. Наш общий паспорт мы предъявим только пограничному контролю. в) Документы. Вернее всего было бы, конечно, запастись фальшивыми паспортами вдобавок к настоящим. Но у нас нет времени. Это мы попытаемся сделать потом, за границей. Разумеется, фамилия Хофленер ни при каком контроле фигурировать не должна; я же, как лицо с незапятнанной репутацией, могу повсюду указывать свою настоящую фамилию. В моем паспорте я сделаю небольшие исправления, чтобы можно было вписать твое имя и вклеить фотокарточку. Резиновую печать изготовлю сам. Кроме того, могу изменить первую букву своей фамилии Барнер на В (уже пробовал начерно), так что получится "Варнер". Этим паспортом мы будет пользоваться как муж и жена до тех пор, пока где-нибудь в портовом городе не достанем фальшивые документы.

Через два-три года, если еще хватит денег, сделать это будет нетрудно. г) Деньги. В оставшиеся дни надо по возможности собрать наиболее крупные банкноты (по тысяче, по десять тысяч). В поезде распределишь их в разные места: в чемодан, в сумку и часть зашьешь в шляпу. Это вполне достаточно, учитывая, что таможенный досмотр на границе сейчас проводится поверхностно. Несколько купюр я обменяю на вокзалах в Цюрихе и Базеле, чтобы во Францию

мы приехали уже с иностранной валютой и не обратили там на себя внимания обменом крупной суммы в австрийских шиллингах. д) Куда бежать сначала. Я предлагаю Париж. Его преимущества: во-первых, доберемся мы туда легко, без пересадки, за шестнадцать часов до обнаружения недостачи и, пожалуй, за сутки до публикации о розыске, так что будет время приобрести все необходимое снаряжение для полной маскировки (она касается только тебя). Я свободно говорю по-французски, потому нам незачем останавливаться в специальных отелях для иностранцев, поселимся скромно в какой-нибудь пригородной гостинице. Во-вторых, в Париже огромное количество приезжих, и уследить за каждым практически невозможно; регистрация и прописка, как мне рассказывали друзья, ведутся небрежно, не то что в Германии, где домохозяйева, да и вся нация любопытны от природы и склонны к пунктуальности. Кроме того, немецкие газеты, вероятно, сообщат о краже на австрийской почте подробнее, чем французские. А пока они об этот напечатают, мы успеем уехать из Парижа (см. главу III).

II. Заметание следов.

Самое главное – затруднить полиции розыск, направив ее по ложным следам; каждый не правильный след затормозит поиски, и тогда через несколько дней о приметах забудут и в Австрии, и особенно за границей. Значит, с самого нача-

ла важно представить себе возможные действия властей и предпринять контрмеры.

Полиция, как обычно, поведет расследование в трех направлениях: а) тщательный обыск в конторе и дома, б) опрос всех знакомых, в) поиски других лиц, причастных к краже. Таким образом, недостаточно только уничтожить все бумаги дома, надо еще принять меры, чтобы запутать поиски, увести их на ложный путь. Сюда относятся: а) Паспортные визы. При любом деликте полиция немедленно запрашивает все консульства, не была в последние дни выдана виза соответствующему лицу (в данном случае – Хофленер). Так как я испрашиваю французскую визу не для паспорта "X", а для себя (см. главу V) и пока что нахожусь вне подозрений, то можно обойтись без всякой визы для паспорта "X". Но поскольку мы хотим направить поиск следов на восток, то для твоего паспорта понадобится румынская виза. Тем самым розыск будет в первую очередь сосредоточен в направлении Румынии и вообще Балкан. б) Для подкрепления этой версии было бы неплохо накануне национального праздника отправить телеграмму некоему Бранко Ризичу, Бухарест, вокзал – до востребования: "Приеду завтра после полудня со всем багажом, встречай". полиция наверняка станет проверять все отправленные в последние дни с твоей почты телеграммы, все телефонные вызовы и сразу же наткнется на эту крайне подозрительную депешу, из которой ясно, кто твой соучастник и куда ты сбежала. в) Чтобы еще усилить это важ-

ное для нас заблуждение, я напишу тебе измененным почерком длинное письмо, которое ты прорвешь на мелкие клочки и выбросишь в корзину. Полицейский, несомненно, покопается в ней и склеит клочки. Тем самым подтвердится ложный след. г) Накануне отъезда невзначай поинтересуйся в станционной кассе, можно ли купить прямой билет до Бухареста и сколько он стоит. Вне всякого сомнения, кассир заявит об этом как свидетель, что нам опять-таки на руку. д) Чтобы полностью исключить как сообщника мою персону, чьей супругой ты будешь официально в наших странствиях, необходима еще одна мелочь: насколько мне известно, никто не видел нас вместе и никто, кроме твоего зятя, вообще не знает, что мы знакомы. Чтобы сбить его с толку, я сегодня же зайду к нему и попрощаюсь. Скажу, что наконец-то нашел подходящее место в Германии и уезжаю туда. С квартирной хозяйкой я полностью расплачусь и покажу ей какую-нибудь телеграмму. Учитывая, что я исчез за неделю до операции, всякое наше сообщничество в том деле исключается.

III. Поведение за границей и дальнейшие планы.

Окончательно решим на месте, а пока несколько общих соображений. а) Внешний вид. В одежде, манерах и поведении мы не должны отличаться от людей из средних слоев общества, так как они практически не привлекают к себе вни-

мания. Выглядеть не слишком элегантно и не слишком бедно. Я буду выдавать себя за представителя социальной прослойки, которую менее всего можно заподозрить в денежных аферах: буду играть роль художника. Куплю в Париже этюдник, складной стул, холст, палитру, так что, где бы мы ни появились, моя профессия ни у кого не вызовет сомнений. А во Франции, в ее романтических уголках, круглый год бродят тысячи художников. Никого это не удивляет, и с самого начала они вызывают к себе известную симпатию как люди своеобразные и безвредные. б) Соответственной должна быть и наша одежда. Бархатная или холщовая куртка, легкий намек на профессию художника, в остальном же полная неприметность. Ты, как помощница, будешь носить фотоаппарат и кассеты. Таких людей не расспрашивают, откуда они, чем занимаются, никого не удивляет, что они залезают в самые отделенные уголки и что среди них попадаются иностранцы. в) Наше общение с тобой. Разговаривать друг с другом, только когда поблизости никого нет, – это чрезвычайно важно. Во всяком случае, никто не должен слышать, что мы разговариваем по-немецки. Можно общаться на людях старым школьным кодом, например: бе-КРИС-бе-ТИ-бе-НА или ка-ФЕР-ка-ДИ-ка-НАНД и тому подобное, окружающие не поймут ни слова и сочтут его загадочным иностранным языком. В гостиницах желательно снимать угловые номера или такие, где соседям ничего не слышно. г) Частая смена жилья. Местопребывание желательно менять чаще, так как

по истечении определенного срока власти могут потребовать от нас уплаты налогов или предъявить какие-либо еще формальные требования; пусть это и не связано с нашим делом, но тем не менее может вызвать осложнения. Неделя-две, и в маленьких городках до месяца – за такой срок никто не успеет познакомиться с нами поближе, в том числе гостиничный персонал. д) Деньги. Деньги носить при себе до тех пор, пока не арендуем в каком-нибудь банке сейф для хранения (в первое время это опасно).

Разумеется, держать их все не в бумажнике, не в сумке, а зашить в одежду, в шляпы, в обувь, чтобы при непредвиденном обыске или несчастном случае не обнаружилась подозрительно крупная сумма в австрийской валюте. Обменивать деньги надо постепенно и осмотрительно, причем только в центрах – Париже, Монте-Карло, Ницце, но никак не в маленьких городах. е) По возможности избегать знакомств, хотя бы на первых порах, пока не обзаведемся новыми документами (это нетрудно сделать в портовых городах) и не уедем из Франции в Германию или любую другую страну. ж) Намечать цели и строить сейчас планы на будущее мне кажется излишним. По предварительным подсчетам, взятой суммы при скромном образе жизни хватит лет на пять, за это время решится дальнейшее. Поначалу необходимы чрезвычайная осторожность, постоянный строжайший самоконтроль, максимальная незаметность; через полгода всякие объявления о розыске забудутся, и мы обречем неограниченную сво-

боду передвижения. Тогда и начнем совершенствоваться в языках, систематически тренироваться в изменении почерка и преодолевать в себе неуверенность и ощущение чужеродности. При случае стоит научиться какому-нибудь делу, что позволит переменить образ жизни и заняться другой деятельностью.

IV. Поведение в случае неудачи или разоблачения.

В таком рискованном деле необходимо с самого начала учитывать вероятность неудачи. В какой момент и с какой стороны придет опасность, заранее рассчитать нельзя, решение надо будет каждый раз принимать в зависимости от ситуации. Вот основные принципы, которых следует придерживаться. а) Если из-за какой-нибудь случайности или ошибки мы потеряем друг друга в пути, разлучимся на новом месте, то каждый из нас немедленно возвращается туда, где мы ночевали в последний раз: там либо ждем на вокзале, либо извещаем друг друга о встрече открыткой на главный почтамт этого города. б) Учитывая возможность провала, преследования и ареста, мы должны быть всегда готовы осуществить наше прежнее решение. С револьвером я не расстаюсь (днем в кармане, ночью у изголовья). Тебе я достану яд, цианистый калий, который будешь носить в пудренице. Это постоянное чувство готовности придаст нам силы. Я, во вся-

ком случае, не пойду за решетку.

Если же одного из нас арестуют в отсутствие другого, то другой должен немедленно бежать. Было бы грубейшей ошибкой, поддавшись ложной сентиментальности, явиться с повинной, чтобы разделить судьбу товарища, потому что на каждом в отдельности лежит меньшая вина и ему будет легче отговориться на предварительном следствии. К тому же у оставшегося на свободе есть возможность оказать помощь: замести следы, передать весточку, в крайнем случае помочь при побеге. Было бы безумием добровольно отказываться от свободы, ради которой все это и делалось. Для самоубийства время всегда найдется.

V. Заключение.

Мы идем на это, рискуя головой, чтобы свободно жить, хотя бы некоторое время. В понятие "свободы" входят также свобода человеческих отношений. Если по каким-либо внутренним или внешним причинам одному из нас совместная жизнь станет в тягость, он, естественно, вправе уйти. Каждый из нас идет на этот риск добровольно, без принуждения со стороны другого, каждый в ответе только перед самим собой и потому не может в чем-либо и когда-либо упрекать другого. Как мы с первой минуты делим деньги, чтобы каждому быть свободным, точно так же мы делим ответственность и опасность – каждый за себя.

Вся наша будущая жизнь будет строиться на сознании, что мы не совершили ничего несправедливого по отношению к государству и друг к другу – мы лишь сделали то, что в нашем положении было единственно правильным и естественным. Отважиться на подобный риск против свой совести было бы безрассудством. Только если каждый из нас по зрелом размышлении, самостоятельно придет к убеждению, что путь этот единственный и правильный, только тогда мы вправе и должны вступить на него.

Отложив последний листок, Кристина понимает глаза. Фердинанд уже вернулся и закурил сигарету.

– Прочти еще раз, – предлагает он и после того, как она прочитала вторично, спрашивает:

– Все ясно и понятно?

– Да.

– Может, чего не хватает?

– Нет, мне кажется, ты обо всем подумал.

– Обо всем? Нет, – он улыбнулся, – кое-что забыл.

– Что?

– Гм, если б я знал. В любом плане всегда чего-то не хватает. В каждом преступлении какой-нибудь шов да лопнет, только заранее не знаешь какой.

Каждый преступник, каким бы хитроумным он ни был,

почти всегда допускает маленькую ошибочку. Скажем, все документы уничтожит, а паспорт оставит; предусмотрит все препятствия, а самое очевидное, само собой разумеющееся, не заметит. Каждый всегда что-нибудь забывает. Вероятно, я тоже забыл подумать о самом важно.

В ее голосе звучит изумление:

– Так ты думаешь, что... что это не удастся?

– Не знаю. Знаю только, что будет очень трудно. То, другое, было бы легче. Почти неизбежно тебя ждет неудача, когда восстанешь против своей судьбы, своего собственного закона – я имею в виду не юридические параграфы, не конституцию и не полицейских. С этими можно справиться. Но в каждом из нас заложен свой внутренний закон: один идет в гору, другой – вниз, кому суждено преуспеть, тот преуспевает, кому упасть, тот падает. Мне до сих пор ничего не удавалось, тебе тоже. Возможно, даже вероятно, что нам суждено погибнуть. Признаться честно, я не верю, что когда-нибудь стану вполне счастливым, может быть, я для этого и не го-жусь. Я не мечтаю о далеких днях, когда, убеленный сединами, в уютной вилле буду дожидаться праведного конца, нет, я заглядываю вперед лишь на месяц, на год-два, которые мы решили взять в долг у револьвера.

Она устремляет на него спокойный взгляд.

– Благодарю тебя, Фердинанд, за откровенность. Если бы ты говорил с увлечением, я бы не поверила тебе. Я тоже не думаю, что нам повезет надолго.

Меня всегда сшибали по пути. Быть может, то, что мы намерены делать, напрасно и не имеет смысла. Но не сделать этого и жить по-прежнему было бы еще бессмысленнее. Ничего лучшего я не вижу. Итак, можешь на меня рассчитывать.

Он смотрит на нее светло, но без радости.

– Бесповоротно?

– Да.

– Значит, десятого, в среду, в шесть часов?

Выдержав его взгляд, она протягивает ему руку.

– Да.